

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: М. Н. Долгов

6/2017

## Содержание

### ПРОЗА

<b>Наталья РЕХТЕР. Жанка, Жанна, теть Жанна.</b> Рассказ. ....	3
<b>Алексей ОДИНЦОВ. «Я умру, но ты не бойся».</b> Рассказ. ....	20
<b>Валентин БЕРДИЧЕВСКИЙ. За креслами.</b> Рассказ. ....	30
<b>Дмитрий ПОЛЯКОВ-КАТИН. Не закончится летний день.</b> Рассказ. ....	43
<b>Елена ЮРКИНА. Счастливчик.</b> Рассказ. ....	55
<b>Лада ЮРЧЕНКО. Другой путь у меня.</b> Рассказ. ....	63
<i>Представляем молодых</i>	
<b>Александр СЕЛИВЕРСТОВ. Кукла.</b> Рассказ. ....	95

### ПОЭЗИЯ

<b>Елена БЕЗРУКОВА. Внутренняя сторона снегопада.</b> Стихи. ....	14
<b>Игорь МУХАНОВ. «Там, где Ноев стучит молоток».</b> Стихи. ....	25
<b>Людмила СВИРСКАЯ. «До яблочной глуши...»</b> Стихи. ....	40
<b>Константин КОМАРОВ. «Страх в Астрахани и в Казани казни...»</b> Стихи. ....	52

### ДРАМАТУРГИЯ

<b>Елена БОГДАНОВА. Красная полынья.</b> Трагикомедия. ....	98
---	----

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Ангелина СИТНОВА. Соболевы: незримая рука судьбы.</b> ....	148
<b>Людмила ЯКИМОВА. Мемуары ученой дамы.</b> Окончание. ....	168

### *Картинная галерея «Сибирских огней»*

<b>Наталья ТРИГАЛЕВА. Тойво Ряннель.</b> ....	187
---	-----

<i>Авторы номера</i> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Шукин.

Наталья РЕХТЕР

## ЖАНКА, ЖАННА, ТЕТЯ ЖАННА

Р а с с к а з

Тетя Жанна — в стоптанных туфлях, доморощенном пиджаке и с обглоданным маникюром — была когда-то вполне хорошенькой, уверенной в себе студенткой с кудрями и надеждами.

Жанна не вышла вовремя замуж. Хотя за кого, хоть за какого защитника и добытчика, чтобы если уж не недостаток — так хоть подружки не дрожали бы за своих котиков (вдруг уведут сокровище?), и в гости не одна, и на работе пожаловаться — короче, хоть алкаш, да свой. Она проискала-прождала лучшего. Она же хорошенькая была, в кудряшках и с тонкой талией, а еще умненькая и рукастая, но время как-то предательски быстро поскакало не в ее сторону. Нормальных (и не очень) разобрали, остались подержанные, а потом и тех не стало.

Ей было уже за тридцать, карьера не делалась, внешний вид просачивался, денег на одеться — да что уж там, на поддержание штанов — и то не было, а без хорошего вида и поиск сложнее. Вот и получилось — раз, и с ярмарки, а впереди — только хуже.

Соседка Зубкова посоветовала — роди. Бред, конечно. Какое «роди»? На Зубкову саму посмотреть — горе: с двумя детьми в комнате, в общежитии. Однако мысль задержалась. Как говорится, будет кому стакан воды подать в старости. И хотелось мальчика. Вырастет — откроет свой бизнес, начнет зарабатывать, матери квартиру купит, машину.

Летом приехал брат с семьей. Решила посоветоваться, он отмахнулся: «Да брось ты! Знаешь, сколько сейчас дети стоят?» Все сломанное починил и пошел с соседскими мужиками пить пиво. Остались дома с его женой. Раньше в институте дружили. Собственно, Жанна и познакомила ее с Сашей, братом. Потом все как-то распалось, разбежалось. Света, так жену-подругу звали, выйдя замуж и родив, ревностно следила, чтобы Жанне не перепадало ничего с братниного плеча, помощи там, времени или, не дай бог, денег: всё — в семью.

В тот вечер все пошло неплохо. Света радовалась, что так необременительно и при этом ощутимо удалось помочь Жанне. Всего делов, как



Сашке пару часов молотком постучать — и одиночке подмога, и живи у Жанны весь отпуск бесплатно: город-то хоть и без моря, но южный, и до пляжа на автобусе полтора часа.

— А что тут думать? — сказала Света. — Конечно, роди. У тебя же квартира — это главное, а родишь — и ребенок навсегда с тобой. Как мать-одиночка, на расширение подашь. Не, и не думай. Годы-то идут, потом и мужика для этого дела не найдешь. Кому перестарки нужны?

Все было правдой. Квартира в малосемейке, четырнадцать квадратных метров, плюс кухня и санузел. Жанна получила ее чудом. Давно, еще когда были распределения после института, пообещала молоденькая с кудряшками одышливому начальнику из профкома, что типа, ну, сами понимаете, а тут как раз разнарядка пришла поддерживать молодежь, вот он и решил — двух зайцев. Ну, с любовью Жанны ему обломилось, зато по молодым специалистам отчитался достойно.

Она все понимала: тянуть одной, без помощи — это пытка. И вообще, где мужика, как Света предостерегала, найти для этого самого дела? Но уже представлялся ребенок, хорошенький, в комбинезоне, обязательно мальчик, она ведет его за руку по бульвару, и все умиляются. А вот уже в школе: выдают ее мальчику грамоты, и он бежит к сцене, и оглядывается на мать, и жмет руку учителю, и все завидуют и опять умиляются.

Ночью не спалось, она переворачивалась с боку на бок и все думала, как же так получилось, что одна. Давно, на практике, к ней приклеился парень. Красавец еврей. Она тогда, наверное, всем, ну, или почти всем мужикам на заводе нравилась — стройная, быстрая, улыбчивая, — однако те, матерые, за тридцать, казались клыкастыми зверьми из другой, взрослой жизни, только зазевайся — съедят. А этот — худенький, смуглый, с темными глазами.

На выходные поехали на заводскую турбазу. Он целый день не отходил и танцевал только с ней, девчонки завидовали — жуть, а потом провожал до комнаты и целовал нежно — и губы, и виски, и глаза — и сердце сладко сжималось. Они встречались год, ездили друг к другу, дело у обоих шло к распределению, и ей казалось почти решенным, что вот сейчас, после сессии или после диплома, вот-вот он сделает предложение. А он что-то мешкал, хотя она и родителям давно уже сказала, что Леня — еврей, и они пережили это вполне спокойно, только мать заметила: «Это, конечно, понятно — красавец, но все ж чем тебе ваши-то ребята из класса не подошли, вон Слава Воронков или еще кто?»

А целовались уже так, что губы синели, и она, собравшись с духом, как бы невзначай поинтересовалась, какие планы после распределения.

— Мы с семьей — в Штаты.

— ?..

В голове уже разрывалась бомба: «С семьей?! А я? А меня? Как же?» И даже сейчас — уж сколько лет! — а задрожало, защемило обидой.

— Я перед отъездом попрощаться приеду.

Потом, уже после распределения, всплыл какой-то женатый бухгалтер, позже, в доме отдыха, врач с золотыми зубами и взрослой дочерью, затем престарелый милиционер, мучимый язвой желудка... Куда все ушло?

...На дне рождения Зубковой, в жаре и тесноте, ее прижало к какому-то бледному и потному. Распаренная Зубкова, мечась с салатами между кухней и комнатой, глубокомысленно подмигнула и скосила глаза на водку. Раздраженно выдрав руки из-под подноса с тарелками, придвинула бутылку и пропела с надрывом:

— Ну, за именинницу!

Бледный налил — себе и, ведомый хозяйкиными глазами, Жанне. Выпил, повторил. Смотрел зло, тяжело. Несмотря на обильную закуску, быстро захмелел, сжал руку и неожиданно, без прелюдий, выдохнул:

— Ну че, пошли?

— ?..

— Так Зубкова сказала, что ты... того. А я щас один.

— А что она тебе еще сказала?

— Нет, не хочешь — я че? Мы с Зубковой в одном цехе...

Жанна увидела, что ему неудобно, что все это был кураж, и ей он стал как-то сразу если не мил, то хоть не противен.

— Мало ли что Зубкова сказала. Она много чего говорит. Давай еще посидим. Сейчас караоке начнут. Я люблю. Меня Жанной зовут.

— В курсе. Зубкова мне...

Они досидели почти до последнего и в ее комнату поднялись шатаясь и давясь пьяненьким смехом. В темноте, еле раздевшись, упали в кровать. Ушел он — Жанна еще спала. Но к вечеру вернулся с бутылкой, букетиком и историей про ревнивую, равнодушную жену, детей, которым скоро в институт, а денег нет, про пилеж на кухне, козла начальника, стерву тещу, огород и раздолбанную «шестерку». Классически по-бабьи подперевшись рукой, она смотрела, как он доедает недельный запас котлет, и думала о том, что сейчас с ним в постель, а не сильно и хочется, и воды горячей нет, и зубная паста кончается.

Забеременела она, несмотря на возраст и зловещие предсказания подруг, быстро и тут же все эти ужины и жалобы прекратила. Он недоумевал, начинал вдруг говорить о разводе, что ребенку нужен отец, однако приходил уже даже без бутылки, и она, глядя ему в переносицу, молча подсчитывала, сколько сможет сэкономить на детскую коляску и одежду, а если в это время еще и шить...

Жанка, Жанночка, Жанна Николаевна — была, да вся вышла, а вместо — тетя Жанна, усталая тетка. В беременность она сильно отекала, ходила в шлепанцах: ничего не лезло, лицо пожелтело, плечи и руки налились. Когда родила, легкость не вернулась, а килограммы помножились на вяжущую, тягучую усталость. Девочка громкая, требовательная, вечно мокрая, голодная, красная от крика, недовольная, беспомощная. От мечтаний о сыне только имя — Александра. И мысль: зачем? Пусть не было ничего, зато и не должна никому. И никого ни о чем не надо... Да что там — из дома не выйти!



Поначалу все шли и шли, несли подарки и советы. Заходил и он, сперва с деньгами, потом с заботами и жалобами, но крики, пеленки над головой, халат в подтеках от молока, посуда с засохшим детским питанием, стертая Жаннина лицо с красными бессонными глазами делали свое дело, и визиты один за другим сошли на нет.

Она крутилась, а жизнь давила. Деньги на лекарства, врачей, на ползунки, комбинезоны, сапожки, дни рождения, говорящую азбуку, плюшевых котов, фрукты, гимнастику, танцы, джинсы-кроссовки-платя, подготовительные занятия, витамины, репетиторов, отпуск — деньги, деньги, а я маленький такой... А из зеркала смотрела тетя Жанна, мать-одиночка с обглоданным маникюром, змеящейся по пробору сединой и талией, лезущей из доморощенного пиджака.

\* \* \*

Посмотришь назад, а жизнь — унылое, примитивное клише. Всё как у всех. Ну, как у большинства. Два развода, пятеро детей, трое из них — от прошлых браков его жен, но учебу он оплатил им всем, пенсионный фонд, Колорадо в марте, Флорида зимой, а летом — дом на озере в Миннесоте с детьми, женами, родителями жен, их братьями, сестрами, новыми мужьями и детьми от новых мужей. Он пахал, сначала по ночам мыл супермаркет, а днем бежал в колледж, где с другими эмигрантами учил английский. Потом университет, спасибо первой жене, это она — его инструктор по английскому — убедила, даже заставила получить американский диплом. Он и сейчас не понимает, как продрался через все эти экзамены, зачетные очки, кондуиты на своих же одноклассников, интервью, непонимание простейших вещей, на которых эти умненькие, уверенные детки выросли.

Первая работа, слабый английский компенсировал 12-часовым рабочим днем, сократили, нашел другую — и так раза четыре. Депрессия и комплекс неудачника впились короткими клыками — и не насмерть, и не отступят. Вкалывал уже без выходных, хватался за все: и унитаза проектировал, и бумажки перекалывал, и молчал, и поддакивал. Первый развод, он молча подписал все бумаги (он был ей сильно обязан, а потому смиренен) и взамен получил лето с дочкой, жена же перебралась в Сиэтл к нормальному человеку с нормальным представлением о работе для жизни, а не наоборот. Новая семья, кредиты, страховки, дома, переезды, частные школы, мастер в бизнесе, еще больше работы, БМВ как кризис среднего возраста, пробежки по утрам, лишний вес, салат вместо стейка, очередная пластика жены, еще развод (сразу же, как дети уехали в колледж) и лучший, единственный друг — старый бурбон.

Чего он, собственно, полетел сюда? Играть в поддавки? Он знал это по общению с русскими, что приезжали к ним на работу или в гости. Да-да, здесь у нас тоже все плохо. Да-да, вот на родине сейчас все прекрасно, а будет только лучше. А как будет? А все равно как. Ну театры, ну язык, ну ностальгия. Говорят, волнение переполняет, все же встреча с

молодостью. Он прислушался. Не переполняло. Так чего он схватился за эту конференцию?

В Шереметьеве, едва вышел за перегородку, подскочили таксисты:

— Куда едем? В любую точку, недорого!

Он прошел не останавливаясь и, к счастью, тут же увидел парня с табличкой и его именем. К парню жался людской табунок, треть из них летела в его самолете.

Поселили их в общежитии для иностранцев, в комнатах с высоченными сталинскими потолками, горбатым линолеумом и убогим, наспех и по дешевке сделанным ремонтом: плитка с отбитыми углами, краска на окнах скручивается тонкой белой стружкой, узкая, заправленная тонким одеялом кровать.

На выступлениях он маялся от буквального и оттого бессмысленного перевода, от тягучих, формальных речей организаторов, от их вежливого равнодушия к приглашенным. Зачем он здесь? Кому все это нужно? Мужик, с которым вместе прилетели, скрашивая неудобство улыбкой, попросил уточнить, что же все-таки говорят докладчики, и он стал объяснять, и коллеги один за другим сняли наушники, чтобы избавиться от лезущих в уши, ничего не значащих слов российских синхронистов и наконец понять суть происходящего.

Перевод неожиданно придал смысл его здешнему пребыванию и как-то даже примирил с самим собой. А в столовой он обрадовался гречневой каше с мясом, винегрету и сочным с творогом. Детство поманило мягкой лапой, и на подносе ко всему прочему оказалась тарелка щей с островком сметаны и компот из сухофруктов. Потом, уж совсем непонятно зачем, прихватил еще и манную запеканку с киселем. Он все это быстро и весело съел, объясняя удивленным американским коллегам, что страшно, оказывается, соскучился по простой русской еде, а его американские жены о таком меню и не слыхивали.

На конференцию он не вернулся. У метро купил пломбир «48 копеек», ошалев от названия, и стремительно проглотил, откусывая огромные ледяные куски. Затем разобрался с билетами и поехал кататься по кольцевой.

— Люди входят и выходят, продвигаются вперед...

Люди были другими. Моднее, ярче, раскованнее. Люди были такими же: взгляд внутрь, раздраженный и настроженный.

— А ведь ничего, в сущности, и не изменилось. Может, и к лучшему.

На «Комсомольской» он пошел к вокзальным кассам и купил билет на ночной. Нырнул назад в метро и вынырнул у ГУМа: провинциал, он московские магазины знал плохо — только главный торговый центр страны. В ГУМе обалдел от цен, нарядов, толпы, модельных фигур, парфюмерной отдушки, огня, децибелов и размаха. По-туристски все сфотографировал, купил на кредитку сережки, в «Сбарро» разочарованно — дорогую пиццу, реанимированную из замороженной, и, с детской радостью читая русские указатели, поехал в метро к поезду.

— За-чем, за-чем, на-до, на-до.



Он стоял в коридоре, провожая взглядом черные деревья. Куда он едет? В свой город? Не греет, да там и нет никого. Все в Израиле, Германии, Америке, горстка, может, еще в Канаде. А тогда куда? В прошлое? А там он, как в детстве говорили, плохо поступил. Даже совсем плохо. Встречались, она надеялась, и девственности он ее лишил. Но... А куда было тащить? Это большой вопрос: человека с собой взять или там кого-то найти? Вот так приедешь вместе, вроде проще, свои люди, общие интересы, легче бороться, а человек — в сторону и повис на тебе. Он это миллион раз видел. «Зачем мы сюда приехали? Зачем ты меня сюда притащил? Еда — яд. Люди никчемные. Да я бы! Да там бы!»

Документов на нее тоже не было, а это бы отложило отъезд. И родители были против: другой социальный круг, сам понимаешь, ты что, маленький, мы в ответе за тех, кого приручаем, а ты сам еще ребенок. А что сам? Побоялся он сам — и всех делов. Ответственности, неизвестности, конфликта...

— За-чем? За-чем?

Такси решил не брать. Адрес и карты — спасибо Google и симке с Интернетом — повели по темному, едва просыпающемуся городу. В Москве серая слякоть, а тут сугробы, шершавое зимнее солнце, иголки мороза на щеках.

— Зайти?

Идея испугала. А если? И чего он хотел? Индальгенции?

Ждать под окнами девятиэтажного облупившегося монстра показалось надежнее. И она вышла. Тетка, в коричневом пуховике с серой нашлепкой на голове, закружила по магазинам, подолгу задерживаясь у прилавков и мало покупая, а через морщины и усталость уже проступало прежнее, и он поспешил, боясь отстать и потеряться.

\* \* \*

А дядечка-то странненький. Сашку сначала как ожгло: отец! Но нет, отца она, хочешь не хочешь, знала. Приходил пьяненький перед праздниками. Мать, конечно, гнала, да и зачем он ей, хотя... Путевку в прошлом году на море откуда-то взял. Мебель помогал затаскивать. Противно, когда целовать лез, от него куревом всегда несло и всем другим, только она увертывалась быстро.

Знала — и все же вдруг этот красивый... пахнет вкусно, ногти на руках такие правильные, пальцы длинные... Мечтнулось. Однако по темной кучерявости, носатости и тонкости — как зажглось, так и остыло. Мечтать не вредно, на такого отца им не рассчитывать. А кто тогда? Друг? Цыгане шумною толпой... Раз в год приезжала к ним толпа — мужики, тетки, друзья-одноклассники, — пили, пели, орали друг на друга, ржали. Мать их обожала.

Не-е-е. Этот вообще какой-то иностранец. Точно, иностранец, у Ирки Гольц дядька такой в Германии живет. Останавливается в гостини-



це, тащит чемоданы подарков, а его все ненавидят, чего он им квартиру не покупает, сам-то, поди, богатый, раз в гостинице и все такое.

Мать его не сразу узнала, а через секунду вспыхнула и молнию на куртке начала туда-сюда гонять. Они так и стояли молча, пока он к Сашке не наклонился:

— Как зовут? А сколько лет?

Стандартный набор. И обрадовался, услышав — Александра.

— Ты ее Сашей зовешь?.. А у меня — Алекс, я называю — Эли, а Саша вот не прижилось, слишком, э-э-э, foreign, иностранное.

Эли, значит, или Алекс. Ну ладно. У нас-то тут по-простому, село-с.

Видно было, что мать его в дом приглашать — ни за что. Сашка прекрасно понимала, что из-за убогости, однако деваться было некуда.

— Пойдемте, а то холодно. У нас бедно, мама одна работает, помощи нет. Извините.

— Да что вы, Саша. Все нормально.

Вот так — «что вы». Не баран начихал.

В квартире мать зажалась, не знала, как повернуться, что сказать. Стыдилась бедности, а она — изо всех щелей. Неприятно, но что уж сделать: мужика у них нет. Денег достать негде. За работу — не зарабатываешь. Мать и так как рыба об лед за все хватается. И ей твердит, мол, учись и все такое. Учеба, туда-сюда... Ерунда это все. Нет лапы — ты никто. Мать вроде тоже понимает, да только другого не знает. А другое — это валить отсюда. Непатриотично, а факт. Мать обвиняет в цинизме. А это — реализм. Нормальный реализм, который все понимают. Все.

Так дядечка-иностранец может помочь. Мать ему, конечно, ничего не скажет, ей неудобно, а я ребенок, ребенок бесхитростно так и вздохнет, и в глаза посмотрит. Мол, милый дедушка, Константин Макарыч, забери меня отсюда, нет больше мочи... Тем более он галантный, скромный — «вы», «пожалуйста» — таких быстро за жабры можно взять.

И имя у него оказалось правильное — Линард. Вообще-то Леонид. Он так и сказал: меня все Линард зовут, но здесь, конечно, Леонид. Ленья.

Этот Линард ее и добил. Или вдохновил — как повернешь. План родился быстро, четкий, ясный, как будто она придумывала его всю жизнь.

— Мам, а как вы познакомились? А фотки есть? Это вы? Не, серьезно?! Молоденькие! Худенькие такие, хорошенькие! А это где? А это? Смешно. Одеты так. Не, классно, мне правда нравится.

А они уже сидели ближе и улыбались чему-то общему.

— Может, пойдем в город погулять? Или в парк, на лыжах?

Мать как-то послушно умчалась переодеваться, и парк тут же показался лучше: в спортивной одежде она выглядела стройнее и моложе. Такси покатило их к лыжной базе, где все было точно как в кино: зимний солнечный лес, неуклюжий иностранец, смех, мороженое в инистых стаканчиках, бледная синева над головой. Они с хохотом валились в сугробы, потом тянули друг друга вверх и, умирая от смеха, бухались назад. Он лыжной палкой сбивал снег с деревьев (вихрастые фонтаны белили ресницы) и варежкой стирал тающую зиму с материных щек.



Успех был налицо, его нужно закрепить, и по плану нарисовался ресторан, маленький, уютный, с ностальгическим меню и старыми песнями о главном, которым он обрадовался как родным и подпевал в голос. Владельцы — родители одноклассницы Нины Музычевкиной — поняли все с полуслова и устроили, как просили. Нинка вообще все видела-знала: и загнанную Сашкину мать, и малосемейку, и мечты с амбициями, да и делать много было не надо: столик в уголке, музыка подходящая, милые улыбки правильного персонала.

— Спасибо вам, что пришли. У нас ресторан семейного уклона.

— Всегда приятно видеть такие чудесные пары.

— Разрешите вашу жену пригласить?

Это Нинкин отец от себя постарался. Мать вспыхнула, и Линард перехватил инициативу.

За десертом несколько раз звонил телефон.

— Да возьми уже, сейчас разорвется...

— Саша, это тетя Оля Зубкова. Просит переночевать у них. Бабушку рвало весь день, Сергей в рейсе, а ей за ночную вдвое платят. Так что давайте домой, я переоденусь, Лёне постелю и пойду.

И такая серая тоска поплыла над десертами.

— А хотите, я у Зубковых переночую? У них Жорик и панель.

И — ах, и полетели! Жорик — он такой забавный, все понимает, даром что собака, и панель прямо к компьютеру подсоединена, все что угодно можно смотреть. Как цитирует их учительница Надежда Юрьевна: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Рад, рады. Как мы рады, как мы рады, что мы все из Ленинграда. Откуда это? Как уж все рады, как рады. И Жанна, и Зубковы, и Нинка, и Линард этот. Рады, что свалят? И что ее так вдруг дернуло? Да потому, что она, Сашка, не просто была рада — она была создателем плана!

Утром она пришла как раз под семейный завтрак с кашей, творогом, вареной колбасой, черным хлебом, маслом на блюдечке с отбитым краем, с черничным и малиновым вареньем на таких же, слегка подержанных инвалидах, непригодных для чая. Мать сверкала глазами и белым бюстом в вырезе черной итальянской кофточкой из праздников. Линард суетился. Он сбил плечами со стен какую-то чепуху, украшающую их пенал, и был взволнован.

— Ну как бабушка, Жорик и панель? — спросил он.

И улыбнулся, взглянув на Жанну. Мать смотрела на экран ноута. Линард намазал хлеб маслом, накрыл колбасой и положил на ее тарелку.

Картинки посмотреть было кстати. И на экране мелькало то, что должно. Линард у серого БМВ на фоне нереального двухэтажного дома с колоннами. Линард с мальчиком и девочкой у моря, на водных мотоциклах, у каких-то скал, в парке, с парнем в черной мантии и квадратной шапочке. Люди, дети, старики, машины, пляжи, дома, озера, лес, зубастые улыбки, еще улыбки и везде вокруг — Америка.

А еще через два дня она услышала его разговор по мобильному с кем-то из посольства. Говорили по-английски. Слова travel<sup>1</sup> и visa она поняла.

...В его второй приезд они встретились в Москве, и столица ее покорила. Из Москвы, в купе с откидывающейся полкой, на которой уже была заправленная постель, они прибыли в Питер. В поезде еще были мягкие синие тапочки в мешочке, ужин и завтрак, поданные в запаянных пакетах. Утром их тоже, как и в столице, встречали, возили, кормили в ресторанах, а вечером в гостинице, в прекрасной — как дворец, только меньше — комнате, надо было быстро-быстро переодеваться и бежать в театр, не на елку, а просто на спектакль, в будний день. И все это, все это была другая жизнь, и даже лучше — начало новой, еще более прекрасной и необыкновенной жизни.

Визу они получили на удивление без проблем. Мать все вспомнила: и как познакомились, и как расстались, и как снова, через столько лет... Тетка в окошке кивнула: знакомо, сейчас это бывает, социальные сети... И штампнула визу в паспорт, даже не посмотрев на старые, поблекшие черно-белые фотки и последние — яркие, цветные.

— Господи, побыстрее бы. И чтобы не передумал. Быстрее, милый... Ну не хочу я это все. Бедность, жалкость, нищету. Могу, привыкла, но не хочу. Я туда хочу, где гостиницы с массажным душем, рестораны на обед, где я буду Алекс.

Женщина с девочкой, да-да, вы. Подходите, да-да, вы, и не волнуйтесь. Устали. Ну ничего, скоро уже. Да, у нас тут на всех языках. Китайский вон, польский. Нью-Йорк, что вы хотите! Чемодан ваш во-о-он туда отнесем, он дальше по маршруту полетит, а вам — к транзитникам, паспорт вы уже прошли, так что молодцом, на терминал А12 и — домой! Дома и отдохнете.

Домой.

\* \* \*

Как же все быстро. Испарилось быстро. Нет, началось-то, естественно, празднично. Особенно Москва удалась и Дисней. Волшебник, маг и повелитель — все в одном флаконе. А вокруг самые настоящие счастливые лица. Как же приятно делать людей счастливыми. Крылья отрастают. В кои-то веки почувствовал: ценят, восхищаются, да что там — боготворят. Щекочет, да. Однако расплата — она за все и всегда. Непонятно, например, зачем она в этой рубашке ходит на кухню? Кто их вообще носит, такие самосшитые балахоны, я не видел никогда. Ночная рубашка — атавизм из другой жизни. Жарит эту яичницу с колбасой. Канцерогенную отраву. Главное, зачем? Кто просит? Еще заворачивает в

<sup>1</sup> Путешествие.



газету, чтобы не остыли, котлеты с гречкой в коробочке из-под ветчины. От них чесноком — за милую. Еще коробочка эта. Она же одноразовая. Но выбрасывать — ни-ни, все тащим, все копим, скоро одноразовую посуду мыть начнем. И гречка. Его секретарша даже поинтересовалась: это что за корм для птиц? А приходишь — кушать-кушать, не есть, а именно кушать! Старосветские помещики. И штаны тренировочные, и просит исправлять ее так называемое произношение. Я, конечно, тоже с нуля начинал, но «инкам»<sup>2</sup> и «велкам»<sup>3</sup> — это уже за пределом! И смотрит, и ждет, и боится. Затравленно так боится. Воистину, мы в ответе за тех, кого приручаем. Да нет, тут не поспоришь, надо, все надо: и машину водить, и английский, и интеграция с адаптацией, только как же неохота с этим возиться! Брать дни, ехать куда-то, договариваться, объяснять, время тратить, за ручку водить, утешать, местных русских каких-нибудь находить, с которыми уже лет сто не общался. А еще по магазинам — чтобы внешний вид хоть какой-то. Ведь сколько раз уже: покупай что хочешь — так нет, еще и спрашивает, и уговаривать нужно. Ей неудобно, видите ли. Бред какой-то! И детям своим ее надо показать, а они — это уж точно! — с понимающими ухмылками... Нет, дави, дави раздражение. Дави. А зачем? Нет, вы мне скажите, зачем?! Как он во всем этом оказался?.. А как было хорошо! После работы — в зал, персональный тренер, сауна, бассейн, потом — домой, включить боевик, налить виски...

\* \* \*

Я же вижу, что его раздражаю. Но что делать? Ну не знаю я, что делать! Долблю этот английский с утра до ночи, так ведь уже за сорок, что в голову-то полезет? Готовлю. Стараюсь повкуснее, а он — не надо, я на работе поем. Хожу по городу, туда-сюда, а то крыша съедет. Спасибо, компьютер этот в телефоне ведет. Приятный такой женский голос — вот он со мной и разговаривает. Город, конечно, прекрасный, чистый, зеленый. Воздух — просто в бутылки разливай и пей. Тротуаров, правда, часто нет, так и понятно — зачем они, если все на машинах? Мне бы тоже научиться... Однако его деньги тратить как-то неудобно, хоть он ни разу ни слова. Только одно дело — продукты, одежда, а тут — машина, инструктор, чего-нибудь еще. И так все просить приходится, каждый шаг. Никого ведь кругом. Никогошеньки. Одна. Целый день — одна. Сашка в школе, после уроков еще дела у нее. Сразу же другая стала, говорит со мной по-английски, типа, мне тренироваться нужно. Он — чужой человек. Совсем. Холодный. Иностранец. И какая же смертная тоска в этом стерильном раю. Господи, какая звериная, одинокая, черная тоска. Да что же мне делать-то?! Что делать?! Как я? Куда я? Вой — не поможет!

<sup>2</sup> Доход (искаженное).

<sup>3</sup> Добро пожаловать (искаженное).

Опять мать выползла провожать. Каждое утро готовит ей и Линарду завтрак: ка-а-ашку, яички, творожо-о-ок. Поешьте горяченького. Ведь на весь день уходите. А потом еще на улицу несет, провожает. Ей говоришь, просишь: сиди ты дома — нет, забота, понимаешь. Интересно, что она делает целый день? С ума же можно сойти. И сколько можно повторять, чтобы перестала заворачивать еще и эти stupid lunches<sup>4</sup>. Ланчи — в столовой... нет, в cafeteria. Картошка, еще горячая, каждая палочка в чудесном кетчупе, ужасный, вредный «макдоналдс» с мягкой белой булкой и котлетой или курицей, пицца, суши, всякие мексиканские радости, острые такие, объедение, и кока-кола каждый день сколько хочешь. Как она все же здорово сделала! Никогда больше. Никогда! Нищеты этой, общаги, вонючих толчков без сиденья, ржавых — кап-кап, китайская пытка! — кранов на кухне, соседей, водки, ора Зубковой, презрения училки, потной маршрутки, отца со слюнявыми поцелуями и глазками бегающими, мол, нет, доча, денег и не предвидится, одежды уродской, на вырост, грязи, пылищи, копеек, смердящей, затхлой безнадеги. Никогда! У нее тут тест по social studies<sup>5</sup>, дорогущие — как у всех! — кроссовки, еще мальчик один на математике посмотрел так, ну, со значением. А мать? Да разберется она уж как-нибудь. В Америке же. Ну и Линард. Хочу с ним, кстати, насчет спорта посоветоваться. Во-первых, спорт здесь все. А потом, люди любят давать советы. Вспоминать. Делиться. Это сближает. И волосы надо покрасить. В блондинку. И распрямить. Это модно. У всех популярных девчонок так. Всё, подъехали, пошла я, мой милый желтый автобус.

— Hi, how are you?<sup>6</sup>

— Fine, and you?<sup>7</sup>



<sup>4</sup> Дебильные ланчи.

<sup>5</sup> Понятие, объединяющее историю, географию, обществоведение.

<sup>6</sup> Привет! Как дела?

<sup>7</sup> Отлично! А у тебя?

Елена БЕЗРУКОВА

**ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА  
СНЕГОПАДА**

\* \* \*

Молоко  
    небесное  
        пролито  
Снегом тихим и молодым.  
Остуди мне лоб, моя родина,  
Ноябрем  
    прощеным твоим.

Ненадежно,  
    будто бы всхлипывая,  
Дышит жизнь внутри моих вен.  
И ложится музыка хриплая  
Нам дороги пустой взамен.

И пока она не закончится,  
И пока мы летим по ней,  
Я прощу тебя, одиночество,  
Как прощают своих детей,

Как прощают зиме старание  
Обрамить нас в щемящий лед,  
Как прощают любовь заранее  
И за то, что она пройдет.

\* \* \*

Пока вымесишь тесто из этих неровных комков,  
Вспоминаешь, как жизнь неровна, нелинейна, неправда.

Первый мой чемодан в первый мой пионерский лагерь —  
Черный, с желтою пряжкой, мой первый баул тоски...

Я — зверек светло-русый, гляжу, как в окне мой папа  
Уменьшается так, что влез бы в мой кармашек,  
Но пока он, теряясь, зачем-то рукою машет,  
Мы уже совсем далеки...

Нежный запах тоски между клевером и палатой,  
Где девчонки лупили меня головой о стену.  
Милый папа, красивый, будто Сергей Есенин,  
Забери отсюда меня!

Ты такой далекий.  
Я на тебя похожа.  
Это детство давно уснуло в горсти, но все же  
Оглянусь назад — твой голос черкнет по коже,  
Провожая меня в полях из огня...

\* \* \*

Дачный домик, коробка картонная,  
На потоках воздушных лучей  
Как летит пустота законная  
За седой занавеской твоей.

Есть у нас много ветра и уличный  
Гулкий шум, а внутри — тишина,  
Где сидит грустный мишка игрушечный  
С детской памятью нашего сна.

Стукнет створка испугом непрошеным,  
И над книгой взовьются листы —  
Это Брэдбери хлопнул ладошами  
Из веселой своей пустоты.

И пока эти листья не падали,  
А качались, как воздух в лесу,  
Длилось детство качелькой из памяти  
И держало меня на весу.





\* \* \*

Только детские ранки  
Только в горле вода  
На Большой Погулянке  
Ты не жил никогда

В сизом воздухе смехом  
Прозвенел ты — и нет  
Ты уехал уехал  
Да и умер вослед

Потому что не вынуть  
Из мужчины дитя  
Потому что покинуть  
Можно только себя

И как детские санки  
Смерть по снегу везет  
От Большой Погулянки  
До небесных ворот

\* \* \*

Оставайся будущим светом в ночном окне.  
Если сбудешься — я остыну, не ровен час...  
Человек — это сумма случившегося и не.  
Я хочу смотреть только вторую часть.

В ней дрожит пружина ветреной ДНК.  
В ней углями дремлет белый до ночи свет.  
В ней сопит дитя, не родившееся пока.  
В ней мы есть на земле, потому что на ней нас нет.

\* \* \*

Брошенный мной, неистовый  
Мечется в поле дух.  
Голос, гортанью стиснутый,  
Жить разучился вслух.  
И немотой бесчувствия  
Катят — волна к волне —  
Дни моего отсутствия  
Во мне.



Пульс, не попад танцующий,  
Мысли ничьи, ничьи,  
Что натечет в пустующий  
Этот сосуд к ночи?  
Кто постучит, заброшенный  
Синим моим платком? —  
Будет мне петь хорошее,  
Поить меня молоком.

\* \* \*

Внутренняя сторона снегопада  
тепла.  
Внутренняя сторона снегопада  
цветет.  
И внутри него я, будто в утке — игла,  
Сплю себе, пока кто-нибудь не найдет...

Проходила жизнь моя мимо  
меня.  
Проходила смерть моя мимо  
меня.  
Только человек, нелюдимый, как я,  
Жизнь во мне почуял и окликнул —  
огня.

Дам тебе огня, мне не надо ничуть.  
Забирай себе, в свою темную печь.  
И в дому согретом удивленно ночуй,  
Сбросив безнадегу со сгорбленных плеч.

Говори со мною во сне, говори.  
Я в твоей ночи побуду света взамен.  
Потому что я живу неизменно внутри  
И поэтому — бессмертна совсем.

## Омская зима

### 1.

Поезд в российской шири —  
Падающая звезда...  
На глубине Сибири  
Дремлет в снегах вода.



Дремлет в водице память  
 Пришлых и корневых.  
 Сколько же звездам падать —  
 Чтоб растревожить их?..

Чтоб различило ухо  
 В пропасти русской, как  
 Тихие зерна духов  
 Стронули первый такт?..

Это еще не песня,  
 Это еще пролог,  
 По необъятным весям  
 Пущенный шепоток

Мертвых, живых и тех, что  
 Вызреют этим сном,  
 Как дрожжевое тесто  
 В теплом доме ночном.

В снежном затишье бора,  
 В трепете ковьяля —  
 Слышишь? — вступленье хора,  
 Долгого, как земля...

Чувствуешь? — стало тесно  
 В воздухе — гул и вой:  
 Скоро — начало текста  
 В музыке мировой!

Вслушиваюсь, как только  
 Вслушиваться могла б,  
 Медной струною тонкой,  
 Пристальной, как игла.

Медленно и сурово  
 Среди большой зимы  
 Явит ли Бог нам слово?  
 Иль недостойны мы?..

## 2.

*Екатерине Новиковой*

Почему такие глаза — ланьи,  
 Вдрагивающие на свет?  
 Тебя нет снаружи себя — и ладно,  
 Многих — и вовсе нет!

Почему из облика цвета ночи  
Белый туман растет?  
И лежат в нем пригоршни многоточий  
И затаенных нот...

...А потом на дыпочках входит голос,  
Вздрагивая на боль,  
И одним рывком отворяет пропасть,  
Гиблую, как любовь.

Полыхая в ней по законам ветра  
Тюркских твоих погонь,  
Он поет, вытягивая из нерва  
Веру, тоску, огонь...

Почему, разлившись в огромном зале,  
Будто цветущий сад,  
Ты замолкла... — словно тебя позвали  
Изнутри — и ушла назад?..

\* \* \*

Длинную прядь наматывая на палец,  
Реку холодную пересекая вброд,  
В летнее солнце, слезы стирая, плясая  
И забывая, кто первым из нас умрет,

Трогая ступнями пепел дороги длинной,  
Лямку вернув на выжженное плечо,  
Я оставалась вечной — читай: любимой —  
И потому не думавшей ни о чем...

Свежесваренным чаем слегка горчило,  
Горький, зеленый лился в окно сад.  
Я не хочу говорить, да и ты молчи, но  
Не уходи, сядь...

Как она греет, медного солнца залежь  
Где-то под сердцем — тайна, ни дать ни взять!  
Сколько мне жить осталось, ты знаешь, знаешь?  
Я не хочу знать.

Алексей ОДИНЦОВ

## «Я УМРУ, НО ТЫ НЕ БОЙСЯ»

Р а с с к а з

Несколько дней у меня болел желудок. Нудная тяжесть в животе беспокоила вечерами и даже ночью.

Я пошел на дежурство, думая, что нужно отвыкать жрать хлеб булками, хватая его на бегу, перестать злоупотреблять кофе и сигаретами. Программа оздоровления организма была принята мной единогласно.

А после обеда позвонила Тамара:

— Алексей, мать срочно велела с ней связаться. Звони в Бийск, мне сообщишь. Хоть бы не с отцом...

С отцом? Умирает мать, я точно это знаю. Болезнь источила ее организм как ржавчина, превратив красивую когда-то женщину в пергаментную мумию с уродливыми суставами. От матери остался лишь бархатный голос и чистые глаза. Только воля заставляла ее тело сопротивляться смерти.

Но, по словам жены, мать говорила самым обычным тоном. Я набрал межгород.

— Привет, мам, что случилось?

— Леша, приезжай. Мне хуже, начались перебои с сердцем. Думаю, пришла пора умирать.

— Я собирался пятого ноября.

Ее ровный голос не насторожил меня.

— Не знаю, сколько проживу, может быть и до пятого, однако поспеши. Я дважды теряла сознание: звоню по телефону — затем очнусь, ничего не помню, трубка лежит на полу. Мне надо тебе все наказать. Ольге я кое-что уже передала, тебя — жду.

— А что с сердцем?

— Редкий пульс.

— Блокада?<sup>1</sup>

— Приезжала «скорая», сказали — нет. Пульс был тридцать два, поставили эуфиллин — стал пятьдесят.

— Мама, может, это все-таки блокада? По твоим рассказам — так.

— Что, водитель ритма ставить?

---

<sup>1</sup> Блокада — нарушение прохождения электрического импульса по проводящей системе сердца.

Голос у матери дрогнул, и тут я понял: она держалась изо всех сил, не желая пугать меня. Смерть уже заглянула в ее глаза, но там, в сердце, где всегда живет надежда, еще были силы на борьбу, и мать, все понимая, не хотела смириться.

Я позвал к телефону сестру, велел разобраться с кардиограммой, пообещав, что скоро перезвоню.

Через час ничего не изменилось, сестра и отец беспомощно бормотали что-то. Я набрал номер жены.

Она как отрезала:

— Едем! Не бойся, мать без тебя не умрет, я бы это во сне увидела.

Машина по дороге сломалась, на заправке я не смог завести мотор: сел аккумулятор. Машину реанимировали с буксира, я мчался, стараясь успеть засветло, и гадал: в чем причина? Ремень цел, зарядка идет. Что тогда?

В шесть часов вечера ехать было уже практически невозможно: темнота упала на дорогу, я ничего не видел. Догнал какую-то «газель», пристроился и в свете ее фар чудом дотянул до Бийска.

Только к семи подкатили к дому. Зашли сразу в гостиную к матери.

Она лежала живая, спокойная. Лицо было гладким, без морщинок, как у молодой. Отеки, догадался я. Отец и сестра стояли возле кровати как истуканы.

В каком-то возбуждении, пытаюсь привести всех в чувство, я стал громко расспрашивать Ольгу. Она ничего не могла пояснить.

Я взялся записывать кардиограмму, включил аппарат — по пленке поползли уродливые, громадные желудочковые комплексы, между ними суетились предсердные «пэшки»<sup>2</sup>.

— Ну конечно, блокада, — сказал я. — Дальше можно не писать — и так ясно.

— Что делать? — Ольга переключила командование на меня.

— А вот что: вызывайте «скорую» и будем ставить водителю ритма, без этого гемодинамику не наладить. Тамара, пока давай перекусим. Мама, как ты себя чувствуешь?

— Камень здесь. — Мать показала на сердце.

— Конечно, будет камень! — подтвердил я. — Надо ставить водителя.

Мы с женой сели на кухне за стол. За торопливым ужином, гордый своим быстро поставленным диагнозом, я ухмыльнулся и заметил ей:

— Деревенские врачи наговоят.

Прибыла кардиобригада. Мы с шофером принесли носилки, уложили мать и поехали в больницу.

Машина была новенькая. Аппаратура в полиэтилене, с пломбами и скрученными шлангами — так и спишут потом, не распаковывая. Мать лежала молча, глядя мимо всех. Я пытался пошутить, подбодрить ее, а может быть, себя. Она не реагировала никак.

<sup>2</sup> «Пэшки» — от латинской «Р», обозначающей в кардиограмме работу предсердий.

В санпропускнике ее долго осматривал кардиолог, уравновешенный мужчина средних лет.

— Ну что, — сказал он мне, — попытаемся. Но у нее... почечная недостаточность, калий наверняка высокий. Так что вряд ли...

Мать увезли в реанимацию, начав подготовку к постановке водителя ритма.

Я стоял в коридоре, опустив плечи... Я не умный доктор, а идиот. Аритмия — весточка оттуда, а я радовался, что водитель ритма поправит дела. Возможно, врачи той «скорой» и установили диагноз, да не сказали его, чтобы мать спокойно умерла дома.

С трудом по вечернему городу мы с сестрой добрались до дома. Был двенадцатый час.

— Что, это конец? — Отец ходил по квартире, боясь остановиться.

— Да. Ничего уже не поможет...

Ночь была кошмарной. Кусали постылые комары, которые осенью живут в подвалах, дважды кто-то звонил.

С утра мы умчались в больницу. Нас принял заведующий и обстоятельно объяснил, что водитель восстановил ритм, однако проблемы с почкой критические. Тем не менее лечение идет, доктора готовят аппарат искусственной почки, и никто не собирается сдаваться. Месяц или день — да наш.

Я попросился в палату, меня впустили. Мать была в сознании. Ей принесли манку на тарелочке — она ее уронила. Каша была на руках, животе, на повязке, прикрывавшей венозный катетер. Тряпочкой я стал вытирать ей руки, а она, задыхаясь, торопливо говорила. Ей было не тяжело: она начала заговариваться и многого уже не понимала. Она хвалила мне — меня, рассказывая, как я ловко поставил диагноз, и я понял, что она меня не узнает.

Я опоздал. Стоял рядом с матерью, держал ее руки, но мама была уже не моя. Ее ласково обнимала смерть, пожалев и дав забвение.

Все замерло. Секунды были почти неподвижны, натужно переваливаясь по циферблату. Люди двигались как манекены, открывая рыбины и беззвучно шевеля губами. Глаза не видели, голова не думала...

Ожидание смерти много хуже самой смерти.

Вернувшись домой, мы решили попробовать отдохнуть. Отец сказал:

— Леша, ложись со мной в зале, я боюсь один. Ты ляг на материн диван, а я рядом на матрасе.

Диван был разложенный. Постель перебурована с понедельника, когда маму торопливо собирали в больницу. Я быстро разделся и нырнул под одеяло. Душистое материнское тепло окутало меня с пуховой нежностью. Я уснул не успев закрыть глаза.

Во сне пришла мать. Я тихо плакал. Она гладила меня по голове и успокаивала: «Я умру, но ты не бойся. Все будет хорошо. Отдыхай, у тебя еще очень много дел впереди».

...Настало первое ноября.

Мы приехали в больницу и, сунув сестрам конфеты, украдкой зашли с отцом в реанимацию. Мать и узнавала нас, и тут же путала с кем-то.

Я показал ей свадебное фото внука:

— Мама, кто это?

— Что-то не пойму.

— Это Владик и Лина.

— А, правда, какой Владик красавчик!

Поставив фотографию на тумбочку, я вышел. Отец еще что-то говорил матери, обнимая ее и глядя по щекам.

Дежурный доктор, молодой парень, неуверенно попросил моего совета: делать ли гемодиализ? Давление не держится, и пациентка может умереть прямо во время сеанса.

— Делайте как считаете нужным, — сказал я.

Доктор помялся — наверное, ждал отказа.

— Хорошо, давайте попробуем — так хоть призрачный шанс, а иначе только ждать конца.

Потянулись часы. Мы как солдатики ходили перед зданием больницы. Затем навестили в травмпункте дядю Женю.

Дядя Женя, как всегда, был энергичен и быстр, он принимал больных. Консультировал кого-то и между всеми делами успевал с нами разговаривать.

— Мать плоха, Алексей. Я был у нее — до Нового года она не доживет.

— Думаю, дядя Женя, она умрет сегодня.

Отец признался:

— А мне легче стало. Хотел попрощаться с ней, стал каяться. А она отвечает: «Ты ничего плохого мне не сделал...»

Вскипятили чай, пожевали каких-то бумажных беляшей, и отец заснул прямо за столом.

В помещение постоянно заходили люди, мы мешали. Решили заскочить домой, но там не сиделось и поехали на станцию техобслуживания: машина должна быть уже на ходу. К шести ее отремонтировали, и, захватив из дома Ольгу, мы вернулись в больницу.

Втроем шли по вечернему пустому коридору кардиологии. У дежурной медсестры спросили о матери.

— Проходите в ординаторскую, доктор вам все скажет.

Кабинет заведующего был в конце коридора.

— Присаживайтесь.

Мы неслышно сели на велюровый диван.

— К сожалению, бабушка полчаса назад умерла, — сказал доктор.

Я слышал это слово тысячу раз и сам много раз говорил его родственникам своих пациентов. Однако сейчас с трудом понял смысл фразы.

Я глянул на отца. Тот воспаленными глазами уставился на врача, ничего не понимая. Ему сообщили то, чего не могло быть ни по каким законам. Появись черт, ангел, начнись потоп — он бы ничему не удивился. Слово прыгало по комнате, чужое и непонятное, не попадая в отцовскую голову.

Мы вышли из кабинета. Отец беспомощно посмотрел на меня и спросил:

— Умерла?

— Да. — Говорить мне мешал какой-то резиновый пузырь, стоящий под небом.

Отец заплакал, всхлипывая и закрывая лицо ладонками, как маленький седой ребеночек. Он шел по коридору ничего не видя, шел, потому что если бы не шел, то упал бы. Все, что держало его в жизни, уносилось теперь к звездам...

Кладбище на горе старое, ему больше двухсот лет. Могила на могиле и меж могил тоже холмики. Дул холодный, резкий ветер. Я никак не мог найти оградку маминой сестры, замерз и занервничал. Наконец увидел знакомые пирамидки.

Дед-могильщик пожал плечами:

— Ничего не выйдет. Тут сирень, тут бугор — старое захоронение. Копать вплотную с сестрой — обвалится ее могила.

— Тогда рядом с теткой.

На том порешили.

К вечеру с Ольгой поехали в морг. Покойницу одели и уложили в гроб. В машине мы молчали, только поглаживали зеленую коробку.

Отец ждал на улице. Рабочие осторожно занесли гроб в комнату. Крышку сняли. В гробу лежала... баба Аня!

Мертвая мать стала копией своей матери.

Посторонние ушли. Мы сидели возле гроба, и я думал: ничего не надо уже, скорее бы все закончилось. Мать была торжественная, холодная, чужая.

...Утро наступило неожиданно быстро. В час дня в лихорадочной суете начался вынос. Людей было много, несли портрет и венки, гасили свечку, хватали табуретки. Отец зарыдал, его кто-то обнял.

На кладбище в полной тишине прошествовали к могиле. Долго стояли молча. Наконец, дядя Женья стал говорить о матери. Затем сказал: «Прощай!» — и поцеловал ее. Все начали прощаться.

Гроб закрыли и установили на ленты сингуматора. Он очень медленно опускался.

Вместе с гробом и глиной в могильную яму высыпалось Время: маленькая девочка с густыми черными волосами и пухлыми губками; девушка в шляпке с цветком; молодая красивая мать с пучеглазой дочкой на руках; приятная белотелая женщина на камне, с опущенными в воду стройными ногами; дама в белом плаще с улыбающимся кавалером на фоне хвойного леса; радушная и еще красивая хозяйка большой семьи в окружении детей и внуков; бледно-серая и больная, но пытающаяся прихорашиваться старушка; и пустая постель, тепло которой грело меня в ее последнюю ночь...

Игорь МУХАНОВ

**«ТАМ, ГДЕ НОЕВ СТУЧИТ МОЛОТОК»**

\* \* \*

Дождь на воде оставляет следы —  
это идет Господь.  
Обереги меня от слепоты,  
от превращенья в плоть.

Если индиго — то синева  
в нем поднимать должна  
камни большие, как острова,  
с мертвого даже дна.

Птицы кочуют — живую нить  
тянут к любой звезде.  
Время приходит, быть может, жить  
в небе, в земле, в воде.

\* \* \*

В тенетах счастья соловья  
читает Фета наугад.  
Стихи имеют вход и выход  
и окна в отдаленный сад,  
в котором все желает сбыться,  
иметь длину и ширину...  
О, эти радостные лица  
у облаков и гроз в плену!

На атлантические жвалы,  
на Колыму случайных строк  
в России миллион сбежало  
и отбывает жизни срок.  
Не так проста задача эта:  
в плену у Мебиуса дней  
быть дворником ночного света  
и сторожем речных огней.



А кто ушел и кто вернется  
через миллениумы лет —  
Кулибин, Тесла, Песталоцци? —  
не тот же труженик-поэт?<sup>2</sup>  
Держась за жизнь руками веры,  
среди молекул-пузырей  
земной создатель ноосферы  
и ярких радуг Назорей.

И мы плывем, подобно Ною,  
за лет привычный окоем.  
Ведь кто-то должен быть странною,  
лесною ягодой, дождем.  
И, тяжестью двойною мечен,  
услышав будущего зов,  
глядеть на мир глазами речек —  
подледных, тихих, подвенечных,  
очами византийских свечек  
среди церковных образов.

### Разговор с дождем

Утром с постели встану —  
ты за окном идешь  
в бурке седой тумана,  
широкоплечий дождь.

Вешаешь всюду бусы,  
манишь идти с собой,  
добрый, зеленоусый,  
клумбовый, ледяной!

И озорник к тому же:  
не покладая рук  
луже — обычной луже —  
даришь тончайший звук!

Дергаю колокольчик —  
долг его шнурок...  
Может быть, кто захочет  
свидеться на часок?<sup>3</sup>

Верю: за облаками  
вся сойдется родня,  
станет плескать руками,  
спрашивать про меня.

«Как ты сюда?.. Надолго?..  
Где?.. На Алтае?.. Что ж...»  
Ах ты, в одежде волглой  
старый мучитель — дождь!

\* \* \*

В Белогорье зима, и не видно блистающих радуг.  
Деревенская сага и брага ведут меж собой разговор.  
Сбой режима работы — не лучший от жизни подарок,  
и литовке в чулане ромашковый снится простор.

А зима — от ума или ум — от зимы... Неразборчив  
почерк белых равнин, что бегут от окошка к тебе.  
Онгудайская строчка блеснет мириадами точек  
теректинских алмазов, и станет прозрачно в судьбе.

У тебя ребятишки резвятся в сених оготело,  
и блестит журавля полированный воздухом рот.  
И когда на коне, в лисьей шапке, ты едешь по делу,  
он летит над тобою и крыльями небо стрижет.

Я и сам не пойму, по какой задержался причине  
в этом мире забот, и живу, и пою, не дыша.  
Может, это пралайя — любви, человеческой кручины,  
и все то, что я вижу, желает надолго душа.

В Белогорье зима — по алтайским поверьям, наука,  
как себя создавать, и твой младший сынок во дворе  
снег сгребает лопатой — крышкою от ноутбука...  
Может, так оно лучше — в заботе, в работе, в игре!

\* \* \*

Звук глубинный, еще голубинный,  
в кулуарах рождающий шепот,  
не похожий ничем на былинку,  
не упертый в рутину и опыт,  
я сегодня машу Уралмашем,  
всей Сибирью, лесной и медвежьей,  
твоему озорному бесстрашью  
видеть Китеж в грязи непроезжей.  
Я сегодня машу твоим птицам,  
Аввакуму в огне, как в повозке,  
и вхождению солнечной спицы





в изумрудную мякоть березки;  
твоему первозданному зову,  
над Азовом гремевшему пушкой,  
присягаю я снова и снова  
чернокнижной строкой непослушной.

### Стеклянные дожди

Стеклянный дождь над лугом, посмотри:  
снуют стрекозы и кромсают воздух —  
нарезают стекла для витрин,  
в которых ночью разместятся звезды.

Стеклянный дождь отличен от дождя,  
струны и геометрии Евклида.  
Он в венах ищет, вен не находя,  
и одержим грехопаденьем вида.

Сквозь капли снов, букашек и стрекоз  
виднеются аттические дали  
и рай, и воздух едет, словно воз,  
бесшумно нажимая на педали.

Так далеко видать — во все концы  
своей души, когда повсюду — лето,  
и бабочка с пучком энергий  $\pi$   
в стеклянный ореол с утра одета.

Как будто бы связующую нить  
с бытописанием, всей его трухою  
кузнечик постарался распилить  
к заходу солнца зубчатой ногою.

Отечество, стеклянные дожди  
и ливни крыльев шумных у колодца!  
Как будто все, что было — впереди  
и все, что будет, к нам еще вернется.

\* \* \*

Сгибаемая Сибирь половицей,  
скрипя на осеннем ветру,  
раскроется книжица — птица  
в другую от нас высоту.

Медведь, человек и куница  
прочтут золотой корешок,  
а что в этой книге — приснится,  
как нового зренья урок.

\* \* \*

На Крещение шелкают вербы  
шоколадно-лиловой корой.  
Из пружинистых веточек-вер бы  
выбрать ту, что зовут золотой.  
Что нальется к приходу теплыни  
изумрудно-пречистым огнем.  
«Вот и я!» — посошком благостыни  
постучится под утро в мой дом.

Но, как отрок, не знающий жизни,  
влип по уши в телесную роль,  
я тропой испытанья капризной  
пронесу эту давнюю боль.  
И за гранью последнего утра,  
за рекою, где правда живет,  
станут почки спасать, словно Будды,  
бирюзовую дымку высот.

Расцветут и окрасятся к маю  
перевалы зеленым огнем,  
как Корана священное знамя  
над пустыней, объятаю сном.  
И забота сокрытого корня,  
не забитая градом камней,  
напитает, как Слава Господня,  
основание будущих дней.

Словно книгу, я жизни читаю:  
сотник, писарь, бродяга, кузнец...  
И страница всегда золотая,  
где любитесь небом юнец.  
Где сизарь, напивав синевою  
свой оранжевый чуткий зрачок,  
держит путь над людскою войною  
к гусярам, к кержакам, к «Домострою» —  
там, где Ноев стучит молоток.



Валентин БЕРДИЧЕВСКИЙ

## ЗА КРЕСЛАМИ

Р а с с к а з

Старлей Лупиков наконец загулял. Щуплый, низкорослый, густо припыленный дальневосточным загаром, со светящимися на темном лице ярко-голубыми глазами, он выглядит много моложе своих двадцати пяти. К тому же он еще совершенно не женат.

Из Благовещенска, под которым стояла его часть, он приехал в отпуск к родителям в Омск. А через три дня, заскучав, купил в Интуристе горящую путевку в Ялту.

Отпуск на море не заладился сразу. Группа, к которой приписали Лупикова, прибыла в гостиницу «Ялта-Интурист» вечером. А тур, согласно путевкам, начинался только с завтрашнего утра. Сентябрь, бархатный сезон, свободных номеров не оказалось, и гостям предложили переночевать в громадном холле первого этажа, в мягких, как перина, кожаных креслах.

Всем, кроме Лупикова. Ему, как выяснилось, для заселения требовалась еще отметка местного военкомата. И пока утомленные жарой и перелетом земляки, пусть и не со всеми удобствами, ворча, располагались на ночлег, Юрий Петрович Лупиков отправился по ночной Ялте искать военкомат.

А утром пошел дождь. И шел, за небольшими перерывами, каждый день и без того короткого отпуска.

До конца тура оставалось уже всего ничего. Никакого бархатного, как было обещано, сезона в этом году не наблюдалось. Отдыхающие днями слонялись по гостинице, без конца ели, топтались у игровых автоматов, циркулировали между многочисленными барами и ресторанами.

Изредка, когда облака расходились, активно выдвигались на закрытый гостиничный пляж, чтобы хватить крымского солнца, подышать морем или просто выгулять свои наряды на набережной. Вода оказалась неожиданно холодной. Заходить в такую решались почему-то одни только иностранцы.

Оставалось пить и искать приключений. Впрочем, ради них, собственно, Юрий Петрович и сменил временно свой объятый тишиной суровый край на ласковый берег Крыма.

От его офицерского общежития до ближайшего райцентра часа три на уазике. Это, ясен пень, если посуху, когда грунтовка не размыта. Только какие там, с позволения сказать, приключения? А вот в Интуристе, твердо убежден был старший лейтенант еще со времен политзанятий в родном танковом училище, непременно должна царить густая атмосфера всеобщей и совершенно свободной любви. По крайней мере, тут никто не станет после двух-трех медленных танцев на дискотеке принуждать его к браку под угрозой жалобы командиру части.

На деле Интурист Лупикова разочаровал. Женщины были все больше в возрасте или совсем уж некрасивые. А если попадались ничего, то обязательно с мужьями. Русских вообще немного. Иностранцы держались кучно, своими группами.

Еще и кормили не так чтобы очень. Вроде обильно и даже, можно сказать, вполне разнообразно, но как-то слишком по-женски. Салатики, десерты, выпечка... Три раза в день желтое сливочное масло, после обеда кофе, мороженое с сиропом или лепестками роз. Из нормальной еды только непривычно сладкий украинский борщ и недостаточно мяса на второе.

В тот вечер Лупиков, утомленный навязчивой опекой женской половины его группы, непременно желавшей его то подкормить, то наставить на правильный в жизни путь, спустился в цокольный этаж. Здесь вдоль одной из стен тянулось десятка полтора небольших круглосуточных буфетов с маленькими столиками напротив. Пиво, разные закуски, кофе, вино. Место это никогда не пустовало. Иностранцы и соотечественники Юрия Петровича, неудовлетворенные странной гостиничной кухней, частенько догонялись здесь бутербродами.

Лупиков взял темного пива и сел за свободный столик. Пару дней назад он приглядел было одинокую, страшенькую, но с длинными ногами студентку из Львова. С лица не воду пить, а отпуск-то проходит! Однако и тут его ждало разочарование. Не успел он с ней познакомиться, как в обед в ресторан на втором этаже, где столовалась его группа, ввалилась целая толпа мужиков. Все темнолицые, с тяжелыми руками, как будто даже в похожей одежде.

Оказалось, шахтеры из Моравии по бесплатным профсоюзным путевкам приехали в Ялту, чтобы с утра до вечера пить то же самое чешское пиво. Женщины шахтеров особо не интересовали, но в нагрузку к работягам администрация шахты отправила к морю еще двух футболистов местного клуба. Стройный толстогубый Петр куда-то пропал в первый же вечер. Говорили, что с администраторшей концертного зала гостиницы. А на второго, златокудрого красавца Ержи, львовянка переключилась без всяких объяснений, быстро и решительно.

Лупиков допил пиво. С тоской подумал об Омске. Все бывшие подружки или замужем давно, или потерялись, разъехались кто куда. Вспоминать о возвращении в часть не хотелось. Без женщин жить нельзя на свете. Только где ж их взять в тайге?

Печалась, он отошел к стойке, купил еще пива, а когда вернулся, за его столиком оживленно болтали две высоченные, похожие на сестер платиновые блондинки. Финки, определил Лупиков, стоя в нерешительно-

сти. Одна из женщин, даже не взглянув на него, сделала неопределенный разрешительно-приглашающий жест. Лупиков присел, пригубил пива и прислушался к чужой речи.

Лица у финок были длинные, простые. Общим лет по тридцать — тридцать пять. Можно бы с такими, да как без языка? Тут одна из блондинок — шаг к стойке, шаг обратно — тоже взяла пива, и Лупиков отвел глаза. Росту в ней никак не меньше ста восьмидесяти, а вторая, судя по уровню ее голубых, почти не подведенных глаз, как бы не выше подруги.

Финки подняли кружки. Та, что пригласила Лупикова за его же столик, вдруг обратилась к нему:

— Мальяанне!

— Будем здоровы, — смущенно отозвался Юрий Петрович, и все выпили.

А они ничего, подумал он.

— Where are you from?<sup>1</sup> — вежливо поинтересовалась вторая.

Английским Юрий Петрович владел немногим лучше финского. Школьный курс за неостребованностью он забыл прочно и навсегда, а вот из училища в памяти его все же застряло несколько не совсем подходящих к ситуации фраз типа: «назовите номер вашей части», «как фамилия вашего командира» или «это секретная информация».

Однако сейчас Лупиков неожиданно понял вопрос!

— I am from Siberia<sup>2</sup>, — отвечал он сдержанно.

Как будет по-английски Дальний Восток, он не знал, да и вряд ли бы финки поняли его произношение. Но слово «Сибирь» они разобрали! И слово это произвело на них совершенно удивительное для Юрия Петровича воздействие. Обе разом повернулись к нему, и Лупиков не без удовлетворения отметил у той, что сидела ближе к окну, довольно весомую грудь под белой майкой.

— Siberia?<sup>3</sup> — повторила она, и грудь ее поднялась и опала.

— Сибирь, — подтвердил Лупиков. — Из Омска я.

Финки взяли еще пива. Теперь они смотрели на него по-иному. Он и сам точно вырос, раздался в плечах, почувствовал себя суровым сибирским мужиком.

— Are you married?<sup>3</sup> — спросили они едва ли не хором.

— Офицер я, — сообщил Юрий Петрович и принес из бара бутылку молдавского коньяку.

Финки болтали без умолку.

— Киипиис! — то и дело произносили они и поднимали стаканчики с «Белым аистом».

— To your health!<sup>4</sup> — не останавливалась голубоглазая Маарит.

А улыбчивая оказалась — Туули.

— Кильки бы, — соглашался Лупиков. — Только где ж ее в Интуристе взять?

<sup>1</sup> Вы откуда?

<sup>2</sup> Я из Сибири.

<sup>3</sup> Вы женаты?

<sup>4</sup> За ваше здоровье!



Финкам он представился как Юра Амурский.

— Юка, Юка, — отчего-то радостно залопотали они.

Юрий Петрович рассказывал им зажигательные анекдоты про поручика Ржевского, травил без устали казарменные байки, в доступной форме сумел донести устройство поворотного механизма башни Т-72... Финки хохотали и радовались так, что на их столик уже начали оглядываться.

Чуть позже, когда коньяк подошел к концу и все трое, говоря одновременно, уже прекрасно понимали друг друга, Маарит пригласила его в валютный бар:

— I'd like to invite you to a bar!

Из сказанного он разобрал лишь последнее слово. В принципе, Лупикову, как советскому офицеру, не следовало принимать такое предложение. Общение с иностранцами, совместное распитие спиртных напитков, валюта... Но то Лупикову! А Юрию Амурскому в этот вечер можно было все.

В пустом полутемном баре со светящейся вывеской «Карпаты» сидели двое в вышиванках — танцоры гастролировавшего в Ялте фольклорного Мукачевского ансамбля. Оба жгучие усачи. При виде подгулявших финок они было привстали, однако Лупиков строго покачал головой. Он чувствовал себя так, будто только что завел свой танковый дизель. Пусть пока еще на холостом ходу, но теперь уже в любой момент все семьсот восемьдесят его лошадиных сил взревет и рванут с места так, что от этой мишуры одна щепка останется.

— Я интурист, — сказал он, и танцоры опустили в кресла.

Из «Карпат» троица вышла ближе к полуночи, тесно сцепившись. Юрий Петрович держался стойко. Двигаясь по центру, как танк по бездорожью, он увлекал за талии нетвердо ступавших Маарит и Туули. У каждой в свободной руке было по бутылке виски.

Их еще видели входящими в лифт. Потом на шестом этаже, где жили финки, Юрий Петрович провел их мимо озадаченной коридорной, решительно взял у Туули (или Маарит) ключ, с первого раза точно попал в замочную скважину и галантно уложил каждую на ее кровать.

Затем он запер дверь изнутри...

С рассветом, истерзанный, но не сломленный, Лупиков выбрался из-под завалов поверженных финок. Обе кровати были сдвинуты к центру номера. Правая нога Маарит свисала между ними. Туули спала головой в другую сторону, крепко обняв оставшуюся на смятых простынях ногу подруги.

Лупиков сгреб одежду и босой — в одних плавках! — покинул номер. Крадучись, чтобы не попасться на глаза дежурной, прошел в правое крыло, без лифта поднялся на девятый этаж, открыл свой номер и рухнул в постель.

Последнее, что он видел на крутящемся, как в центрифуге, гостиничном потолке, был он сам, бегущий в темноте к занесенным снегом анграм в ушанке шестидесятого размера. Помнится, их подняли по тревоге

в три часа ночи, после сильно затянувшегося дня рождения лейтенанта Хамидуллина из пятой роты. И впотьмах он выдернул из сваленной в кучу одежды шапку именинника. Ниче, подумал он тогда, Ринату в моей, пятьдесят пятого, сложнее...

Хорошо, что джинсы Маарит не прихватил, хихикнул Лупиков и заснул. Но часа через полтора он вдруг резко сел. Сна как не бывало. За окнами совсем рассвело, и погода, похоже, налаживалась. Сердце у Юрия Петровича билось часто, туго. Голова была ясной, пустой. Соседа по номеру, ростовчанина Миши, уже не было. Все ушли на завтрак.

Лупиков напился из-под крана, смочил волосы и спустился вниз. Он вышел из гостиницы под лазурное крымское небо. От ночного дождя остались только мелкие лужицы на парковке перед входом. Пахло морем и хорошими сигаретами.

Отчего-то не решаясь пройти к пляжу, Лупиков вернулся в фойе, где у правой стеклянной стены обнаружил двух женщин из своей группы. Утопая в гряде кожаных кресел, они отдыхали после завтрака.

— Здрасьте, — сказал им Лупиков, подходя.

— Доброе утро, Юрочка, — приветствовала его та, что помоложе, Алевтина Николаевна, крупная рыжеволосая дама лет пятидесяти, преподаватель мединститута.

— Как ваше ничего? — цинично, как ему показалось, спросила вторая, Лидия Петровна, круглый год путешествующая ведомственная пенсионерка.

— Распогодилось наконец, — попыталась сгладить бестактность подруги Алевтина Николаевна.

— Не прошло и десяти дней, — проворчала Лидия Петровна.

— наших с завтрака дождемся — и на пляж! Вы с нами, Юрочка?

— Наш гусар своих пассий дожидаться станет, — предсказала пенсионерка.

— Кого? — не понял Лупиков.

— О волке речь, а он навстречь! — обрадовалась вдруг Лидия Петровна, и, вытянув шеи, обе женщины отчего-то заулыбались.

Из лифта в противоположном конце огромного мраморно-гранитного зала вывалилась едва ли не вся финская делегация, человек десять, не меньше. Среди них Лупиков безошибочно выхватил две знакомые белокурые головки. Финны были в шортах, с яркими пляжными сумками.

В полдень им подадут интуристовский «Икарус» до Симферопольского аэропорта. До отъезда оставалась еще пара часов, и странно было бы не воспользоваться разгулявшейся погодой. Финны потянулись к выходу.

Лупиков, сделавшись еще незаметней, уже с облегчением слился с колонной, но две рослые блондинки почему-то задержались у стойки администратора. Коротко переговорив с переводчиком, они внезапно обернулись и посмотрели в сторону омичей.

И тут с Юрием Петровичем произошло нечто непонятное. Сначала его выгнуло, точно в приступе столбняка. Что на него так подействовало, он не смог бы ответить. Впрочем, он так никогда и не решился задать



себе этот вопрос. Предпочел удобно забыть, замуровать, закатать его под слоем будущих событий своей только начинающейся молодой жизни. Он опустил подбородок, ссутулился, колени его сильно подогнулись. Он съежился, уплотнился, уменьшился до размеров снарядного калибра. А потом его просто не стало. Лупиков очутился за креслами, между их пышными, как взбитые шоколадные сливки, спинками и стеклянной, выходящей к морю стеной. Никто и глазом моргнуть не успел.

Маневр этот не заметили не только финки. Слегка осовевшие от завтрака Алевтина Николаевна и Лидия Петровна осознали изменения только после того, как он отчаянно заскреб сзади по креслам:

— Только не оборачивайтесь нельзя мне контакты с иностранцами аморалку пришьют очередное звание со службы выгонят сгнию на хрен в ДальВО два часа продержаться прошу вас финны в двенадцать уезжают...

— Юрочка, — почти не разжимая губ, произнесла Алевтина Николаевна. — Финны народ сдержанный. Европейцы вообще умеют себя вести.

Она была в Италии и поэтому считала себя знатоком «их нравов».

— Возьмите хоть итальянцев. Казалось бы, южане. А ведь тоже меру знают. Плотно едят только вечером: мясо, вино. И, как они говорят, маленькую женщину на десерт!

Она нервно хихикнула, увидев приближающихся рослых блондинок. Финки двигались медленно, зигзагами, делая вид, что просто прогуливаются по фойе.

— Гусару итальянцы не указ, — сказала пенсионерка. — Наелся вчера, как тузик на помойке, а мы его покрывай!

Тем временем в фойе спустились недостающие члены омской делегации. Все в полной решимости добрать за день морского загара. Несколько человек, оживленно переговариваясь, напрямую проследовали к выходу. Четверо же, две супружеские пары, подошли и погрузились в кресла рядом с Алевтиной Николаевной и Лидией Петровной.

Финки остановились у журнального киоска и принялись усиленно рассматривать глянцевые обложки.

— Кого ждем-с? — осведомился Михаил Павлович Ломакин, главный инженер трубопроводного треста, по-крестьянски кряжистый мужчина в толстых очках.

— Солнце уже высоко, — игриво поддержала его супруга, бухгалтер той же конторы, женщина в шляпе и кружевном сарафане.

— Мы не ждем, — проворчала Лидия Петровна. — Мы с Алевтиночкой, вы не поверите, спасаем честь мундира.

— Какого еще мундира?

— Офицерского, надо полагать, — пояснила пенсионерка. — Наш шалун занял оборону, а женщин выставил для прикрытия.

И она, не поворачивая головы, негромко, но с хорошей дикцией, с явным удовольствием от собственного остроумия принялась описывать случившееся.

— Юрий Петрович, — тяжело ерзала над Лупиковым Инна, влюбленная в него тридцатилетняя женщина, чей муж Сергей, развалясь ря-

дом, держал в руках две бутылки светлого чешского пива. — Вы ведь завтрак пропустили? Так нельзя, питаться необходимо регулярно.

С этими словами она незаметно сунула под кресло разрезанную вдоль булочку с тмином и огромным, начинающим уже подтаивать куском сливочного масла. Чтобы не подавать голоса, Лупиков начал быстро есть.

— Поправься там, — сказал Сергей и подал старлею откупоренную бутылку пива.

— Хорошо сидим, — решил Михаил Павлович. — Однако мы, пожалуй, все-таки на пляж пойдем.

Его супруга уже встала, поправила шляпку, перекинула через пухлое плечо плетеную желтую сумку:

— Почему мы должны платить за чужое удовольствие? В конце концов, это даже не по-мужски — прятаться от дамы.

— От дам! — уточнил муж.

— Да уж... — протянула Алевтина Николаевна.

— А если меняться? — не сдавалась Инна. — По очереди сидеть.

— Как в карауле? — хмыкнул Сергей. — Два часа дежуришь, два бодрствуешь, два отдыхаешь? Так нам завтра уже в Омск. На море-то когда?

Он тоже поднялся. За ним нехотя из кресла выбралась Инна.

— Кресла стоят плотно, — успокоил ее главный инженер, — со стороны зала за них не заглянешь. Держитесь, Юрий, инициативу не отдавайте!

Лупиков на корточках залпом осушил бутылку. Сейчас и тетки уйдут. Он все пытался хоть что-то углядеть в узкий, не толще волоса, зазор между креслами. Что им всем до него?

В этот момент он почувствовал какое-то шевеление над собой. Кресла снова прогнулись, сильно запахло тяжелыми духами бухгалтерши. Он сунул пустую бутылку за батарею и перестал дышать. К ним решительно приближались блондинки. Обе в белых шортах, открытых майках и кожаных плетенках на босу ногу. Остановившись в двух шагах от вновь усевшихся омичей, они вежливо улыбались.

— Can you help us?<sup>5</sup> — обратилась одна, и Лупиков с ужасом узнал голос Туули.

— Чем могу... — сдавленно ответил инженер, не в силах отвести взгляда от бесконечных бедер финки.

Жена незаметно пихнула его локтем.

— Where is Juko?<sup>6</sup> — спросила другая, и Юрий Петрович подумал: «Какой у Маарит голос! Особенно когда она произносит мое имя».

— Юко? — не понял Сергей.

— Какая-то кличка собачья, — прошипела Инна.

— Юко, Юко. — Белозубо улыбаясь, Маарит показала ладонью где-то на уровне своей груди.

Михаил Павлович так и не мог от нее оторваться.

<sup>5</sup> Вы можете нам помочь?

<sup>6</sup> Где Юко?

— Мы ему не сторожа, — сказал он, пожимая плечами. — Дело молодое, загулял, поди.

— Идите уже, — сказала Лидия Петровна, — на пляж.

Лупиков съезжился на полу. Отсюда он хорошо видел аккуратный розовый педикюр Маарит. И этот большой палец на правой ноге, такой гладкий, теплый...

— Шли бы вы, — прошипела Инна. — Мало вам своих мужиков...

Финки, по-прежнему улыбаясь, отошли и уселись в два таких же кожаных кресла сбоку от входа.

— Нежданчик, однако, — хмыкнул инженер Ломакин. — Мимо таких и наш Юра не проскочит.

— Думаете, это надолго? — Инна ритмично раскачивалась над Лупиковым.

— Финны народ упорный, — сообщил ее муж, любитель военной истории. — Слышал, Юрок, про ихнего снайпера в Финскую кампанию?.. Ну как же, должны были вам в училище рассказывать! Симо Хяюхя. За три месяца — больше пятисот наших.

Инна с ненавистью посмотрела на улыбающихся финок. Инженер покачал угловатой головой, протер роговые очки.

— Причем стрелял этот Хяюхя с открытого прицела! — с увлечением продолжал Сергей. — В такой цель поймать легче и инеем на морозе не покрывается.

— Пятьсот наших... — горестно повторила Алевтина Николаевна и сунула под кресло большой бутерброд с копченой колбасой.

— А по некоторым данным, даже более семисот, — охотно подтвердил знаток истории. — Это связано с разными подходами в подсчетах. К тому же убитые оставались на нашей стороне.

— Может, хватит уже, а? — Бухгалтерша достала зеркальце и поправляла не по-утреннему яркий макияж.

— Нет, почему же? — не согласился Михаил Павлович. — Все это очень даже познавательно.

— А вы знаете, что этот Симо Хяюхя жевал снег, чтобы пар изо рта не выдал его? И наст под винтовкой замораживал, чтобы снег от выстрела не поднимался.

— Вот гад, — сказала Лидия Петровна. — Надеюсь, убили его?

— Ранили. В лицо, в самом конце войны. — Сергей оглянулся на замершую над Лупиковым Инну. — Потому он и в войне сорок первого года не участвовал. Не взяли его, как ни просился. Между прочим, росточком был с нашего Юрия Петровича, что вовсе не типично для финнов.

Все посмотрели на тихо переговаривающихся меж собой блондинок. Не похоже было, что Маарит и Туули собираются оставить позицию.

— Вы как знаете, а мы на пляж! — Бухгалтерша решительно встала. — Миша, пойдем!

— Ты иди, а я досмотреть хочу. Кто кого... — сказал Михаил Павлович, не желая отказывать себе в удовольствии созерцать загорелые ключицы Туули.

— Ага, — поддержал его Сергей, — наши с финнами. Это принципиально.

Бухгалтерша, обидевшись, в одиночестве отправилась загорать. Проходя мимо блондинок, окинула их цепким, оценивающим взглядом.

Лупиков тихо застонал. Он и в армию-то пошел больше из-за формы. Военная форма идет всем, а его в отношениях с женщинами — так просто спасала. Но это в училище, в родном Омске, пока курсанту Лупикову было кому зажигательно рассказывать о том, что все генеральши сначала обязательно выходят замуж за лейтенантов. Найти же среди таежных сопкок желавшую его послушать романтическую девушку было не легче, чем самому перевестись куда-нибудь в Калининград или Подмоскovie.

Женщины всегда были главным в его жизни. На третьем курсе он до хрипоты спорил со всей ротой, доказывая, что по телевизору на воскресных занятиях по аэробике девушки танцуют вообще без купальников. Тогда аэробике еще вела фигуристка Линичук, и девушек для танцев она подбирала под стать себе, рослых, с формами. Как Маарит... (Лупиков пошевелил затекшими ногами.) Телевизор, конечно, в роте стоял старый, местного производства, «Кварц-7». Сильно рябило, поперек экрана шла метель, но уж он-то мог отличить, где бежевые купальники, как утверждали эти пошляки, а где обнаженные девичьи тела!

Уйду я на хрен из армии, с горечью думал Лупиков. С такой фамилией, точно, генералом не станешь. Да что генералом?! Кто-нибудь встречал хотя бы полковника Лупикова? Только и слышно, когда стружку снимают: Лупиков, Лупиков... Надо на гражданке жизнь устраивать. В дипломе кроме лейтенанта — инженер по эксплуатации колесной и гусеничной техники значится. Хоть завтра завгаром возьмут...

Зря он испугался. Ну что бы случилось? Сообщат в часть — так он и сам рапорт писать собирался. Надоело все.

— А знаете, Юра, — подала голос Лидия Петровна, — они ведь не уйдут. Измором нас возьмут. Может, вам стоит все-таки объясниться?

— Как?! — чуть не взвыл из-под кресла Лупиков. — Как я теперь отсюда вылезу?

— Известно как, ползком, по-пластунски, — сказал Сергей.

Его жена с первого дня слишком уж опекала Лупикова, и теперь он с оживлением ждал развязки.

— Некрасиво получилось, — сказала Алевтина Николаевна. — Может, правда на амбразуру? Мы здесь. Если что — поддержим. Не до обеда же нам сидеть?

И, чтобы подсластить свое предложение, она сопроводила его двумя завернутыми в салфетку заварными пирожными.

В гостиницу меж тем начали возвращаться финны. Посвежевшие после моря, веселье. Окружив Маарит и Туули, они несколько минут пошумели и двинулись к лифту. С ними пошла и Туули.

— За вещами, — констатировала Лидия Петровна.

— Вон автобус уже подъехал.

— Ты подумай... — огорченно сказал Михаил Павлович. — Любовь зла!

— Какая там любовь? — обиделась Инна. — Что они знают о любви?

И она спровадила за кресло вторую булочку с совсем уже растаявшим маслом. Чтобы не перепачкаться, Лупиков быстро съел и ее.

В щель между креслами он видел прекрасное и грустное лицо Маарит. Глаза в глаза, словно и не через огромный зал, казалось ему. Голубое слилось с голубым. И связь эту теперь ничто не могло разорвать. Он уже все решил для себя. На границе тучи ходят хмуро... Прорвемся на рогах, как говорят в его экипаже. Даже без машины боевой.

Лупиков резко встал. Выпрямился за креслами во весь рост. Маарит, еще не веря, тоже приподнялась. Взгляды их не размыкались.

— Юко, — позвала она.

— Маарит... — Лупиков плавно вышел из-за кресел.

Глаза его на темном лице, гораздо более темном, чем у загоревших на южном солнце зрителей, светились голубыми озерами. Они сделали шаг навстречу друг другу. Маарит одернула на груди тугую майку.

Инженер заиграл желваками. Сергей легонько подталкивал Юрия Петровича в спину. Инна принялась подпиливать ногти.

Время в фойе замерло.

— Ну же, Юра! — подбодрила его Алевтина Николаевна.

И тут Лупиков пошел. Сначала медленно, странной семенящей походкой. Потом быстрым походным шагом, перешел на строевой и, наконец, побежал. Врезался в толпу моравских шахтеров, смял растерянных немцев, разметал и оставил позади только вчера захвавшую группу студентов из Англии.

Пораженная Маарит замерла. Лупиков бежал совсем в другую сторону! Сметая все на своем пути, он несся к двери между лифтом и входом в вечерний ресторан.

Маарит резко повернулась и вышла из гостиницы. Сквозь стеклянные двери хорошо было видно, как она поднялась в еще пустой «Икарус».

— Что это с ним? — не понял инженер.

— Прихватило нашего гусара, — сказала Лидия Петровна.

— Съешьте-ка с утра столько масла, — вступилась за Лупикова Инна, — и посмотрим, в каком направлении вы побежите.

Все начали выбираться из кресел. Из лифта в другом конце зала показались финны. Груженные сумками, лопоча, потянулись к выходу.

— И летела наземь вражья стая... — Михаил Павлович, оглянувшись, подошел к переводчику.

Студенческого вида парень заполнял у стойки какие-то бумаги.

— А скажите-ка, уважаемый, что значит слово «юко»?

Тощий длинноволосый блондин с нечистой кожей, не прекращая писать, повернул голову:

— Юко? Юко — это имя. Означает — «большой».

Людмила СВИРСКАЯ

**«ДО ЯБЛОЧНОЙ ГЛУШИ...»**

\* \* \*

Жить на пятом десятке спокойней и проще:  
Не боишься казаться смешным и неловким,  
Счастье — если поймать — отличаешь на ощупь,  
Начинаешь в дорогах ценить остановки,

Понимаешь, как мало нам, в сущности, надо,  
Ищешь в книгах и улицах отзвуки детства...  
А друзья... Что друзья? Если все еще рядом,  
То теперь-то уж, точно, им некуда деться.

Новых взлетов желать или мягкой посадки?  
Не пора ли разбавить и нежность, и ярость?  
Ведь любовь бескорыстна на пятом десятке:  
Все уже состоялось. И — не состоялось.

\* \* \*

Пришел декабрь. Навек.  
Он с хваткою бульдожьей.  
А жалкий пражский снег —  
Как милостыня Божья.

Пришел декабрь. И встал,  
Как столб среди дороги:  
Могучий пьедестал  
Для елки-недотроги,  
Разряженной до пят  
Цыганской мишурою...  
Декабрь пришел опять —  
Любимчиком-героем,

Лихим богатырем,  
Одним из трех... былинных...  
Ползу за декабрем —  
До зарослей малинных,

До яблочной глуши —  
 Ползу в июль, влюбленной,  
 Царапнув дно души  
 Своей вечнозеленой.

\* \* \*

Полна, как бутылка туземского<sup>1</sup> рома,  
 Я запахом дома и музыкой дома,  
 Застольями, тостами, смехом, речами,  
 Родными сердцами. Родными плечами.

Теплом надышалась. В любви отогрелась.  
 И яблочек опять молодильных наелась:  
 Из чопорной пани — без возраста, строгой —  
 Вдруг стала девчонкой, почти босоногой:  
 В маршрутке раздолбанной мчусь, привыкая  
 К игривому: «Девушка!»  
 (Да, я такая!)

\* \* \*

*Сыну, рожденному в Чехии*

Аккуратные дорожки  
 И глазастые окошки,  
 Нежно-бархатные кошки,  
 Всем довольные вполне.  
 Дебри роз крахмально-пышных,  
 Град пунцовый спелой вишни,  
 Шелест листьев — еле слышный,  
 Словно шепот в полусне.

Дебри улочек уютных  
 Без забот сиюминутных,  
 Кресло в зелени, как будто  
 Разновидность бытия,  
 Речь певучая, не наша,  
 Силуэты старых башен —  
 Это город твой. И даже —  
 Это родина твоя.

<sup>1</sup> *Туземский ром* — крепкий напиток в Чехии, другое название — туземак.

\* \* \*

Вчера панихида была по зиме.  
Мы все ее в путь провожали последний.  
А следом шел снег по уставшей земле —  
Бездомный, в права не вступивший наследник.  
Летели снежинки в весеннюю грязь,  
Срывались со скользких натянутых веток...  
Снег шел торопливо, как будто боясь  
Куда-то еще опоздать напоследок.

\* \* \*

Нашла и стерла пыль со слова «мода».  
Теперь вот соответствую — что делать?  
Любовь живет всего четыре года!  
А как же остальные тридцать девять?

А остальные — по привычке словно,  
По старой моде расклешенных будней...  
За кражу сердца, да еще со взломом, —  
Скажи, что будет?

Ничего не будет.

Не в моде ль безнаказанность?  
Давно ли?  
Жить у реки — и умирать от жажды...  
Моя любовь на перекрестке боли  
С трудом, но дышит.  
Все еще. Пока что.

\* \* \*

Взрослею с трудом, но с годами пойму,  
Что счастье — когда я плыву по теченью,  
И осень приходит ко мне потому,  
Что лето уже не имеет значенья.

Ты тоже, любимый, взрослеешь с трудом:  
Любовь не способствует мудрости кроткой.  
Ты все понимать начинаешь потом,  
Барахтаясь под перевернутой лодкой.

Как *deus ex machina*, всплеск над водой  
И легкая крепость осеннего грога...  
Не скоро иссякнет поток золотой  
Листвы, засыпающей нашу дорогу.

Дмитрий ПОЛЯКОВ-КАТИН

## НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Р а с с к а з

Решено было на два летних месяца отправить Егорку к деду Якову и бабушке Катерине на дачу под Рузой, где старики обычно живут до первого снега безвылазно. Дача по нынешним временам доброго слова не стоит: двухкомнатный сундучок с просторной террасой на крохотном садовом участке, обнесенном соседскими заборами, но плодоносящие кусты крыжовника, свежий воздух и близость спокойной речки легко примиряют с неудобствами сельского быта.

Егорка — невероятно серьезный белобрысый мальчик семи лет от роду с маленькими блестящими и любопытными, как у хорька, глазками и круглыми, мясистыми щеками. Он одержим невероятной активностью, весь день его наполнен сосредоточенной, напряженной работой.

Вот и сейчас он, сидя на корточках, ворошит толстой палкой густую маслянистую жижу, скопившуюся в канаве за сараем. Нос его зажат бельевой прищепкой. Под жаркими лучами солнца содержимое канавы портится особенно интенсивно, отравляя воздух ядовитыми газами, и уже начинает пузыриться. Однако Егор стойко терпит невероятную вонь, от которой щиплет глаза, поскольку сам развел это смрадное болотце, куда кидает не только отходы кухни, но и вообще все противное, что попадет под руку: навоз,дохлую мышшь, гусениц, дедушкину вставную челюсть, комаров, сгнившие яблоки.

— Чего ты там делаешь? — слышится голос из густых кустов по другую сторону забора, и возникает узкое лицо соседского мальчишки, сморщенное гримасой отвращения.

Егор с невозмутимым видом продолжает крутить палкой в канаве, словно не слышит вопроса.

— Зачем дрянь-то делаешь? — не унимается сосед.

— Это не дрянь, — надувается Егор, не поворачивая головы.

— Как же не дрянь, раз противно пахнет. Фу!

Егор молчит. Снедаемый любопытством, мальчишка прилипает к забору.

— Ну чего ты делаешь-то, скажи, — ноет он. — Чего тебе стоит сказать-то, а?

Посчитав, что достаточно помучил соседа, Егор откладывает палку и приближается к нему, чтобы никто не услышал.



— Ингредиент вонючества, — с таинственным видом сообщает он, и глаза его горят азартом естествоиспытателя. — Готовлю тут. Готовлю.

— Зачем?

— Яд от мух. Бабушка Катерина говорит, что в доме мух полно, вот и делаю ингредиент вонючества, чтоб мухи посдыхали все.

— А как это?

— Изобретаю — вот как, — говорит Егор, воображая себя ученым. — Пока еще не готово. Кидаю всякие элементы, чтоб созрело поскорее. Видишь, чего делается?

Сосед уже не зажимает нос, хоть и старается дышать через рот.

— А я, можно и я тоже?

— Можно, — важно разрешает Егорка. — Только сперва мне покажи, чего бросить хочешь. А то какой-нибудь элемент бросишь, а я и не знаю — и все испортишь.

— Давай я стиральным порошком посыплю! Можно?

— Порошком можно. Это полезное вещество. Только немного.

...Под развесистыми лапами древней яблони за врытым в землю серым дубовым столом старики чинно, размеренно пьют чай. Глухо позвякивают блюда, с тихим жужжанием падают на края розеток одинокие пчелы, в воздухе разносится приторный аромат вишневого варенья. Нацепив на кончик носа очки, дед читает газету, в то время как бабушка перебирает в уме дела, которые нужно успеть переделать за оставшийся день. Она берет варенья на ложечку и слабо отмахивается от назойливой пчелы.

— Сегодня что за день? — спрашивает она.

Дед отрывается от газеты:

— Утром была пятница.

— Значит, наши приедут.

— Обещались.

Опять устанавливается тишина. Дед шумно отпивает чаю, вытирает усы и интересуется:

— А где же папаша?

Папашей они прозвали внука, который, наслушавшись американских сказок, некоторое время всех мужчин называл «папашами» и «братцами».

— Да только что в доме видела. Сидит энциклопедию штудировать.

— Что-то тихо, — настораживается дед и, кряхтя, встает. — Пойду посмотрю.

Но в комнате папаша нет, только энциклопедия, выгнувшись домиком, валяется на полу. Дед выходит из дверей и видит внука, который то вертится возле бабушки, то забегает на другую сторону стола, то оказывается под столом: сидеть и стоять на месте он категорически не может. При таком мельтешении трудно сохранять душевное равновесие, однако бабушка старается и с невозмутимым видом продолжает наслаждаться чаем. Внезапно мальчик замирает, остановленный какой-то сногсшибательной мыслью.

— О чем думаешь, Егорка? — спрашивает бабушка.

Егор поднимает на нее испуганные глаза:

— Боюсь, бабушка Катерина, боюсь, что у меня ноги станут зеленые.

— Да почему? Ну что за дурачок ты, Егорка, — смеется бабушка и вдруг сама пугается: — Пстой-ка, с чего бы это у тебя, разбойник, ноги зелеными станут, а?

Но Егорка уже позади нее.

— Яша, — взволнованно зовет бабушка, — сходи посмотри в аптечке: зеленка на месте? Боже мой! Там фукорцин еще в красном пузыречке... Так спрячь повыше.

Дед опять плетется в дом и кричит оттуда, что зеленка и фукорцин на месте.

— Я, бабушка Катерина, новую породу жужелицы открыл, — доверительно сообщает Егорка. — Называется жужука. Я ее в малине открыл. Вот. — И, забравшись на лавку, он с растопыренной ладошки пускает на стол отливающего синевой жука, который проворно ковыляет к бабушкиной чашке.

— Ай! — подняв руки, вскрикивает бабушка, а возникший у нее за спиной дед, не разобравшись, прихлопывает жука ладонью.

С верхней ветки на стол падает яблоко. Воздух оглашается безутешными воплями. Кажется, мальчишка размножился и орет сразу со всех сторон. Из глаз сыплются слезы, он что-то невнятно причитывает, но что — понять невозможно: его душат рыдания.

Чтобы хоть как-то оправдаться и отвлечь внимание внука, дед вытягивает перед собой палец и жалобно врет:

— Гляди, папаша, жук ведь и меня укусил. Больно!

— Неужели тебе жука жалко, а дедушку не жалко? — пытается урезонить бегающего вокруг стола Егорку бабушка.

Тот не может не жалеть деда и, не переставая реветь, показывает два пальца.

— Два жалко! — выдавливая сквозь слезы. — Жука и дедушку! Два!

— Ну хорошо хоть, считать не разучился. — Расстроенный дед плюхается на лавку.

Рыдания постепенно стихают.

— Бабушка Катерина, — всхлипывает Егор, — у меня сопли, слезы. Успокой меня.

И сразу пропадает в бабушкиных объятиях.

— Дай мне водички, — просит он, уже совсем успокоившись. — У меня в горле орябело.

— Да что тебе этот жук? — все пытается замаять свою вину дед, целуя внука в макушку. — Жук — тварь пустая. Поймаешь его — хорошо. А не поймаешь — и ладно. Еще наловишь.

— Я уже наловил, дедушка Яша, — говорит Егор, садясь на колено деда. — Много.

Он достает из кармана банку из-под леденцов и вываливает на стол целое стадо перепуганных жужелиц, которые, как в фильме ужасов, шу-

стро разбегаются во все стороны. Чашка с чаем падает на землю, с тихим стоном бабушка отлетает от стола...

Весь, на первый взгляд, неказистый садовый участок представляет собой бескрайнее поле для исследований, опытов и экспериментов. На каждом его клочке неизведанными тайнами кипит удивительная, прекрасная жизнь. Под рябиновым кустом — нора, в которой, судя по всему, живет или дикая крыса, или мышь, но возможно, и крот. Это предстоит выяснить с помощью приманки в виде кусочка сыра, привязанного к велосипедному звонку, который закреплен на ветке толстой алюминиевой проволокой. В дальнем углу к забору примыкает трухлявый пенек, в котором разместился муравейник, поставляющий Егору муравьиную кислоту на обшлюявленную палочку для еды и опытов. Чуть левее лежат бутылки с водой: в них должны выводиться водоплавающие насекомые. Есть там и командный пункт из фруктового ящика, откуда Егор выслеживает дикого соседского кота, чтобы поймать его и приручить. В центре участка вырыт окоп, где содержатся солдатики (в них он уже мало играет), а также находится шалаш из еловых веток, придвинутых к стволу березы, в котором устроена лаборатория.

Егор надевает на лоб прикрученный к резинке старый монокуляр в эбонитовой оправе — подарок деда, который до пенсии работал часовщиком. Ему представляется, что с монокуляром во лбу он похож на робота.

— Ну зачем робот? — разочарованно тянет дед. — Ты же всегда хотел быть солдатом.

— Солдаты, солдаты всё! — внезапно раздражается Егорка. — Что ты не меняешь направление пунктов тем!

— Ладно, хорошо, пусть робот, — немедленно соглашается дед, сдерживая смех.

Не сказав больше ни слова, Егор спешит к пню с муравейником. По телевизору сегодня был показан фильм о том, как разумно устроена жизнь муравьев и до чего умны эти создания. Необходимо убедиться в том, о чем говорилось в фильме, самостоятельно, тем более что в распоряжении имеется собственный объект исследования.

Надвинув на глаз монокуляр и зажмурив другой глаз, мальчик встает на четвереньки и приближается к муравейнику настолько близко, что тычется в него носом, но ничего не может разглядеть.

— Наверно, микроскоп сломался, — предполагает он, снимает монокуляр и принимается в него дуть.

Потом подносит его к муравью и видит, как сквозь линзу тот выглядит увеличенным. Довольный, он напяливает монокуляр обратно себе на лоб, однако больше к нему не прибегает, удовольствовавшись одним внешним видом ученого. Муравьи заняты своим насущным делом и не обращают на Егора внимания. Да и Егор занят своим: он вынимает из кармана пузырек с лаком для ногтей, незаметно одолженный у бабушки, выкручивает кисточку и начинает метить насекомых красными каплями лака. Надо признать, муравьям это не нравится, они воспринимают происходящее как катастрофу, ибо вонючие капли обрушиваются на них химическим водопадом. Между тем Егор замечает бегущего жука-

пожарника и также метит его лаком. И еще одного, которого называет бомбардиром.

— Ну вот, — говорит он удовлетворенно, — буду за вами следить. Вы теперь меченые. Я вас теперь кормить буду.

Дело сделано. Уже в пятый раз зовут обедать.

— Деньки-то стоят, папаше на радость, золотые, солнечные, — воркует бабушка, разливая по тарелкам щавелевые щи. — Сбегал бы ты, голубь, на речку, что ли, с ребятишками. Они тебя уже спрашивали.

— Не хочу, бабушка Катерина, — отвечает Егор, что есть мочи болтая ногой под столом. — Дел много.

— Дел? Да какие же у тебя дела, Егорушка?

— Научные, — нахмурившись, говорит тот серьезно. — Я, бабушка Катерина, солнечную энергию делаю. Вот сделаю солнечную энергию, и будешь ты из солнца щи варить.

— Ну-у, из солнца — это когда будет? А пока обыкновенные кушай. Яичко клади, сметанку не забывай.

— Умаялся, — гладит его по голове дед. — Отдохнул бы, изобретатель. Ешь давай щи, хватит болтать.

— Я иногда вслух отдыхаю, — заверяет Егор, принимаясь за суп.

— Прокурор! — восхищается дед. — Прокурорчик растет!

После обеда неугомонная бабушка опять гонит Егора на речку. Тому лень, он упирается, капризничает:

— Оживотел я. Не хочется. Нехоть напала.

Но трудно противостоять ласковой бабушкиной атаке, и утомленный обедом Егорка, повздыхав, поломавшись, плетется на речку.

Солнце уже усталое, густое, и жара такая, что воздух трепещет вдали. За околицей притихшее поле сияет золотом спелой пшеницы. Меж колосьев к деревушке на краю поля ползет старая двухколейная дорога, по ней давно никто не проезжает. Дальше тянется полоска синего леса, из которого, словно леденец, выступает клин заброшенной церкви, увенчанной сиреневым куполом. Вдали сверкает чешуя речки, похожей на ускользящую за поворотом рыбину. Тишина стоит плотная, почти осязаемая, и лишь серебристый щебет жаворонка то и дело прошивает ее ватную толщу. Все замерло, затаилось.

Только Егор ничего этого не видит и не слышит. Все внимание его сосредоточено на тучах пыли, взлетающих из-под разжеванных кроссовок, и, чтобы пыли было погуще, он топает изо всех сил. Он воображает себя роботом под кровавым номером Икс-51, которого обстреливают пришельцы. Робот вооружен реактивным пистолетом, оснащенным баллистическими ракетами, он бьется насмерть. Снаряды ложатся все ближе, пришельцы насаждают отовсюду, когда Егора настигают мальчишки на велосипедах.

— Егорка, айда купаться!

Еще не остывший от боя, Егор с хмурым видом усаживается на багажник, и они несутся к реке. Пришельцы остаются позади. Подлетев к пляжу, ребята на ходу бросают велосипеды и, швыряя в стороны майки и шорты, наперегонки бегут к воде. Кружение велосипедных колес постепенно замедляется.



В фонтане из брызг трудно разобрать, сколько мальчишек плещется в воде, однако Егора среди них нет. Далеко в сторонке он сосредоточенно копается в речной тине, выискивая личинок жука-плавунца, чтобы вывести его в бутылке и показать деду. Откопав пару белых червячков, он заботливо складывает их в спичечный коробок. Затем пытается поймать руками водомерку, но та до того шустрая, что Егор, поскользнувшись, плюхается в воду. Хочется реветь, да неудобно перед ребятами, и приходится сдерживаться.

— Эй, ты чего там? — интересуется загорелый мальчишка, вытряхивая из трусов набившийся в них песок.

— Ничего, — буркает Егорка и разжимает кулак с размокшим коробком. — Вот личинку плавунца поймал для эксперимента. Хочешь, дам?

— Да ну, зачем она мне? Если бы ты рыбу поймал. Пошли купаться!

Нет, купаться Егор не желает. Он даже сохнет не снимая одежды, потому что стесняется. И еще потому, что нет ему никакого интереса кувыркаться в воде, когда столько еще предстоит выяснить.

Наплескавшись, ребята сбиваются в кучу и принимаются играть сперва в ножички, а потом в подкидного дурака. Кто-то предлагает играть на куш, и все начинают wygrебать из карманов что представляет собой хоть какую-то ценность. Здесь и брелок в виде голой русалки, и стеклянный шарик, и молочный зуб, и хвост ящерицы, и поплавок с мормышкой, и двадцать рублей мелочью плюс сотня бумажкой, и свинцовая бита, и старая флешка, и грецкий орех.

Игра закипает нешуточная. Ставки перелетают из рук в руки. Кто на животе — болтает в воздухе грязными пятками, кто на корточках, кто на коленках. Галдеж, возня, жаркие споры.

— Не мухлой, Сашка!

— А ты не подглядывай!

— Дама вальта не бьет!

— Бьет!

— Не бьет! Вон король у тебя! Им бей!

— Не хватай карту! Будет твоя очередь, тогда и хватай!

— Ага, ты уже третий раз играешь!

Егор бродит вокруг игроков, присматривается. Он никогда не играл в карты, но на удивление быстро усваивает правила, и, когда накал немного спадает, очередь доходит до него.

Дома он появляется ровно к ужину, сжимая в кулаке подосиновик, найденный им в придорожной роще. Бабушка уже накрывает на стол. В чугушке дымится картошка, из дома аппетитно тянет жареным мясом. На блюде выложен зеленый лук, петрушка, укроп, луковицы чеснока — все свое, все с грядки.

— Добыгчик явился, — радуется дед. — А я уж на речку собрался папашу искать.

— Давай-ка сюда, — берет гриб бабушка. — Сейчас мы его к мяску. И где ж ты такую красоту нашел, Егорушка? Любо-дорого смотреть. Даже резать жалко.

— Там, — машет рукой Егор и добавляет: — У меня мама — злоядная грибница.

— А папа? — спрашивает дед сквозь смех.

— Папа только кушать любит. Мы с мамой грибы собираем.

Он долго копается в кармане, затем вытаскивает мятую сторублевку и протягивает деду:

— На, дедушка Яша, купи себе новые зубы.

— Что, тоже нашел? — удивленно спрашивает дед, принимая купюру.

— Нет, — с гордостью говорит Егор. — В карты выиграл.

Оба старика, враз ослабев, оседают на скамью.

— Боже мой! — восклицает бабушка. — Да он еще и картежник!

— Ну вот, дожили, карточный игрок растет, — вторит ей дед. — Все, Катя, за пенсией больше не ходим. Теперь у нас надежный кормилец имеется.

Довольный Егор выкладывает на стол голую русалку, чужой молочный зуб и свинцовую битку.

— Вот еще выиграл, — добывает он стариков. — Русалка моя, а свинчатку и зуб — это вам, в хозяйство.

За ужином его пилят, пилят, грозятся, Егор же слышит только цвирканье цикады и напряженно думает, как можно ее найти и поймать. Откуда-то возникает огромная голова собаки, она тыкается мокрым носом в колени Егора и смотрит на него печальными влажными глазами. Он сует ей кусок мяса, но собака, понюхав, не ест: она сытая.

— Найда пришла, — замечает дед. — И где она пролезает?

— Да папаша калитку не закрыл, — объясняет бабушка.

Егор внимательно смотрит на Найду. Потом задумчиво говорит:

— Глаза умные, а голова забита разумом. Дедушка Яша, а правда, что всё — природа?

Дед не может на него злиться и обнимает за плечи:

— Всё, Егорка, всё. И я, и ты, и лес, и река. И эта собака.

— Дедушка Яша, — говорит Егор, — я люблю природу. — И, немного подумав, добавляет: — Я прирожден к природе.

Пужинав, он обходит свои владения. Сыр так никто и не съел, придется утром навесить свежий. В бутылку он запихивает жирных личинок, добытых в тине. В углу забора обнаруживает новую нору, сует в нее палец, пытается разглядеть глаза живущего там зверька. Однако уже темнеет, и он решает отложить обследование норы на завтра. Из-под смородинового куста Егор забирает спрятанный там пакет с пустыми банками и переносит его поближе к сараю. Затем забирается в шалаш и привязывает к осиновой палке леску с выигранным в карты поплавком. Мормышку он проиграл. Осталось изобрести хороший крючок, и можно идти на рыбалку.

— Пора спать, — зовет Егорку бабушка.

Она уже постелила ему на перине в дальней комнатке под мерно тикающими ходиками. День, полный ярких впечатлений и глубокого, живого смысла, подошел к концу. Завтра будет новый. Егор покорно раздевается и ложится.



— Что-то послушный ты сегодня, — удивляется бабушка, присаживаясь на край постели, и гладит его по вспотевшему лбу. — Не заболел ли?

— Нет, бабушка Катерина, — закрывает глаза Егорка, — просто по снам соскучился.

— Вот и ладненько. Завтра соседи баньку истопят. В баньку с дедом пойдешь?

— Не пойду, — трясет головой Егор, — я там сожгусь.

— Ну хорошо, спи. Утро вечера мудренее. Спи, голубь.

Бабушка целует его в горячие щеки и выходит, прикрыв за собой дверь. В сумерках глаза Егора зловеще блестят. Во всяком случае, так ему хочется — чтоб зловеще. В них отражаются звезды, высыпавшие на бархат темнеющих небес.

...Поздно вечером на дачу приезжают родители. Мать, не поужинав, спешит в комнату к сыну и ложится рядом с ним. Задремавший было Егор просыпается, обнимает мать, а потом таращит глаза, слушая голоса снаружи.

Отец долго сидит с дедом за графинчиком вишневой настойки, курит и жалуется:

— Вот ты, папа, всю жизнь часы чинил и понимал: что, почем и зачем. А я не понимаю, что делаю, зачем мне это. Из института я ушел — да и кому, черт возьми, нужен сегодня наш институт? — а взамен получил хорошую зарплату и пустую жизнь. Ну что это за работа для кандидата биологических наук — устраивать псевдонаучные конференции для жирных котов, желающих выгодно продать свое барахло? Весь сегодняшний день, как капля воды, отражает мой жизненный провал. Утром я боролся со сном на летучке, которую проводила необразованная дура, окончившая курсы каких-то ивент-менеджеров, пиар-специалистов или как они там себя еще называют. Потом подгонял под нужды заказчика содержание семинара для гинекологов. Потом другой, но, в сущности, такой же семинар по новому слабительному препарату, который сам я, как ты понимаешь, не испытывал. Затем еще встречи с какими-то надутыми персонажами, и всем нужно выбросить на рынок... что-то впарить, и подороже. И так целый день... Разве к этому я стремился?

Дед Яков морщится от переживаний. У них с сыном доверительные отношения.

— Не сгущай краски, старик. Ведь ты хорошо зарабатываешь. Значительно лучше, чем в институте.

— Конечно. Денег таких в науке не платят. Встретил недавно Петрова, а у него заплатка на пиджаке. И вид как у побитой собаки... Ладно, что-то я расклеился сегодня, захотелось вдруг себя пожалеть. Все, в принципе, нормально, папа. Бывает и хуже.

— Вот и ладно. Вот и замечательно, что ты это понимаешь. Давай-ка спать. На ясную голову оно по-другому выглядит. Завтра баньку истопим. И все будет хорошо... Ты в комнате ложись, на кушетке, мать постелила. А мы с ней — на терраске. Там прохладнее.

Дверь в комнату, где спит Егор с матерью, плотно закрыта. Помедлив, отец проходит в другую, грузно опускается на кушетку, гасит свет настольной лампы и, вздохнув, закрывает глаза.

Снится ему тяжелый, угрюмый сон: будто он на конференции акушеров, в зале одни женщины, причем беременные, а некоторые уже родили и держат на руках голых младенцев. Он ощущает нарастающую в зале жару, словно от раскаленной батареи, ему становится душно, но доклад, который почему-то читает он, необходимо закончить. И вот, читая этот непонятный доклад, он сперва срывает с себя пиджак, затем галстук, брюки, рубашку и, оставшись в одних трусах, думает, не снять ли и кожу. Легкие горят от горячего воздуха, звуки глохнут, в глазах нестерпимая резь. Он решает, наконец, снять и трусы... как вдруг вскакивает с постели весь мокрый от пота. Ничего не понимая, он чувствует лишь, что дышать нечем, что темнота комнаты съела весь воздух, заменив его диким, нечеловеческим, убийственным смрадом, буквально выжигающим все живое вокруг, так что ни рта, ни глаз невозможно открыть. Он кидается к окну, распахивает его и вываливается наружу навстречу свежему воздуху.

Немного придя в себя, он делает несколько шагов и натывается на всклокоченного деда Якова, босого, в белых льняных подштанниках, и бабушку Катерину в ночной рубашке, кутающуюся в плед. Они, как призраки, стоят на лужайке перед домом, освещенные лунным сиянием, точно большевики перед расстрелом.

— Что происходит? — ошарашенно шипит он. — Что здесь происходит?

Дед Яков поднимает на него заспанные глаза и глухим, обреченным голосом говорит:

— Ингредиент.

— Что?

— Ингредиент вонючества. Все-таки изобрел, Кулибин. — Его указательный палец направлен на банку, что стоит на подоконнике, наполненную густым маслянистым веществом. — Яд от мух. Понимаешь, мух у нас развелось пропасть — вот он и придумал ингредиент из всякой дряни, там, за сарайчиком. И подложил нам, паршивец, когда мы заснули, чтобы мух повывести. А вместе с ними и нас. Сюрприз, понимаешь, решил сделать...

— Как же мы спать-то будем? — жалобно спрашивает бабушка.

— В противогазах, — прыскает отец.

— Не знаю, — пожимает плечами дед Яков. — Но с мухами у нас теперь, точно, покончено. Надолго.

Сперва бабушка, потом дед, а за ними и отец заливаются сдавленным смехом. Они приближаются к окну комнаты Егора и заглядывают в нее через распахнутые ставни. Там они видят озаренную лунным светом, выпирающую над подушкой круглую румяную щеку. Нет никаких сомнений, мальчишка спит крепким сном, утомленный проделанной большой и трудной работой.

Спокойной ночи, Егор!

Константин КОМАРОВ

**«СТРАХ В АСТРАХАНИ  
И В КАЗАНИ КАЗНИ...»**

\* \* \*

Жизнь моя уходит  
на моих глазах,  
что-то происходит,  
порождая страх.

Жизнь моя проходит  
поездом в ночи,  
скрипкой в переходе,  
бликом от свечи,

затихает эхом  
из неведомых мест,  
с легким неуспехом  
прозвучав окрест.

Богу неугоден  
этот злой концерт.  
Жизнь моя исходит  
титрами в конце

скомканной, плохой и  
сумрачной фильмы.  
Жизнь моя проходит.  
Расстаемся мы.

\* \* \*

Нет, не тревога, но напряжно —  
в горячке слог мой скверный слог.  
Стою один, курю на Пряжке,  
жду Блока, не приходит Блок.

Ползет по стенам штукатурка,  
 круглится плавно полынья,  
 и злomu гулу Петербурга  
 привычно сопричастен я,

но ни к чему мне шум оваций,  
 неслышный даже за версту,  
 когда мне не с кем целоваться  
 на Поцелуевом мосту,

и, словно хруст кости берцовой,  
 звучит ломающийся лед,  
 гуляет ветер на Дворцовой  
 и гонит мысль мою вперед —

туда, где в плаванье свободном  
 она созреет наконец —  
 как дом публичный на Обводном  
 или как Мраморный дворец —

так, чтобы, не меняя маски,  
 вбиваясь, словно в стенку гвоздь,  
 прямыми линиями Васьки  
 прошли стихи меня насквозь.

Чтобы подковой на копыте  
 глухой отчаянной строки  
 остался славный город Питер,  
 его мосты и сквозняки,

его порталы и каналы,  
 его визионерский дым,  
 и мне стиха не будет мало,  
 чтоб навсегда остаться с ним!

\* \* \*

Полны трухлявой речи  
 чужие голоса,  
 когда садятся печень,  
 желудок и глаза.

Полна моя рюмашка,  
 хрустальна и чиста,  
 но я ношу бумажки  
 в различные места.

Но только не в больницы —  
они идут в игнор —  
а сердце бьет бойницей,  
что это перебор.

Жалеют доброхоты,  
не слушают братья,  
и ноют идиоты  
от моего нытья.

И веселится бездарь,  
и все бы ничего,  
когда б не эта бездна  
здоровья моего.

\* \* \*

Страх в Астрахани и в Казани казни,  
в моих краях, где даже грязь грозна,  
вперед глядят обычно без боязни,  
назад — глаза стирая докрасна.

Мой рот, как кот, что девушкой затискан,  
но говорящий, как приبلудный пес,  
фонетику довел до фанатизма,  
а больше ничего не произнес.

Исчерпан ей уже до почернения,  
я выхожу в немытую страну  
и начинаю злое подчиненье,  
заглатывая желтую слюну,

а перед сном я заправляю плечи,  
чтоб их тотчас расправить, как кровать.  
О речи здесь не может быть и речи...  
Кончайте нас от смерти отрывать!

\* \* \*

Ну все, проиграна корова,  
а все равно, блин, пофиг — пляшем.  
И мир — неоновый, не новый,  
неистоцимо настоящий —  
стоит себе, как и стоялось,  
и день прошел водой по вилам.  
И ничего не состоялось.  
И стало милым.

Елена ЮРКИНА

## СЧАСТЛИВЧИК

Р а с с к а з

По улице родного села Женька шел, вкрадчиво прижимаясь к самому краю дороги, очерченной в этом году на редкость обильным снегом, шел медленно, рассеянно глядя под ноги: последние несколько дней он чувствовал себя неважно. Давящая усталость застилала глаза мутной пеленой, билась тупой пульсирующей болью в висках. Ноги его вдруг подкосились, и заснеженная земля неспешно и просто оказалась огромным небом; звуки совсем пропали, и стало так спокойно, как давно уже не было.

Легкие снежинки лениво опускались на нечесанные грязные волосы, причудливыми махровыми петлями пытаясь вывязать какой-то узор на давно неухоженном лице, но исчезали от жесткого дыхания человека. Одна из них плутовато скользнула в открытый рот, кольнув непослушный язык. Это вызвало давно забытые, тупые толчки где-то в области солнечного сплетения. Он вымучил улыбку: синие бескровные губы неестественно растянулись да так и остались в непривычном для себя положении. С ребяческим наслаждением продолжал Женька нехитрую охоту за снежинками, превращавшимися в белые перья. Скоро их стало так много, что он уже не справлялся.

— Откуда вас столько? — силился он что-то рассмотреть в бледной выси.

В детстве предметом гордости Женьки был фильмоскоп и две алюминиевые баночки со свернутыми в рулончик янтарными пленками. Каждый кадр накрепко засел в памяти, особенно последний — рвано-белый, с бесчисленными черными точками и жирной царапиной в верхнем левом углу. Верить в то, что это «конец фильма», ой как не хотелось, понять, что на нем, мальчишеского воображения не хватало, поэтому каждый раз замирал Женька, когда на белой стене появлялся этот последний кадр.

Мать, ладная, добрая молодая женщина, растила его одна. Однако нужды Женька не помнит. Нет, не было у них нужды — была семья, в которой жила любовь, крепкая, как мирское основание.

Характерный, отважный с самого детства, до школы держался он за материнскую длинную цветастую юбку. Учился хорошо. В обиду себя не давал, друзей не оставлял. После уроков старался не задерживаться: дел много, всё на мамке. Она всегда встречала его у покосившейся калитки. То ли знала, то ли чувствовала нужное время. Не раз сын дивился этому ее дару, но объяснить его так и не смог.



Дом ухожен, в огороде догляд, на столе обед. Все чинно, все по-людски. Бывало, сядут плечо к плечу, снимет мамка платок, упадут из-под него тугие каштановые косы, и начинают они вдвоем мечтать о том, как славно заживут. Женька станет взрослым и ученым, будет работать, приведет в дом невестку-красавицу, ребята пойдут им на радость и утешение. Потом застынет мать — смотрит то ли вдаль, то ли перед собой, молчит о чем-то. Иногда это что-то как будто бы беспокоило ее, тогда казалось, что красивые глаза ее слегка косят. Это никак не портило живого умного лица, нет — в эти минуты она была так красива, что сердце щемило от нежности и любви. Женька тоже погружался в тишину — вот тогда-то, видимо, он и научился так громко и глубоко молчать.

Никогда не видел он от матери и тени недовольства. Никогда не думал о ее так и не выброженном, не выпитом женском счастье, невыплаканных слезах. Тряхнет головой, подмигнет ободряюще, обнимет за острые детские плечи — и нет в мире ни беды, ни войны, есть только теплый огонек карих родных глаз.

Больше всего боялась она, как все матери, цинкового Афгана. Но пронесло — наверное, материнскими святыми молитвами.

На «холодильнике» народ разношерстный. Тем не менее всем полагалось думать о девчонках, что остаются ждать солдата два года слезно и честно. Половину новобранцев ждать было некому. Однако об этом надо было молчать: стыдно. Потому, когда подхмеленные смельчаки убегали еще раз проститься с невестами, вместе с ними отлучались и те, кому на самом деле идти было некуда. И Женька тоже побежал с Генкой-земляком.

Финиш был неподалеку, у обшарпанного гастронома. Выпили немного, но отсутствие опыта и тошнотворная, липкая жара добавили градуса, уложив будущих вояк под клены с растопыренными от знойного сумасшествия ветками. Тяжелое неуютное забытье не было сном — оно было временным забвением, посреди которого вдруг явилась Людка.

Она заканчивала десятый класс и собиралась учиться на детского врача. Все свободное время сидела с книжкой у раскрытого окна. Женька не шастал мимо, не заглядывал в окно — и так знал, что она там. Этого хватало, чтобы чувствовать себя неполноценно-влюбленным. Порой он оказывался совсем не там, куда шел, потому что не мог одновременно думать о Людке и о делах земных. Слишком далеки они друг от друга — мечта и реальность. Что думала Людка о нем, Женька не знал. Не подошел, не сказал, не спросил... Дурак!

Дурак же и есть. В самоволке обнаружил их городской патруль; рыжий в форме прочитал лекцию. О чем — Женька не слышал, хотя в упор смотрел на оратора, пришлось догадываться по междометиям и специальным словам, глубоко понятным провинившимся новобранцам. Команда еще вчера предательски отправилась в пункт назначения, а Женька с Генкой — в стройбат.

На первых порах было хреновато, но трудностей он не боялся, куски под подушку не прятал, били — не скулил, не проклинал. Втянулся, возмужал, даже дембеля ждал без особого трепета.



Научили кирпич уважать, «стройку строить». Кирпич кирпичу рознь: у каждого в ряду свое место, своя посадка; кладка — дело непростое. Да только не думал Женька об этом: мастерком кидает жирный раствор на новый ряд, пристукивает, приглаживает, отойдет, стрельнет глазом — доволен собой. Много дум передумал он за работой, много планов красивых построил... Вот и два года за плечами. Засобирался к матери, к Людке.

— Ты корочки-то в штабе заberi, Женька, не забудь, — напутствовал батя, успевший привыкнуть к очередным. — Каменщик — профессия нужная.

— Да-а... — отмахивался Женька.

— Заberi, спасибо потом скажешь, — настаивал командир, подкрепляя свои слова трехэтажным убедительным аргументом.

...В дороге все курил без конца, попутки то не попадались вовсе, то ползли слишком медленно — не думал, что возвращение может быть тяжелее, чем прощание. Вот впереди показался такой знакомый и незнакомый березовый колок, деревенское кладбище, широкий перекресток, наконец, крыши домов. Разрывая грудь, колотились, поднимаясь к самому горлу, рассыпавшиеся шары какого-то вышедшего из строя внутреннего подшипника.

Хлопнув дверью КамАЗа и кивнув водителю, сначала пошел, потом побежал, задыхаясь, в густое облако пыли, оставленное вечерним стадом. Долго стоит такое облако, поднявшись невысоко над землей, и пахнет оно коровьим потом, горькой пылью, перегаром пастуха и парным молоком. Народ разошелся к управе; горчил во дворах дымокур, отгоняя мух и слепней, заедавших буренок; звенели подошники в сараях; мужики загибали крепкое безобидное словцо — на всякий случай, чтоб и скотина, и баба знали, кто в доме хозяин. Все это придало Женьке равновесия.

Остальной путь до дома он шел не помня времени и даже не узнал сперва цветастого платка, плывшего ему навстречу. Металлические шарики тут же беспутно задержались: один подпрыгнул к горлу, и готовое слететь «мамка!» провалилось глубоко в нутро; другой малодушно ударил под дых так, что шагнуть вперед казалось нереальным.

А она бежала к нему, метя дорожный песок длинной юбкой, маленькая, теплая, родная... Мало что осталось в этом стройном солдате-дембеле от безусого Женьки — поди узнай! А ей и не надо было — и так знала: он это, он...

Накинула ночь на вымытое небо синее покрывало, разбрызгав тысячи мигающих звезд; обрадовавшись, застрекотали кузнечики-полуночники; густо запахла дурман-трава. Хмельной деревенский воздух и дым докуриваемой папиросы окутали Женьку блаженной истомой.

Утром, лениво швыркая ароматный чай на травах, Женька как бы между прочим спросил о Людке. Сердце матери зачатило:

— Так в городе она...

— Мам, — настойчиво смотрел он ей прямо в глаза.

— Нехорошо люди говорят... А ты не верь, сынок, — поцеловала она его в высокий лоб.

В шесть часов вечера Женька сидел на маленьком полустанке с мятым железнодорожным билетом в кармане. До отправления поезда еще два с половиной часа. Пожилая тетка с отечным синюшным лицом мела перрон, глухо проклиная как приезжающих, так и отъезжающих. Тут же местная молодежь в пузырчатых трико и калошах на босу ногу, оккупировав полосатые скамейки, устала их батареей чебурашек «Жигулевского». В лучах усталого солнца липкие стеклянные бутылки отливали янтарем, когда, ударив мастерски по жестяной крышке ребром ладони, страдающий довольно запрокидывал голову.

— Слышь, братан, закурить... — нудил худой, на минуту заслонив сгустившиеся над Женькой тучи. — Папиро-сочку-у, — икал он.

Пиво оказалось теплым и противным до омерзения. В окно вагона Женька увидел, как новые кореша машут ему руками и делают нелепые подбадривающие знаки. Дикая тревога мало-помалу на время улеглась.

Проснулся Женька уже в городе... Найти медицинский институт не составило большого труда, но получить хоть какую-то внятную информацию о студентке Людмиле Смирновой не удалось. По фразам, брошенным вскользь, трудно было понять, что произошло. Почувствовал Женька непоправимое, холодным булыжником легла на плечи беда.

Улицу 1905 года тоже разыскал быстро, а вот больница, словно щадила его, спряталась в глубине двора, закрывшись старыми неуклюжими деревьями с пыльной, неживой листвой. Почему-то никак не мог найти вход: вся территория огорожена ржавой сеткой-рабицей, единственные ворота заперты. Может, тут так и нужно? Зацепился глазом за обломанную кнопку, ткнул раза два в нее пальцем, зачем-то свистнул...

— Чего трезвонишь? — Сухонький старик в разбитых очках был явно недоволен.

— Как попасть-то сюда?

— Никак! — отрезал он. — Сами к нам не попадают, только в сопровождении, — ослабил белый халат.

— Что за бред?

— Да-да, бред, именно так, молодой человек. Идите своей дорогой.

— Да черта с два!

Женька еще несколько раз обошел больницу по периметру, придумывая план. В углу двора увидел нескольких больных в полосатых пижамах.

— Все это время их не было или я не заметил? — удивился он. — Какие-то они... Мужчина! — негромко окликнул Женька. — Женщина! Ребята! Люди, в конце концов! — психанул он.

Люди занимались каждый своим. Долговязый, сложившись в три погибели, казалось, вел неспешную, душещипательную беседу с кем-то невидимым. Может, пьяный? Да вроде не похоже. Две женщины без возраста в позе каменных изваяний неестественно застыли посреди двора. Рядом на лавке размеренно качался взад-вперед мужик-маятник.

Сердце запульсировало уже вне тела. Прыгающие Женькины пальцы потянулись к маленькому черному колесу, сменявшему кадры. Но оно отказывалось хоть сколько-нибудь сдвинуться с места. К горлу

подкатила неприятная, вязкая тошнота, судорогой полоснуло по тугим мышцам: почти наяву ощутил Женька, как раскольниковский грязный топор вонзился в его пылающий череп; по лицу, шее и всему телу ручьями поползли струйки пота безнадежно-мутного цвета...

Прямо на него смотрели прозрачные Людкины глаза. Он видел эти глаза почти в каждом сне — красивые, синие, бездонные.

— Людка... Людочка! — испуганно то ли прошептал, то ли закричал Женька, не веря себе.

Она продолжала смотреть прямо на него и сквозь него... По-бабьи застонав, упал на колени, стал уговаривать Людку очнуться, тряс и пинал ржавую сетку, разделявшую их, просил прощения, угрожал, хрипел и плевался, корчась от бессилия...

Длинный затиш. Мужик на лавке закачался быстрее. Еще несколько человек явно без интереса наблюдали игру одного актера. Пришла сестра, какими-то понятными пациентам знаками отправила всех в палаты, привычными движениями настроила коляску и увезла Людку от Женьки навсегда.

Всю ночь Женька ходил вокруг психиатрической больницы, думал, искал какой-то выход.

— Двадцатый век на дворе, — пытался он успокоить себя. — Все будет хорошо, обязательно все будет хорошо...

Но хорошо не было, да и не могло быть. Пожалев парня, старая нянька, укутавшись в полинялое одеяло, протянула папиросу, другой затянулась сама.

— Уходи, милый, — мягко, по-матерински сказала она. — Иди, у нее теперь своя дорога. Никто тут не поможет, второй год уж не колыбнется. Дай бог тебе счастья!

— Счастья? — взвизгнул Женька, криво передразнив ее.

И побежал прочь. Так страшно ему еще не было никогда!

Не раз потом возвращался Женька туда убедиться, что все это ему не приснилось. Однако так больше и не увидел ни старой няньки, ни Людки...

Пытался бутылкой «Пшеничной» разговорить всегда готового к подаянию сторожа больницы. До самого мозга пропитый мужик любил обсудить планы партии и правительства и поносил уклонистов от этих самых планов отборными словами. Только, кроме бессвязных намеков на смутную роль в Людкиной истории сына какого-то «партийного начальника», ничего не добился Женька.

Ох, не любят простые люди хозяев жизни и их сынков, последних — особенно. Бил их впоследствии Женька нещадно и без разбору. Так и заработал первый срок.

— Место твое... — по-киношному стал сипеть лысый, распутив павлиньим хвостом синие пальцы, — ну ты сам знаешь... Или показать?!

Остальные наблюдали за Женькиными прыгающими желваками. С некоторых пор он не чувствовал себя ни среди живых, ни среди мертвых. Потому совсем не мог реагировать на происходящее — бревном стоял, тупо уставившись одновременно в несколько пар глаз.

— Сдвинутый, что ли?

Женька и сам в последнее время не был уверен в собственной адекватности. Зато такое состояние хоть как-то позволяло ему жить дальше.

Местный начальник наслюнявленным пальцем перелистал «Дело №...», воодушевился. Через месяц-другой Женька с двумя вялыми помощниками уже разгружал кирпичи на его недостроенной даче. Работал рьяно, жестко. Замуровывал свою звериную злобу-тоску в цемент и песок, крепко придавливал ряд за рядом ровным калиброванным кирпичом.

— Точно, контуженый! — решили вокруг.

Сначала сторонились: что в голове у такого? Потом махнули рукой:

— Больной, что возьмешь!

Потихоньку стал Женька к птичкам прислушиваться, мать вспоминать. Воспаленным мозгом понимал, как тяжело ей совсем одной. Письма из дому получал что вакцину живительную, но сам не отвечал — слов подобрать не мог. Пахли согнутые листья мамкиными теплыми руками, и седой изморозью когда-то темно-каштановых волос, и чем-то еще, гудящим высоковольтными столбами, чем-то, что непутевый сын никак не мог разобрать...

Женька достал из мятого полинялого вещмешка гостинец — узорный платок с кистями, накинул дрожащими руками на неухоженный рыжий холм земли, крепко сжал лысую голову костлявыми пальцами. С платка укоряюще смотрела на него одиноким бестолковым глазом Жар-птица, еще вчера на вокзале обещавшая вместе с горластой цыганкой ему новую жизнь.

— Обманула, выходит, — назойливой мухой билось в висках. — Обманула, — по-волчьи подвывал Женька, слизывая соленый дождь с верхней губы.

— Да, судьбина горькая на каждого своя уготована — не объедешь, говорят, не обминешь, — качали головами соседи.

— Царствие небесное горемычной, пусть земля ей пухом будет.

— И-их, Женька, — взвизгивала тетка Катерина. — Как жить буде-ешь? Пропадешь и-ить!

Как он будет жить, Женька в самом деле не знал.

Но в свой черед согревало солнце грешную землю, принуждало к трудовому дню. Работы Женька не боялся: поправил нехитрое хозяйство, устроился слесарем в РТМ. Только вот домой придет — места себе не находит. «В люди иди», — бывало, говаривала бабка. Он и пошел. Кому баньку пристроит, у кого в сарае крыша завалилась — поправит. Денег не брал — хотел мир добрее сделать, сердце очистить, да и хватало ему одному-то. А хозяевам неудобно — угощают первачком, огурчиком. Поначалу отказывался, потом перестал, к тому же ой как на сердце тепело от вольных человеческих слов — мало-помалу отпускало Женьку. Скоро бесталанная красавица соседка, мыкавшаяся по земле в поисках женского счастья, присмотрела его. Видать, поняла: как ни беги — счастье все впереди тебя. Мягче теперь смотрел на мир Женька — о сыне мечтал, однако Зойке Бог детей не дал, отказалась она от материнства, гоняясь за выдуманной мечтой. А после и сама где-то сгнула...

Теплела душа от стаканчика, честно заработанного у крепкого хозяина, мягчала, пока в кисель не сварилась. С работы наладили, как нарушителя трудовой дисциплины, дом запустил, сам опустился. Только Женька этого не ощущал, другие говорили — не верил. К матери ходил редко, да и то все больше «ужаленный», как выражался один дружок, клещом присосавшийся к нему.

Однажды надолго застыл Женька у запущенной могилы: высокий сиротливый бурьян укором поднялся вровень с ним. «Когда успел-то?» — подумал Женька и почувствовал, как свилась и скрючилась внутри какая-то живая нитка. Стало совсем тошно, потом нитка улеглась, мутить перестало. Он с трудом выдернул сорняк вместе с комом сухой земли. Заглубившей рукой присыпал рану-ямку, погладил землю. На миг ощутил под ладонью шелк материнских волос. Нитка опять дернулась, предупреждая о начале чужой, не Женькиной жизни...

Друзья появлялись и пропадали соответственно наличию в карманах мятых казначейских билетов, пропитавшихся рассыпанным табаком. Неделями не вспоминал Женька о работе. Только когда от выпитой бормотухи остервенело подводило желудок и похмельная изматывающая икота выворачивала наизнанку нутро, шел в люди шабашничать «за кусок». Да уже не ложились, как раньше, кирпичи, неуверенно держался в руке мастерок. Скоро и на это сил перестало хватать. Как побитая собака, днями лежал Женька в куче тряпья на всегда несвежей кровати.

Но свет, как водится, не без добрых людей.

«Добрый человек» жил бобылем незаметно и странно. Тлетворная жадность и низкопробная предприимчивость пополам с несомненным тихим помешательством делали его чужим в деревне. Промышлял си-вушным самогоном, затем смекнул для дури добавлять в поллитровки, горлышки которых прикрывал обрывками полиэтилена и обвязывал засаленными нитками, таблетку димедрола. После очередного визита участкового аккуратно платил «в государство», пересчитывая медяки болезных своих «прихожан». На обратном пути покупал в сельпо сахар, дрожжи, в аптеке — димедрол, продававшийся без рецепта, и, похожий на осинового горбыль, шагал к холодному, серому дому своему.

На лице сельского господина легко читалось, что он крайне доволен собой. Видимо, к этому располагала кое-какая сумма, отложенная в укромном месте, и сознание превосходства над быдлом, готовым исполнить его приказание по щелчку пальцев. Действительно, огород его был в порядке, в сарае несколько свиней жили уж никак не хуже, чем те, кто за ними ходит, и даже во дворе разбит небольшой садик — все дело рук работников, которых сам называл друзьями. Несколько «друзей», очевидно молитвами хозяина, отошли в мир вечного покоя. На их место приходили другие, такие же верные и удобные.

Тот Женька никогда бы не позволил себе... А у этого, в общем-то, выбора не было. Чуть свет скреб он ржавой лопатой свиньи клетки, таскал мешки, мел двор. Незаметно отсыпал из хозяйских запасов в карманы немного дробленого зерна, пахнущего хлебом и мякиной, чтобы за-

лить их вечером кипятком, сообразив нехитрый ужин. Получив порцию причитающейся сивухи, шел домой лечиться.

Приблудный пес с тихим визгом встречал Женьку, лизал щеки, забирался на руки и пристально смотрел в белесые, выцветшие глаза, пытаясь разглядеть его бывшего, настоящего. Не по себе было от этого Женьке, отворачивался он молча от чистых собачьих глаз или разговоры нетрезвые, слезливые начинал. Тогда безымянный пес тут же оставлял его наедине с бредовым угаром.

— Да слушай ты, собака! — то ли приказывал, то ли умолял он, ни на что не надеясь.

Порой Женька просыпался бодрым и просветленным от аромата готовящегося завтрака, радостного лепета детей, слышал, как падает с материнских колен клубок и она беззлобно ворчит на рыжего кота, загнавшего его под стол, и явственно различал звонкий смех юной Люськи. Это не было видением, а было другой реальностью, которую Женька вымолил у жизни. Только удерживать ее было все труднее. Совсем терялось ощущение времени... Потом все казалось живой картиной, написанной искусным мастером. В глубине души Женька чувствовал, что он и есть тот самый мастер, но стеснялся перед самим собой за слово «искусный», потому что в подкорке давно уже сидела мысль о собственной ничтожности, забравшаяся и сюда, в другую реальность. Сердце с низкого старта прыгало в горло, виски... Женька понимал, что свидание со счастьем закончится так же внезапно, как и началось. Правда, и свидания эти в последнее время почти прекратились. Он все чаще жалел себя. Что угодно отдал бы за одно только мгновение, однако отдавать было нечего. Впрочем, он еще дышал, видел, слышал — надо было зачем-то жить.

Иногда он пытался смыть холодной водой мертвенную паутину, налипшую на него, гладил засаленные, прибитые временем космы старым, потерявшим аромат обмылком, водил по щекам ржавым лезвием, косился в мутное зеркало, не надеясь узнать знакомые черты. Нет, прежний Женька ютился слепым котенком в самом дальнем уголке вытрепанной в лоскуты души, боясь всего, что хоть отдаленно могло напомнить о безвозвратно ушедшем. А после и вовсе перестал бояться, перестал ощущать жизнь.

Досады не было, обиды тоже — ничего не было. На последнем кадре в верхнем левом углу — жирная царапина.

...Снег мелким бисером капелек сначала еще оставался на щеках, шее, а потом хлопьями ложился на умиротворенное лицо и уже не таял.

— Счастливчик, — перекрестилась, подойдя ближе, сгорбленная нуждой старая женщина, которой взрослые дети оставили на воспитание троих внуков, беспутно затерявшись в бытовой круговерти. — Ни забот тебе, ни хлопот!

Снежинки, в бешеной пляске сталкиваясь друг с другом, белым саванном закрывали счастливого Женьку от этого мира.

---

Лада ЮРЧЕНКО

## ДРУГОЙ ПУТЬ У МЕНЯ

*(Не)возможная история Стеньки Разина*

Р а с с к а з

### От автора

По одной из принятых версий, Степан Разин родился в 1630 году в станице Зимовейская-на-Дону. Как ни странно, год рождения Разина исчислен по сочинению голландского путешественника Яна Стрейса, который в 1668 году прибыл в Московию, затем до 1673 года искал приключений в России от Новгорода до Астрахани и, на этих просторах в 1670 году встретившись со Степаном Разиным, определил ему возраст в 40 лет.

В 1675 году Ян Стрейс написал книгу «Три достопамятных и исполненных многих превратностей путешествия по Италии, Греции, Лифляндии, Московии, Татарии, Мидии, Персии, Ост-Индии, Японии и различным другим странам» о своих приключениях, в которой впервые и была рассказана история «персияночки-полоняночки»: «При нем была персидская княжна, которую он похитил вместе с ее братом. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость и, обратившись к Волге, сказал: “Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес ничего в жертву тебе. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным!” Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканые золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всем пришла к нему по нраву. Она тоже полюбила его...»

Уже во время Петра I был заказан перевод на русский, однако впервые на русском книга появилась в 1880 году (в переводе с французского П. Юрченко, что вообще не странно в контексте всего происходящего).

В нашей истории 1670 год остается за пределами повествования, и вполне возможно, что Ян Стрейс действительно встречал Стеньку Разина, а может быть, его историю ему рассказали его соотечественники, встречей с которыми и заканчивается история нашего Стеньки.

Станица Зимовейская (теперь Пугачевская) дала нам и Емельяна Пугачева, и что-то в ней вообще было не так, — она и победила в борьбе версий Черкасск, поскольку Дон с Зимовней Лукой явно мифогеннее. А мифогенность — это как раз то, что нужно для того, чтобы вслед за устной народной традицией эпически идеализировать судьбу казака, дату рождения которого мы знаем со слов голландца, а место и вовсе не определено.

Почему именно Стенька Разин? Ну где ж тут счастье — княжон топить и четвертованному быть? Но ведь это с ним все случилось после сорока лет. А до сорока? Где он был до сорока своих лет, если мы даже не знаем, когда точно и где точно он родился? И что было бы с ним, выбери он не войну, а путешествие? Не битву, а науку?

...Ничего в этом тексте не претендует на правду или историю. Ничего, кроме случайных совпадений и тщательного сопоставления дат и событий того времени.

Мне было интересно пройти со Стенькой его другой путь. В котором нельзя было изменить только главного: она должна была утонуть, а его должны были растерзать. А до этого должно было случиться счастье и Сибирь.

## 1.

Река была ленивая, мореная. Легкий утренний лоскут тумана еще висел над заводью Зимовней Луки, но солнце уже жарко дышало на него, разгоняя остатки ночной прохлады ковыльными нитями по поверхности воды. Дон просыпался.

Стенька бросил сердитый взгляд на гусей: с полдюжины топтались рядом, собираясь войти в воду, но все медлили.

— Как бабы! — в сердцах бросил им парнишка и поправил лямку сумки, наброшенной на плечо. — Еще визжать и брызгаться начните...

В двенадцать лет ты уже точно знаешь, что визжать и брызгаться могут только бабы. Ну или девки, конечно. Вон Фроська Ушакова — та горазда шум поднимать: весь свет должен знать, что она в одной рубахе по илистому берегу между тальных прутьев места ищет, чтобы войти. Чего его искать, везде заходи и ныряй. И нечего тут прошвенные ленты на плечах подтягивать и подол мочить.

Не выходила Фроська из головы со вчерашнего. Вся в брызгах, руки песком присыпаны, коса расплелась и ленту в реку сбросила. Стенька достал бы ее в один миг, да уж больно диковинно та оплелась вокруг камышей прибрежных и замерла в них алым всполохом, как полоска закатная на краешке топкой июльской ночи.

Не выдержал, дождался, пока визгливая Фроська ушла, добрел до камыша, забрал ленту, да так всю ночь и промаялся, пока не пришла пора гусей на перевоз гнать: в соседнем хуторе тетка Стенькина собиралась к дальней родне в Котельниково на Аксай сынка на выучку отправлять. Через пару лет ему уже в строй становиться, казаку время пришло. В дорогу ему и гостинцы собирали, чтоб не с пустыми руками к родне прибыть. Вот и Стенькина семья гусей послала, скоро нужно их отогнать, а путь не близкий, да еще и обратно. Время и проскочит в вольнице под небом степным, в траве да в ягодных полянах.

А вернется, уж не до Фроськи будет: покос начнется, а там и Спасы медовый да яблочный, знай успевай до самого Покрова. А в Покров Фроська замуж пойдет. За Семена Залучного. На другой хутор уедет. Сговорено уж все. Лента одна и останется...

Стенька взъерошил белесые волосы, которые не то вились, не то лохматились, подтянул свои коротковатые штаны да и не выдержал: до перевоза еще время есть, подводы только начали собираться, можно и окупнуться!

Ближе к полудню у перевоза собрались подводы и пешие. Чинно разместились на плоту да и отчалили. Стенька присел у колеса широкой телеги, в которой полулежал странный человек, не то в рясе, не то в рубище: серой пылью покрытая одежда позволяла лишь определить, что она длинна и неудобна. В поле не выйдешь, на коне неловко. Не казак, не холоп. На монастырских тоже не похож. Человек удобно пристроил под голову мешок и листал книжицу, внимательно всматриваясь в рассыпанные по ней буквицы и картинки. Полистает, книжицу вниз опустит да на небо глядеть начинает, будто меряет там аршинами расстояние. Как на поле перед севом.

Стенька полевых работ чурался, казаку не положено с земли жить, вон батька говорит, в старые времена за это и порешить могли. Казак живет удалью да искусством. Удачей живет набежной.

Впрочем, последнее время все больше стало появляться хозяев: обживались домами да наделами — в походы же отправлялась в основном пришедшая голытьба, которую снаряжали, крестили на дорогу, а по возвращении получали свою долю добычи и на торг несли. Старые казаки смотрели на эти перемены с неодобрением, пытались поначалу учить молодежь, но время шло и все сглаживало в нужную ему сторону — как под материным валиком полотно, поморщившись да неспешно, но все же растягивалось в ровную скатерть, ложилось под кувшины и хлеб на стол, и всему находилось свое место на нем, так и под временем укладки старые нехотя, но распрямлялись, давая возможность поставить на них новое и небывалое. И пробовали его так же — надкусом: коль придется по вкусу, брали, да и приучали себя понемногу к пестрому и пряному, а коль горчит, то и на задний двор поросям отдавали: тем без разбору все полезно, что в рот полезло — так на то они и поросья, а не казаки.

Набеги да степная жизнь, однако, Стеньку влекли куда как больше, чем торг да выпас. Каждый раз, провожая отряд, смотрел он вслед всад-



никам и представлял, как длится дорога бескрайним простором, как степи переходят в новые степи, как ширится Дон, как появляется на его дальнем краю море — такое же бескрайнее, как степь и небо над ней, а за морем новые степи и дороги и города каменные, добром богатые, дань казакам приготовившие...

Вон, говорят, с прошлого года в самом Азове казаки сидение затеяли. Свой свободный город обосновали, не хутор, не станицу. Может, и случится царство казачье, куда царевы приказчики не с указами, а с просьбами и договором приезжать будут.

Стенька на Азов хотел. Уже было и сборы начал, да придется, как ни крути, еще пару лет подождать. Ну, это ничего. И Азов пока укрепится, и Стенька свой первый отряд собрать успеет, чтоб прибыть в казачий город не в найм, а с помощью.

— Говорят, сидение-то азовское закончилось, — вдруг услышал он растяжный голос Лукерья, вдовой невестки Демьяновой. — Придут скоро, с подарками да соскучившись!

— Дура ты, Лукерья! — Тетка Устина потуже завязала свой платок и прихлопнула покрепче корзину с утятами. — Какие тебе подарки с сидения, живы бы пришли! Ты лучше думай, как себя объяснять будешь, если Игнат вдруг вернется, где дите взяла, пока он по Азовам сидел да турок убавлял.

— Так на то я и баба, чтоб дело свое знать. Он турок убавляет, я казаков прибавляю. А объяснять тут нечего, все по закону: вдовая я, за мной и пригляд семейный. Не ушло ж из семьи-то!

Лукерья рассмеялась, но вдруг отвернулась, отерла концом платка лицо, посидела так чуток и, вскинувшись глазами в жаркое вышнее небо, запела было что-то, — да осеклась... Была она лет на пять всего старше Стеньки, да уж три года замужем, второй год вдовая: Игната, говорят, похоронили у того самого Азова...

Стенька подвинулся чуть поближе и негромко, чтоб не выдать интереса, спросил:

— А что, и взаправду — всё под Азовом?

— Ох и глаза у тебя, Степанька. — Устинья пошарила в узлах и пряник ему протянула, помятый, к торгу не годный, но от того свой вкус не растерявший. — Синющие, да еще с тенью зеленой, как небо в Дон смотрится! Воля в них бескрайняя. Погибель, а не глаза! Чего тебе Азов-то? Уже воевать собрался?

— Собрался! — Стенька упрямо выпрямился, на пряник плевать с досады не стал, пусть себе улыбается, от того ему горше не становится, бабий смех что поземка, сугроба под дверь не наматает.

— А позвол-ка спросить, — раздался вдруг голос с телеги, — почему ж непременно воевать?

Стенька даже не сразу понял, что ответить странному. Как это почему?

— Так казак я, — попытался он объяснить очевидное.

— Ну казак. — Станный приподнялся на локте и посмотрел на Стеньку внимательно. — И с того что?

— Казак воюет. — Стенька подумал, что, видно, мужик этот странный ума лишился где-то в дороге: вопросы задает, на которые ответ каждый ребенок знает.

— А зачем казак воюет?

— За порядком и за добычей...

— Добыча разной бывает. Можно кошель худой добыть, а можно и просторы новые!

— Земли у нас своей достаточно, — засопел Стенька. — На что нам еще?

Странный слез с телеги, подошел к Стеньке, присел рядом и протянул ему книжицу:

— Знаешь, что это?

— Книжица. Буквы да картинки разные.

— Не знаешь... Тут как раз просторы и есть. Вот в этой, например, весь мир небесный описан.

— Молитвенник, что ли? — С сомнением Стенька глянул на шары, нарисованные на открытой странице.

— Описание устройства планет и кружения их вокруг Солнца. Написал итальянский ученый Галилей. Он умер в этом году, а книжки вот его по всей земле остались. А книжки — они же как дети в семье. Вот пожил ты без детей, род твой прервался — напрасно ты прожил, выходит. Так же и с мыслями. Понял ты что-то, а другим не рассказал. Тоже напрасно — и понял, и прожил. А вот он рассказал многим, как будто целый отряд в путь отправил. За добычей и удачей. Тоже казак, выходит.

Странный улыбнулся, и у Стеньки совсем в голове все перемешалось. Ну какой может быть в Италии казак? Самой Италии-то может и не быть, кто ее видел?

— Ты вот ратному делу учишься, чтоб воевать хорошо?

— А то!

— Хочешь еще другому выучиться? Читать, например?

— Книжицей город не возьмешь...

— Книжицами мир берут.

— Баловство это! Вот шашка у меня ежели да конь хороший — куда ты против меня с бумагами своими?

— Хочешь попробовать?

— Давай! — Стенька вскочил да из сумки выхватил прут любимый, которым движения ножевые отработывал. — Если ты меня остановишь, то буду буквы твои учить. А нет — повезешь меня до хутора с гусями на телеге своей!

Стенька покрутил в руке прут, приноравливаясь, и сделал первый шаг к странному, чтоб, присев половчее, смочь хлестануть ему по ногам, а там и голову достать.

— Как планеты ходят вокруг Солнца? — спросил странный строго.

— Чего? — опешил Стенька.

Странный улыбнулся, подошел к Стеньке и как-то очень просто вынул прут из его руки.



— Смотри, — указал прутом в небо, — всегда люди думали, что Солнце вертится вокруг Земли. А оказалось, все наоборот: это мы вертимся вокруг него!

— Врешь нескладно! Если б мы вертелись, у нас бы голова кружилась да мы бы с земли и попадали, как с качелей ярмарочных!

— Вот и Папа Римский так говорит! Однако, похоже, ошибается.

Стеньку аж в пот бросило. Хорошо, хоть Римский Папа, по мнению странного, ошибается, а не Московский Патриарх!

Устинья тоже не выдержала, перекрестилась.

— А вот как ты прочитаешь все здесь, тогда сможем обсудить на равных. А то так нечестно получается: у меня полное вооружение, а ты с прутом! Ну? Будешь учиться читать?

— Стенька, не смей даже, все отцу скажу! Вот нечистый попутал на перевоз этот сесть! — Лукерья собрала свои корзины и быстро выпрыгнула с плота на берег: уже причалили.

Телега странного тоже сошла на берег, Стенькины гуси, переваливаясь, торопились за ней, а Стеньку как прилепило к бревнам. Наконец, собрав мысли, он сказал:

— Спор есть спор. Ты меня остановил, я должен научиться. Только как? Ты сейчас уйдешь, а на хуторе грамоте никто не учен.

— А я не уйду. Я у кузнеца Силантия жить буду, делу учиться. Приходи.

— К кузнецу?! — Устинья руками себя хлопнула так, что все юбки взвихрились и монасты на шее звоном пошли. — Чего не хватало! Недаром солнце у тебя не так ходит, нечисть пыльная! А ну, отойди от него!

Странный сел на телегу и, не обращая внимания на Устинью, кивнул Стеньке: приходи, мол!

И закружилось в голове: набегі дерзкие, войско народное, челны на Волге, Астрахань, почему-то ему послушная красивая персидская девка, в воду брошенная, площадь огромная — и он на судилище. И брат в толпе кричит: «Государево слово и дело!» Закружилось и схлынуло, туманом над Доном рассеялось, чужим и ненужным стало...

— Приду!

## 2.

К дому Силантия Стенька добрался почти через месяц, аккуратно на Илью. Сначала на дальние покосы выезжали, потом пришлось водокачку помогать отцу мастерить. Тимофей был хозяин зажиточный, но лениться сыновьям не позволял. Фрол, погодок Стенькин, все отговаривался ночными, куда полюбил ходить в это лето особенно, и Стеньке доставалось вдвое: и глину под основу месить, и бревна пилить, и рычаг подъемный устраивать. Отец что-то рисовал ночами, а утром они со Стенькой мастерили какие-то меха и проверяли, как они качают. Качали вяло.

Отец мучился, так и сяк прикидывал, но в первую холодную росу августа собрался и Стеньку кликнул: пойдём к Силантию, без него, видать, никак!

Переправились через Дон на лодке, пропахшей рыбой и тиной, бережно взяли корзину, матерью в подарок Силантию собранную, и пошли на хутор, чуть забирая влево по-над роццей, что выходила на воду зарослями крушины. Жаворонок бился в высоте и звенел, показывая, что роцца скоро кончится и будет за нею опять степь, бескрайняя и трудная, красотой своей и жарким разнотравьем морок наводящая, щедрую ласку обещая да не вдруг одаривая.

На ближней опушке открылся двор Силантия. И сам Силантий, вышедший за ворота гостей встречать.

— Вот колдун и есть, — проворчал отец так, что еле разобрать. — Когда ни приедь, наперед всегда знает.

Однако, несмотря на ворчбу, с Силантием поздоровался почтительно и с поклоном:

— За помощью к тебе пришли, примешь?

— Приму, коль есть чем помочь.

...Силантий по молодости был мужик бурливый. И в походы успел сходить, и на кулачках удержу не знал. Биться-бороться умел, терпеть не умел. Телом ладный, плечами покатый, девкам нравился, но сам их сторонился. Пришел он на хутор сам, один, когда было ему лет семнадцать. Прошлого своего не рассказывал, да никто особо и не спрашивал: что прошлым пытать, человек настоящим проверяется. Поставил себе на краю хату, коней завел, в круг ходил почтительно, слов на ветер не бросал, других не судил, но себя трогать-задевать не позволял. А в бою да на праздники нападала на него дерзость задорная, да такая, что как завертью брало то место, где он биться надумал. У своих, правда, прощения просил, что ломал — чинил, кого бил — лечил, впрочем, за чужих порешенных тоже молился. Но на то он и бой, чтоб не каждый из него живым выходил. Так без малого лет до тридцати жил без удержу, пока не встретил Ганнушку на большой ярмарке. Он уже тогда кузнецом стал, дело основное освоил, бороны да сабли — с ними и прибыл тогда на торг. Его ждали, сабли у него получались легкие, верткие, острые, почитай дамасские, говорили знатоки, но только здесь сделанные. И рукоятью как раз в ладонь казацкую, ни черкес не управится, ни турок, хват у них другой. Так что сабли его к врагу даже после полона не уходили, вмиг снова на торг попадали, перековывать их даже вражьи ковали не брались: до того работа была красивая.

...Вслед за отцом и Силантием вошел в кузню Стенька: было сумрачно, и не сразу за дальним верстаком разглядел Странного. Тот стоял, согнувшись над бумагами, в одной руке держал прозрачный шар, а другой водил пальцем по чертежам. Наковальня была холодной, все углы оттеснены в один край горна, и над ними шипела чаша.

— Стрелки ковать будем вечером, — сказал Странный, даже не обернувшись, и продолжил: — Что, брат, пришел?

Силантий опустился на скамью, рядом присел отец. Развернули отцовы рисунки и стали вместе обсуждать действия мехов.



— Тут не меха нужны, они не потянут, — сказал Силантий. — Тут коромысло солнечное надо, качели.

Он потянулся за углем и быстро нарисовал перевернутое коромысло с приделанными к нему бочками, а вниз прорисовал трубу, а в ней еще — потоньше, с утолщением на конце.

— Поршень, — сказал Странный и присоединился к обсуждению.

Стенька постоял немного, послушал про поршни и качели, про то, что вода расширяется, и заскучал. Его в беседу не звали, а стоять просто так в темной кузне не хотелось. Он подошел к верстаку и потрогал гладкий бок прозрачного шара: сквозь него можно было смотреть, только все молоты и клещи изменялись, переворачивались и норовили исчезнуть. Стенька опасливо отложил шар и вышел во двор — ну его, право слово, этого пыльного...

Во дворе было все правильно: сухо, пыльно и жарко. Август только начинался, и июльское солнце не думало щадить ни степь, ни людей. Кавуны скоро поспеют, лакомства будет вдоволь, да еще на зиму насолят, будут лето вспоминать.

— Хочешь? — услышал он за спиной.

Быстро обернувшись, Стенька по привычке сунул руку за пояс, где прут хранил, да опомнился: с кем тут воевать-то?

И впрямь было не с кем: девчонка протягивала ему полную горсть малины. Сама перемазанная, в другой руке кувшин с молоком, на шее туес с ягодой. Девчонка еще малая была, на год, наверное, младше Стеньки. Босая, рубаха свободная, правда, сарафан узорчатый и лента в косе синяя с яркими бусинами по краям. Глаза серьезные, а над головой всполохи золотые. Стенька так и уперся в них взглядом, силясь понять это колдовство.

— Хочешь? — повторила девчонка и подняла ладонь повыше. — И молоко холодное, в нем ужик спит.

Малины с холодным молоком Стенька хотел. Но принимать ее из рук кого-то, у кого над головой свет, — опасался. Но переступила девчонка ногами и свечение исчезло. Отпустило Стеньку — солнце! Просто солнце в волосах русых. Надо же!

— Давай молоко свое, — стараясь быть поглубже, сказал Стенька и шагнул к рукомойнику. Девчонка шмыгнула куда-то, протопала пятками по крыльцу, звякнула чем-то и снова возникла перед ним. Со свечением и утиральником. Свечение Стенька отогнал, утиральник принял и пошел за стол под яблоней, что у крыльца росла.

— Меня Синью зовут, — сказала девчонка. — А ты кто?

— Степан. Я с отцом пришел.

— А я тут живу. Мамы нет, вдвоем мы...

Совсем не похожа была Синь...

— Как? Как тебя зовут? — Стенька чуть лавку не опрокинул.

Девчонка засмеялась, рукавом прикрылась, одни глаза блестели, да медные колокольчики сыпали: то ли смешинки, то ли бусинки на ленте.

— Аксинья я! — И опять в рукав носом уткнулась.

Отсмеялась, косу за спину перекинула, молока подлила.

— Отец Синью зовет. Говорит, я небом ему данная.

— Не похожа на других сирот-то, — пробурчал Стенька. — Они хмурые, а ты вон... — И слова не нашел.

— Не сирота я! Да и чего хмуриться? Вон степь какая высокая, куз-ня звонкая, река теплая. И ты — смешной!

И сорвалась с лавки, пропала на заднем дворе, только и послышалось: приходи еще!

Тут и отец вышел. За ним показались Силантий и Станный. Пока отец с Силантием что-то во дворе смотрели, Станный к Стеньке подошел.

— Ну что, брат, пришел?

— Ты уж спрашивал.

— Так ты ж не ответил!

— Не сам. Отец привел.

— А сам, что, не пришел бы?

— Не решил еще. — Стенька повернулся было от Станного, но передумал и спросил: — Ты сам-то тут зачем?

— Учусь. И Силантий со мной учится.

— Кто ж вас учит, когда вы оба учитесь? — хмыкнул Стенька.

— Вот книги и учат. Силантий — мастер, каких мало. Он и по железу, и по меди, и по серебру, и сплавы разные знает, и чеканкой владеет. Любое может сковать, хоть в украшение, хоть в устрашение. И рисует сам, и записать, что придумал, может. Да всякий мастер другими мастерами прирастает. Вот додумается в одном конце света кто-нибудь до нового, а потихоньку все другие перенимают. Так люди и становятся умелей.

— Чего ж вы учите? — невольно заинтересовавшись, спросил Стенька.

— Стекла увеличительные с трубой, чтоб на небо и за море смотреть. И компасы.

Стенька шевелил губами, сияясь повторить хоть слово — и не мог.

— И Аксинья с нами учит...

И тут Стенька не только речь, но и дыхание потерял:

— Что она с вами учит?

— Ковать, измерять, стекло плавить из песка. Читает нам, а мы работаем. Она потом повторяет. Бусин себе сначала наотливала смальтовых, а теперь уж набаловалась, линзы к трубе льет...

Отец уж заканчивал беседу, видно было, что с Силантием о солнечном коромысле они сговорились, через время приедут забирать.

— Я приду завтра. Утром, — решил Стенька. — Тебя как звать-то?

— Зови Иваном, а там посмотрим.

Станный потрепал Стеньку по голове, как маленького, и зашагал к кузне. Туда же направился и Силантий, крикнув по дороге в сторону дальнего огорода:

- Доча, вечерять к реке пойдем, собирай корзину!
- Хо-ро-шо! — донеслось то ли с неба, то ли из степи.
- Хорошо, — согласился Стенька где-то под ребрами и окончательно понял: придет!

### 3.

Когда Стенька пришел к Силантию, утро уже катилось к полудню. На пустом дворе лежало перевернутое коромысло из вчерашних чертей, а к нему были приделаны два черных бочонка. Рядом с коромыслом с одной стороны стояли широкие доски на высоких палках, а с другой, внизу — вогнутые щиты. Один бочонок был внизу, второй вверху, тот, что сверху, скрывался в тени, падающей от доски, а нижний даже издали казался горячим: он был весь залит отражаемым щитом солнцем. Вдруг с легким щелчком коромысло двинулось, и бочонки поменялись местами.

Стенька подошел поближе: никакого механизма не было, даже коза не была привязана к какому-нибудь рычагу, как любила делать бабка Савросья, чтобы коза не просто так гуляла на веревочке, а через отмерянное веревочкой время ворот на ручье опускала и вода начинала набираться бабке в корытце для стирки и купания. Корытце было знатное, трехметровое, в чаше каменной выделанное, его, говорят, царю какому-то везли еще, да неосторожно обронили, скололи какую-то важную завитушку, потому здесь и бросили: поднять ни у кого уже сил не хватило тягость этакую... А бабка Савросья долго думать не стала, ручей к корытцу подвинула и стала в нем мыть-купать свое многочисленное семейство: благо бабка была мельничихой, жила еще с мужем у реки поодаль, так что корытце ее, с годами ивой пообросшее, никому в глаза не бросалось. Поговаривали, что и лечит она травяными купаниями, этого Стенька точно не знал.

Так вот, у коромысла никакой козы привязано не было, Стенька проверил. Коромысло постояло немного, щелкнуло еще раз, и бочонки опять поменялись местами.

— Скучно им так качаться-то! Пусть один будет мальчиком, а другой девочкой, — услышал он из-за доски и, опустив глаза, увидел подол сарафана и босые ноги.

Синь тут же поднырнула в проем меж шестами и нацепила на один бочонок венки с лентами, а второй красовался у нее на голове.

— Вот теперь красиво! Как ее назовем?

— Парашкой! — в сердцах бросил Стенька, не удержался. — А ты знаешь, как они качаются?

— Конечно! Солнце в них горячую воду делает, она паром вверх идет, а потом в тени остывает и обратно вниз падает.

— А щелкает что?

— Магнит! Он железо притягивает!

И Аксинья показала на железное донце внизу бочонков.

— Магнит? Что это?

— Это отец с Иваном руду такую сейчас изучают. Она и стрелку на компасе крутит, и соринки из глаз вытягивает, раны заживляет и воду очищает. А еще, — тут Аксинья перешла на шепот, — им кого хочешь притянуть можно, если знать, как использовать. Волшебный он. Его еще другие любовью зовут, Иван говорит.

— Враки твой Иван говорит!

— А вот и нет! Он в рудах понимает! И магнит с самого Урала принес, в мешочках разных: какой — песком, какой — звездочкой. И мне вот мешочек подарил, говорит, три раза мне пригодится: беды избежать, сына родить и тебя из беды вызволить.

— Из какой беды?

— Не знаю пока, не скоро это будет. Лакомиться будешь? Я ватрушек напекла с творогом.

— Может, меня как раз через них беда и настигнет? — съехидил Стенька и сам усовестился: его за стол зовут, а он норов показывает.

— От ватрушек какая беда? Одно счастье, особенно если с взваром. Пойдем, пока мужики в кузне возятся. Они там что-то большое затеяли, велели не заходить, а то, говорят, может полыхнуть.

Из кузни тянуло дымом и какой-то дрянью горькой. Тянуло, впрочем, в сторону, стол под яблоней не задевало — ватрушек не испортит.

Стенька уже привычно разместился на лавке, Синь принесла ватрушек и кринку с взваром и уселась напротив. Над головой опять всполыхнуло, и Стеньке захотелось рукой поймать эти всполохи, в ладони подержать, теплом их проникнуться, набрать в пригоршни света этого, умыться им или пить, как мед теплый. Аж в животе потеплело, как испить захотелось.

— Ты бы, Синька, платок надела, напечет голову-то!

— Меня солнышко не обидит! — весело возразила Аксинья, но платок с плеч все-таки стянула и плотно повязала. — Сейчас доедим и пойдем в дальнюю рошу, там на роднике надо специальной воды набрать, отец попросил.

Вдруг в кузне что-то ухнуло, дым повалил, из дверей выскочили Силантий с Иваном: полуголые, копченые, но отчего-то веселые

— Не дается она ему, верткая! — Силантий захохотал, себя по ногам прихлопывая, вслед за ним и Иван, дугой согнувшись, еле сквозь смех выговаривал:

— Брак, говорят, священный! Изменения веществ и их качеств! Пока только нам с тобой чуть все качества напрочь не оторвало!

Дым из кузни валил, мужики смеялись, качели щелкали. Если и нужно было бы дьячку местному сошествие в ад кому показать, очень бы сейчас случай пригодился. Стенька потянулся было перекреститься, да вдруг засовестился: вот Синь — девчонка, а ничего, не крестится, про нечистого не шепчет, схватила ведро да за водой побежала — мыть мужиков.



Через полчаса гарь улеглась, Иван с Силантием, чистые и довольные, столовать закончили, и к Силантию народ подошел: чинить, лудить, ковать.

— Пойдешь на родник-то? — спросила Синь.

— Нет, Синева моя, он с тобой не пойдет. — Иван чуть обнял Стеньку и к себе притянул. — Мы с ним пойдем учиться, ему ох как много нагнать нас надо, а без него мы дальше не двинемся. Так что беги сама, доченька, да то, что встретишь на пути первым, с собой возьми, у родника пригодится.

Синь подолом вертанула, бусинки в ленте подпрыгнули — и все, один морок медовый остался, потяжнѣй, манкий, такой мягкий, что время в нем останавливалось, замирало и не шло дальше: некуда было идти, все уже здесь было.

— Пойдем, брат, дело у нас с тобой важное. Сразу пять наук учить придется разом. Осилишь?

— Осилю, пожалуй, наука твоя не конь, чтоб враз пятерых не объездить!

— Ну, поглядим.

И повел за собой в летнюю кухню.

...Дальше дни шли совсем странные. Если бы сейчас Стеньку заставили рассказать, как он враз освоил и грамоту, и математику, и геометрию, и физику, и химии начала — ни за что бы он не рассказал. Иван показывал ему книги, чертил что-то на столе, на дороге — рассказывал про страны неведомые и что там другие люди придумали. Итальянцы сильно Стенькин ум тронули: трудно было понять, как в стране такой крошечной столько нового умещается. Испанцы, португальцы, арабы, индусы, варяги... Порой казалось, что только казаки с турками воюют, а весь мир другой занят разгадыванием загадок, да мыслями, да аппаратами новыми.

— Нет, Стенька, не так. Весь мир и воюет и думает. И в походы разные ходит, земли новые открывает, там тоже воюет и думает. И одним от этой жизни горе, другим счастье, одни теряют, другие находят, одни плачут, другие празднуют. Обязательно все из двух сторон состоит, иначе движения не получается. Вон как в коромысле солнечном — тоже двое нужны и еще сила меж ними. Алхимики великие это называли мужским и женским началами жизни, которые энергией объединяются. Женщина — ртуть. Быстрая, как Синь. Мужчина — сера. Тяжелый. Устойчивый. Она вокруг него, как ветер у камня, вьется, и что-то происходит. Некоторые называют эту энергию солью, без которой никак двоим не обойтись. И слезы в ней, и суть. И очень стоит дорого, почитай, бесценна она. Все это, объединившись, новые вещества рождает, меняет все, к чему прикасается, даже землю, думали, в золото обращает. Но не верь этому — землю можно обратить в металл, только если она его содержит и к ней другие элементы применить: огонь, воздух, воду. Вот сочетание этого и есть химия. Для нее обязательно нужно разное. И чтобы в человеке ка-

чества развивались, в нем тоже должно быть разное. Вот ты, например, биться уже умеешь.

— Не разучиться бы с твоими книжками!

— А ты не бросай. Каждый день тренируйся, в лагерь, если надо, езжай. Но и книжку каждый день не забывай. И кузнечное дело тоже.

И дело кузнечное Стенька освоил. Хотя какое же оно кузнечное? Не только металл ковали — стекло лили, шлифовали, меряли, колбы дули, в них вещества смешивали: одни осаживались, другие улетали дымом. Вещами и плотностями занимались, минералы учили — руды узнавать.

Самое сложное началось, когда перешли к географии и Иван ему карты показал. Весь мир на одной доске! И Стенька совсем пропал в кулоньке, все по доске с увеличительным стеклом — самолично шлифованным! — ползал, страны, моря и города узнавал. А посреди доски — стрелочка, все время на север показывает. В верхнем крае доски — ящичек, а в нем мешочек с порошком магнитным. Стрелка все время на него смотрит, не отворачиваясь. А вынешь его, переместишь куда — она крутиться начинает, пока его не найдет, а найдя, успокаивается, замирает и останавливается, как то время, когда Стенька про Синь думает. Он бы и смотрел на нее не отрываясь, да некогда: оба заняты. Только и встречаются за столом и вечером — долго-долго рассказы слушают: то Иван, то Силантий про чудеса разные рассказывают, про греков древних, про пиратов, про бабра таежного на далеком озере, которого, может, и нет, про Сибирь, про Зеландию Новую... Весь мир за столом вечерами умещается, но на то стол и ладонь Бога, чтоб все вмещать.

...Так год и шел. А через год Фрол приехал с хутора и сказал, что отец велит уж в отряд собираться. Время пришло на военное дело готовиться, хватит здесь барствовать. Наверняка не отец это слово сказал, он с большим почтением приезжал не раз к Силантию — и коромысло солнечное забрать, часы водяные устроить, а то и рисунок какой выковать или сережки матери делал, там Синь помогала колечки закручивать, отец Стенькин ее тоже благодарил, отрез новый на душегрею зимнюю привез и каракуля. Смотрел Фрол недобро, не простил Стеньке, что кинул он забавы казацкие ради кузни да книжки. Да девки. «На бабу всех променял», — сорвалось как-то в разговоре коротком, когда еще по зиме Фрол к Силантию чиниться приезжал. Стенька стерпел это сложно, но Фролу сказал, что тот, видать, с чужого голоса поет, о чем сам не знает, а потому не обидно — какая с повторяя обида? «Только раз ты это сказал и не скажешь больше», — тихо выговорил брату и сам удивился, как сказал. В 13 лет себя держать — сила нужна больше, чем другого сдерживать. Видать, появилась в нем сила. И Фрол ее почувствовал, злее стал.

Вот и сейчас приехал выкрутом, сказал, что завтра дотемна Стенька должен быть дома: собраться, проститься да и в поход идти.

— Что отцу сказать? — спросил, уезжая.

— Сам скажу, — сухо ответил Стенька и пошел ко двору Силантия.

Ночь всего одна осталась. На то, чтоб жизнь в правильную сторону повернуть.



Еле дотерпел до вечера, пока все за столом собрались. Синь на стол быстро накрыла, к осени уже поспело все щедро, масла свежего нажали, меда. Хлеб травами на разломе пах, и так же пахло на разломе темное августовское небо, звездами усыпанное. В эти звезды уже скоро месяц как все вглядывались в телескопическую трубу самодельную. Видно, конечно, было не так, чтоб до гор на Луне, но видно. И только Синь иногда отходила от трубы, уступая нетерпеливым, и ложилась на высокий сенник во дворе взглядом в небо, и затихала непривычно...

Год прошел вместе. Не девчонка теперь она, конечно. Труднее стало с ней, хоть и ласковая, и смешливая, и в учебе, и в кузне с ней интересно, но как-то научилась вдруг уходить в свой мир, часами в нем молчать, улыбаться чему-то. Ленты научилась повязывать по-разному, а зимнюю душегрею так жемчугом попеременно со смальтой самодувной расшила, что та вся искрилась, словно наст на солнышке в морозный день ясный.

А купальским вечером Стенька застал ее у ракич прибрежных на самой вечерней зорьке: купаться шла. Тихо, как в воздух, в воду ноги окунала, даже круги не расступались. Небо закатное в реке отражалось, и казалось, что по небу она идет... Даже не сразу Стенька и сообразил, что одежда ее вся на берегу осталась, не было как будто в мире никакой одежды, и никакой наготы тайной не было, а было все очень просто, спокойно и счастливо.

Трудно стало. Совсем невозможно.

— Отец в отряд велит собираться, — сказал Стенька, положив ложку на стол.

— Велит — надо идти, — откликнулся Силантий.

— Сам что думаешь? — Это Иван ложку отложил.

— Не пойду в отряд. Не мое это — воевать.

— Ты ж казак! — Силантий будто удивился, хитро сощурился.

— Казак, и что с того?

— Так казак и воюет! — улыбнулся Иван, напоминая Стеньке их первую беседу на переправе.

— Так когда это было. Я сейчас другой стал и другое мыслю.

— И что ж ты мыслишь?

— Мыслю Сибирь идти открывать, озеро потаенное искать, руды разные. Синь хочу с собой взять. Отдашь? — И взглянул на Силантия.

— Не по правилу просишь, однако. — Силантий сложил руки на столе. — Ну да у своих проститься может, если, конечно, слово твое серьезное.

— Серьезное слово мое. Отдашь?

— В поход в землю Сибирскую? Без коня, без повозки, без меха, без огня? — Силантий хмурился, а Иван вроде улыбался, но понять было трудно.

Да и не вдумывалось никак: голова кругом шла.

— Я смогу!

— Вот ты сперва смоги. А потом уж обещавай. Да и мала она еще замуж!

— Отказываешь, дядя Силантий? — Стенька вдруг губой вздрогнул.

— Не отказываю. Как отказать, коль разговор пока несерьезный?

— А всерьез когда говорить будем?

— А вот придешь с конем да с огнем, там и поговорим.

— Так что не деться пока тебе от слова твоего первого никуда. —

Иван отодвинулся от стола, сел размашистей. — Казацкий долг свой роду отдай, да и в походе поймешь лучше, что тебе действительно важно.

— А через год посмотрим, — окончил разговор Силантий.

Иван по привычке достал бумажицу — рисовать за день придуманное, углубился в чертежи. Стенька понял, что решение принято. А его черед — смириться с этим, как ни горестно, как гордость ни вспрыгивает: правы старшие, что уж говорить. И роду должен, и Сини должен. Справится — быть походу дальнему, не справится — так лишь бы сеча остановила, а не алча.

Поискал глазами Синь и не нашел. Вышел во двор. Полная чаша звезд опрокинулась на степь, ворожила пути и судьбы, чертила линии падающим светом, и не было на этом небе ни судьбы, ни линии, ни ответа.

— Что, казак, пригорюнился?

На спину легла ладонь теплая, да так, что захотелось с этой ладонью, как с крылом собственным, слиться, Стенька аж чуть назад двинулся, прижался плотнее.

— Через год за тобой приду!

— Конечно, придешь. А я пока нас в дорогу собирать буду. Да и прав отец: пока ему без меня никак.

— Он не так сказал!

— Он так знает. Ему любить, кроме меня, некого. Он думает, что уйду я — и будет он один вековать. А мы с Иваном знаем: не так будет.

Прикоснулась к шее, цепочка на грудь легла перевитая.

— С любовью-камнем цепочка, не потеряешься...

#### 4.

В дорогу Аксинья собрала ему сумку: рубашка отбеленная с коловоротами по рукавам и вороту, кусок хлеба с травами, горн маленький, медью блестящий, — и яблоко.

Яблоня так и стояла шатром над столом уличным, а в эту осень урожай был каким-то особенно щедрым. Уже успели и наварить, и намочить, и пастила уже в трубочки была наворачена, но яблоки все не заканчивались, каждое утро радовали новым румяным боком оставшиеся на дереве да по корзинам рассыпанные. Пока плыл на перевозе — держал яблоко в ладони, нюхал его, словно хотел весь наполниться солнцем и жизнью той неторопливой, за спиной оставляемой. Силантий дал с собой нож, под руку сделанный, наконечников и щитки наколенные легкие, а Иван — компас, трубицу увеличительную для зоркости и книжицу в переплете мягком, чтоб легко под ремень пряталась. Листы все белые, с прожилками узорными, а к книжице — карандаш угольный. Бумагу сами в этот год

варили, вплетены были в нее листы чабреца: Синь придумала, что скучно простую бумагу делать, и стала в нее травы-лепестки добавлять. Силантий шутил, что скоро кузнечное дело закрывать можно, так хорошо бумаги пошли — даже отправили в Царицын и Астрахань с купцами на торг.

Яблоко лежало в руке теплым и живым шаром, с одной стороны светло-розовым румянцем тронутое. Еще думал Стенька про запретное, малой тяжестью в руку просившееся из-под тонкой рубахи Аксиньиной, сам румянцем пошел да, погладив пальцем кожу шелковую, убрал обратно в сумку — от греха подальше, чтоб не тосковало сердце по оставленному.

В лагерь собрались быстро. Фрол уже привычен был, второй год в лагере уезжал, а Стеньку отец строго испытывал: верно ли сумку собрал, хорошо ли все приторочено, на длину ли руки все нужное. Легкая кольчуга, пика короткая, шашка, нагайка, нож, стрелы с луком, запас тетивы, бочонок для воды, мази оружейные, порох в коробке, ядрица, ружье кавказское... Мать положила мазей целебных, а в краю сумки Аксиньиной Стенька нашел кисет с порошком магнитным — от ран предназначенным.

Целый воз провианта и снаряжения ушел за братьями в лагерь. Непокойно было уже в тот год, подготовка требовалась казакам нешутейная. Азовское сидение, в прошлом году прекращенное, мечты казачьей не сбыло, большинство ушло на службу государеву. Набеги кубанских татар, персов, черкесов и турок становились все чаще, Кавказ не давал крепостям на Тереке покоя. На полгода, на год, а то и больше уходили казаки с Волги и Дона держать границы государевы. Свирепо вокруг становилось и гибло.

Шел 1644 год.

...В лагерь прибыли затемно. Ставка уже спала, потому расположились по краю, чтоб завтра уже спрашивать, как встать по чину. Расседлались, огонь зажгли, да скоро и ночь настала. Стеньке не спалось. Перед первым днем в лагере вспоминалась ему вся выучка военная, еще в станице освоенная. С малых лет учили и шашкой работать, и безоружным драться. Любой мальчишка его лет был уже воин, некоторые и в походах побывать успели. Завтра с ними встреча будет, экзамен держать придется, в сотни распределяться. А там и учеба более сложная пойдет, и испытание ей будет лихое.

Казаки воевали всегда. И всегда их хранили род и оленье знамя. И выучка строгая. Не было врага, который бы не опасался казаков, а потому и не было тех, кто не хотел бы их уничтожить. А потому воевали люто, в каждом бою добывая право рода на продолжение: за себя воевали, за свое Отечество. Стенька долго оставался младшим сыном в семье, еще не заросла даже ямка ушная от кольца обережного, но в прошлом году мать, хоть и в годах уже сильно, а потому давно уж не рожавшая, удивила отца мальчиком. Перед отъездом к Силантию Стенька положил ему в зыбку серьгу свою — передал родовое хранение.

С зари утренней началось-завертелось: старшие не давали ни продоху, ни времени на раздумье — все, чему учили, должно было быть усвоено не головой, а телом, до полного слияния, до естественности. Били,

резали, кололи, сходили с лошади на галопе, на нем же и вспрыгивали, стреляли в стоящее, летящее и плывущее, учились нырять и ходить по деревьям, боролись один на десять, бегали и замирали и без сил валялись, как только возможность была, в сон. Иногда казалось, что и во сне продолжали биться, а иногда — что бой только сон...

Три месяца высушили тело, руки огрубели так, что даже молот кузнечный показался бы игрушкой несерьезной, голос охрип, глаза от постоянных атак сделались яростными, а норов — бешеным, чтоб при ударе всей силой уходил в противника, не оставляя тому шанса никакого — ни победить, ни выжить.

Страшен стал Стенька среди страшных и дерзких. С посвистом, с кручением нагайки влетал он на тренировочный круг и часами менял оружие, делал оружием свое тело — до бесчувствия к боли.

Так же — с посвистом — влетела сотня в тот первый бой с персами, который стал уж не тренировочным. Привычными движениями рубил и колол, сошел с коня — бил и резал, хлестал и стрелял. И так несколько часов кряду, пока весь острог, отбитый у персов, не покрылся слизью и кровью, мозгом вытекшим, костями осколчатыми, стоном и смрадом: не было живых даже среди раненых, во всех смерть вошла. Не сейчас, так завтра дело сделает.

Из внутренних сараев острога выпустили пленных — баб да детей, всех, кто остался жив после захвата недавнего вражьего. Дети смотрели остановившимися глазами и молчали: не плакали, не говорили, не смеялись, не брали еду, не прятались в материны юбки. И юбок-то почитай не было: в лоскуты рваные поневы и сарафаны не скрывали ни рубах измятых, ни ног почерневших. Бабы тоже молчали. Не о чем говорить было. Война через дома прошла — что в ту, что в эту сторону страшная. Мертво все было. Темень и хаос. И не было здесь той силы, что скажет слово — и наступит начало. Боль и смерть...

Стенька, шатаясь, сошел к берегу и, бросив вещи, двинулся к проруби. Разделся, шагнул по сходням в воду и стал смывать с себя сегодняшний день. Льдом покрывало волосы, пар шел от тела, что не успело остыть еще от боя. Холода не чувствовал, чувствовал, как возвращается жизнь.

Вдруг за спиной услышал звяканье и поскрип шагов по снегу. Тут же на шее почувствовал холод цепочки чужой, дыхание сбилось. Дернул со всех сил удавку, та лопнула: видно, не для того была сделана, обернулся и, выскочив из полыньи, в три прыжка настиг мальчишку, который уж потянул из ножен его, Стенькину, шашку.

Мальчишка был персом — года на три младше Стеньки, но, видно, еще не пробовавшим настоящего учения. Он был для своих лет ловок и смьшлен, глаза, горящие черным огнем ненависти, смотрели без страха. Стенька выкрутил ему руку, сжимающую шашку, отбросил мальчишку в сторону и стал одеваться. Убивать не хотелось. Устал сегодня.

Оделся, поправил ремни, обернулся. Парнишка был там же, где упал: сидел и смотрел сквозь падающий с неба снег. Неотрывно смотрел и ше-



велил губами. Молился, наверное. Правая нога его была в крови, которая ручейком красила белый снег. Стенька было пошел, но вдруг остановился и, достав из-за пазухи кусок полотна, береженный для перевязки, вернулся к мальчишке и быстро перетянул ему ногу.

— Бог даст, не помрешь. А вернешься к своим и расскажешь, что казаков победить нельзя, пусть не суются.

И пошел.

— Менеда, — услышал он за спиной. — Звать меня так. Встретимся еще.

— Не встретимся, — бросил за плечо Стенька. — Хватит уж одного раза!

В остроге было суетно: победить — полдела, надо еще после битвы убрать. Кого похоронить, кого вылечить, кого на казнь определить, кого на выкуп и торг. Однако уже топилась баня и постукивала утварь в центральной избе: готовили ужин. Стенька не пошел ни в баню, ни в избу. В углу острога виднелась кузня — туда потянуло. В кузне было пусто, темно и холодно. Острожного кузнеца, видать, персы порешили, а своего пока не дождались. Стенька встал у горна, поворошил остывшие угли. Те шепнули, огня попросили.

Прибрав в кузнице и затопив все печи, Стенька достал свою книжицу. Ни строчки за все время лагеря и похода не появилось на белых страницах. Ни дня, ни воспоминания. Или не успевал, или помнить не хотел. Завернул книжицу обратно и улегся на лавку дальнюю — спать.

Утром в острог пришел отряд с севера. Казаки переходом шли из-за Урала, потом спустились по Волге до Царицына и теперь шли к Каспию и к Черному морю: кавказские заставы помощи просили.

Казаки шумно рассказывали про земли пройденные, про зверей и рыб невиданных, про золото и самоцветы, про небо в сиянье ночного всполоха, про снега, что с конем скрывают, про морозы лютые, про татар сибирских, ханством живших большим и сильным.

— Я вот тоже пойду в Сибирь, — сказал Стенька. — Озеро там есть великое, говорят. Чистое и глубокое, со скалами и тайгой богатой. С тюленями белыми. Хочу найти его!

— Так нашли уже в прошлом году. Байкалом озеро-то зовут. Наши же казаки и нашли. Теперь в обход его пошли, посмотреть и для других рисовать и записывать. Так что опоздал ты, Стенька, без тебя уж все открыли, ничего больше тайного и нет!

— Неужто уж нашли? — Стенька верить не хотел.

И в Азов не успел, и Байкал не нашел. Ничего ему в руки не дается, видать, не его это — земли новые и города. Воевать надо. Воевать, раз уж обучен. Раз надежды никакой нет теперь — незачем в дорогу собираться. И Фрол тут как тут: что, мол, домечтался? Как свое, потаенное кто-то чужой выгащил и прибрал. Как к Силантию возвращаться, с чем? Нет завтрашнего дня, одна битва бесконечная впереди...

Стенька зашел в конюшню, бестолково там что-то попробовал сделать — не выходило с душой. Ушла душа куда-то. Полез в суму за на-

конечниками, да перевернул все на землю: блеснул медным светом горн сигнальный, Синью даренный. Ни разу еще не сгодился.

Горн завернул в тряпицу, наконечники подобрал да в кузню пошел — править. Пока горн раскачал, пока наковальни попробовал, пока к щипцам прилачился, время к вечеру подошло. Стал ковать понемногу, а на звон и другие потянулись, каждый свое править. Потек разговор неторопливый, про станичную жизнь байки. Час-другой — и уж весело казакам стало, хохочут, а Стенька в такт молотки свои опускает, и понемногу тоска из груди, как ржавый гвоздь из подковы, выходит, под огнем и ударом размягчается, в новое переделывается.

— Не слушай никого, парень. — Старый казак присел рядышком. — Если решил идти, надо идти. Сибирь — огромная, места там всем хватит. И гор, и озер, и степей... Твое от тебя не уйдет. А без мечты никак жить нельзя. Незачем. А коли незачем, пуля это всегда чувствует: человек сначала душой умирает, потом уж телом. Особенно если он один, если некому за него просить-молиться, если детей нет. Материнская молитва — она, конечно, сильнее прочих, но мать за ребенка просит, а сохраняет человека только то, что он в завтрашнем должен сделать. Надо идти.

— Прям завтра? — грубо спросил Стенька.

— Дорога же она не всегда прямая, не всегда сразу видишь, что идет к нужному. Главное, самому не забывать, зачем идешь. А жизнь выведет, подскажет. Может, еще не все ты провоевал и не завтра ты в Сибири окажешься, но окажешься точно, если, конечно, душа жива. Отпусти ты ее, не держи тисками, она стрелой-то и полетит, потянет ее к нужному без промаха. Потому как сила у желанного всегда великая.

...Стрелочка в компасе качнулась и задрожала, не в силах выбрать, куда двинуться. По всем правилам — должна была к ящичку с песком магнитным, но отворачивалась от него, егзила. Стенька мешочек из гнезда вытащил и спрятал, сам подальше отошел, чтоб начисто проверить. Стрелка размахнулась широко и прямо на Стеньку уставилась. А Стенька на нее: никак север не мог быть в этом направлении, вон по звездам первым видно, совсем он в другой стороне. Повернулся кругом, а стрелка опять на него. И так и сяк ходил, примеривал, переиначивал. К мешочку достанному подходил, тогда стрелка вообще никуда не показывала, а металась от него к узелку. Поломался, видать, компас. Не выведет теперь. Не видит желанное.

И вдруг понял: цепочка. Синью даренная. С магнитом ведь. Чтоб компас нашел север, нужно оберег снять. Себя защиты лишить...

— А ты, Степан Тимофеевич, снимай, — сказал сам себе. — Пока только о себе думать будешь, никогда желанного не обретешь. Пока страх в тебе будет, тоже с места не двинешься. Снимай, Степан Тимофеевич, пора уж в путь. Обещал.

И качнулась свободная стрелка. Прямо в север уставилась, линией прямой пролегла. Верно все старый казак сказал: отпусти душу из тисков, она тебя выведет. Есть с чем за Синью возвращаться. Большой путь впереди, желанный.

## 5.

— Надежда преодолевает скорбь всякую, — сказал старый казак да и исчез со своим отрядом, как его и не бывало, в следующее утро.

В острог возвращалась жизнь, из ближайших селений пришли подводы: кто раненых забирал, кто родне помочь приехал, начисто уже убрали и двор и стены, забывалось, зарастало прошедшее, новым днем наполнялось.

— Как живут они в этих приграничьях, не знаю. — Фрол потуже затягивал стремя: готовился тренировать удары в падении. — Каждый день набечь могут, а сил мало. И на войско государево надежи никакой: пока они по приказу-наряду выйдут, тут уж всех в кашу порубают. А нам их защищать — тоже богатство небольшое, одна погибель.

В этом бою потеряли они человек двадцать с сотни, трудно прорубадалась. Не успели как следует еще выучку молодые пройти, потому первыми шеренгами и легли, когда персы навстречу свой отряд послали.

— Не так ходить надо. — Стенька рисовал всю ночь на доске углем подточенным.

Они с Фролом в лагере вроде как опять побратились, ушел раздор. В хуторе да на сенокосе хорошо браниться и друг друга испытывать, а на военном выходе надежней брата никого быть не может. И дороже брата — никого. Потому как один у них долг родовой и один корень, кровь одна. Другие братьями — пусть и названными — становятся, тоже только кровью-смертью испытанные, здесь понимаешь, кому какая цена, кому какая вера. И веришь подчас сильнее, чем в Господа: тому за всеми пригляд, не ровен час моргнет, а тут все считанные, все на виду, у каждого ответ за другого близкий. Но названные — это тобой уж выбранные, душой, разумом, а кровный брат — судьбой поставлен, и такой, что именно тебе нужен, чтоб тебе свой путь пройти с ним рядом, по нему меряясь, его поправляя.

— Гляди вот, — Стенька пожирнее провел линию на доске, — только нашей шашкой можно с двух рук переплетные кольца вычерчивать. Другие сабли не годятся, им гарда мешает. А потому впереди должны идти те, кто лучше всех это освоил. Тогда и врагу урон больше, и своим, что сзади идут, легче. А потому готовить надо под шашку с двух рук, под нож и под удар нижний. Мы не силой берем — скоростью и движением.

Стенька подозревал Семена Медведева, что славился на всех праздниках неутомимым плясом, и продолжил:

— Вот глянь, я с шашками прошел. — Он повертел клинками сначала легонько, потом ускоряясь — до свиста разрубаемого воздуха, пока не превратился в блестящий металлом на солнце шар, — остановился, одну шашку метнул в стену кузни, а вторую на Семена нацелил. — Тут ему, казалось бы, и уйти некуда, но... Потанцуем, брат?

И Семен, изготовившись, ушел от направленного острия, припал на руку, ноги вверх вскинув, потом повернулся вприсяди так, что вокруг него круг защитный на пыли выметало, и вдруг, взлетевши вверх обеими ногами, чуть двоих и не достал по горлу.

— Так что давай, Фрол, ты с конями тренируй, как на атаке под лошадь уходить, я ножами да шашками займусь, а Семен вон потанцует с хлопцами. Что с того, что нас меньше осталось? Умелей будем. Да и острожных подготовим.

Две недели прошло, день стал совсем короток, год к январю приближался, с наступления нового года уж почитай четыре месяца прошло. Этот год они встречали в лагере, сентябрьская ночь отсалютовала пушками по всем правилам — отмерила пройденное, открылась наступающему, которое, видать, так на войне и пройдет...

Выходить наметили на зимнее солнцестояние, на Коляду. До следующего острога был день пути — как раз для зимнего перехода.

Степь звенела морозом. Острожные ворота захлопнулись, и впереди, казалось, не было ничего, кроме сумрака, холода и пустыни. Скрипели полозья, звенели сбруей кони, казаки молча кутались в башлыки. И хотелось бы обождать, да дозорная служба не велит.

Часа через два по выходе начал подниматься ветер. Сперва пооземь, потом забрал выше, осилился. Стало понятно, что придется вставать в степи, иначе буран закружит.

— Говорят, в буран мир открывается и можно сразу в другой перейти. А из него в третий. Будто те, кто в буране пропадают, не умирают вовсе, а так по мирам и путешествуют, дорогу домой ищут. А приходят с подарками и всякими чудесами, как вот, например, ружье механическое.

Это Григорий с Красной Балки тем, кто помладше, бабьи сказки пересказывает. Обоз расположили, натянули бурки да палатки, от ветра закрылись, костер развели — куда как лучше со сказками пережить, чем каждый час погоду ругать. Снаружи вертело так, что и впрямь поверишь, что ты, может, и не на Земле сейчас.

— В прошлом годе вот в такой буран в соседней станице, говорят, казака у чужой жинки присыпало, — послышалось из дальнего угла. — Он к ней греться пришел, а под дверь и намело. У них еще до дела не дошло, только он ее сговаривать начал, а она бровями водит, да к ухвату, однако ж, подходит — не решила еще, за что хвататься! Тут ему выйти приспичило. А дверь уж заметена. Ему не до поглядок стало: путь-то отступления готовить надо! Стал выбираться — никак! Он в окно, она в крик: не трожь, не закрою потом, замерзну. Он в печь, печь горячая. На полати залез, все горшки поронял, до верхнего лаза добрался, открывает его, а оттуда свекор ее на него с нагайкой и — геть! Свекор-то, оказывается, со своего окна увидал, что этот гостевать пришел, подождал манехо — да бурану-то дрыном хорошим и помог дверь подпереть! Совсем бы убил, наверное, и ее, и его, если б у них до дела дошло, а так поучил чуток... Она потом мужику своему со страху, видать, сразу троих родила!

Хохотом бурану ответили, а тот сильнее стелет, метет...

А поутру на курени их степные налетели татары. Полуголых казаков по степи уж не саблями — плетками гоняли, много ли босой по зиме на-

воюет... Три десятка потеряли, ополовинили сотню уже, месяца похода не прошло. Снег кровавыми клочьями лежал вокруг стана, но на снегу этом и татары все полегли. Всем своим отрядом кочевым, по двое-трое за каждого казака отсчитали.

Фролу руку до кости стесали. Стенька приладил ему ошметки как мог, мазями, порошком магнитным под тряпицу примотал, трав дал попить да и другим помогать пошел: любой кузнец походный за лекаря всегда был. А Стеньке и самое сложное доверять не боялись, знали — Силантий с Иваном учили...

Но даже самое лучшее учение не поможет, если крови много ушло или зараза в рану проникла. Татарские раны самые страшные были, на ножах семь лихоманок у каждого сидело, раны быстро пузырились и зеленым смрадом исходили. Если кому в живот или в грудь приходилось, тут совсем уж надежды не оставалось. Говорили, это оттого, что ножами татары и ели, и убивали. И налипало на них все тесто, и в ране начинало подниматься хлебом от жара нутряного, и не было спасения от него. Застольем своим, получается, убивали.

Стенька приноровился раны эти золой да водой пользоваться: как мать со стола остатки еды убирала, так и он раны лечил. Да еще что-то насчет свиней приговаривал, кому помоями все болезни отдавал. Казаки при его лечении отходили подальше. Непривычное это дело было, тайное и опасное: не ровен час сам поймаешь все, что с другого сняли. Не мешали Стеньке. И не помогали. Один он отвечал за то, как с болезнью справится. Часто справлялся. Но не всегда.

Вот и сейчас последним всполохом лютым изворачивала Григория боль. Глаза, совсем черные, смотрели с белого лица и не видели. А лицо, наполовину стесанное, покрыто было там, где кожа осталась, светлыми и мелкими росянными каплями: как на июньской заре земляничные листья под серебром прохладным над алой ягодой.

До острога соседнего только через неделю дошли.

...Легкий был ветер над Доном. Облака даже не плыли, а перекатывались вокруг себя, как кутята белые. И накатывала зеленоватая вода на песок берега, ластилась к руке откинутой, шептала тихо, прицеливая: Степушка...

Стенька проснулся поздно. Мартовское солнце уже вовсю прильнуло к зимнему вымени, сосульки текли ручьями, наполняя народившуюся весну силой. Со двора было слышно, как живет острог: хорошо, богато, людно.

Сюда больше никто никогда не посмеет сунуться, хватит уж, последний раз был и впрямь последним. За плененных набегников казаки такой выкуп запросили, что его теперь на многие годы хватит и острогу, и ближайшим хуторам жить, а потому желания воевать здесь уж ни у кого не появится. Хорошо бы так и лежать в тепле и сытости, не ходить никуда, ни пешком, ни конным. Если б не сны эти, так бы, пожалуй, и лежал. Сны не давали!

Скоро год минет, а богатств в дорогу дальнюю пока что-то не накопилось. Фрол понемногу старшинство над сотней взял, добычу, какая причиталась, хранил исправно и только прибавлял с любого малого похода в общий схрон. Хотел Стеньку на старшинство подбить, чтоб тот атаманом ходил, но Стенька отказался. От набегов малых, от отрядов дерзких, от похода за купцами, что уж скоро по рекам до Астрахани двинутся, — отказался. Сказал, что выбрал уж Сибирь. Фрол поярился, кулаком погрохотал, желваками походил да и успокоился. Сговорились, что до Пасхи Стенька с ним остается, а на Пасху свое из общего забирает и — все. До срока осталось недели три, пора уж и счет вести.

В книжице Стенькиной появились записи и рисунки. Как открылось что в одночасье. И зелья переписал, и оружие новое, и ходы военные, и даже байки некоторые. Путь нарисовал, каким шли, места, которые примечал. А еще все песня какая-то просилась. Просилась, да не шла. И слов пока не хватало, и разумения музыку записать. Скорей надо к Ивану возвращаться, он должен помочь. Да не только к Ивану. Рубаха Аксиньина уже скоро износится, одни рукава да ворот останутся, так, видать, к ней и придет — в ворота с рукавами да с разведенными руками: нет, душа, злата-серебра, зато вошь в башке не перебрана! Пора к Фролу идти — считать, чего там навоевал.

Фрола нашел на заднем пределе у оттаявшего болотца, в котором уже всю резвились утки. Тот резал березу на первый сок, туеса подлаживал.

— Хочу долю свою забрать, сговаривались. — Стенька присел на пенек, весь обросший с одной стороны прошлогодним камышом.

— Сговаривались. — Фрол проверил, хорошо ли висит туес, и продолжил: — Да только доля там невелика.

— Какая ни есть, я знать должен.

— Должен, так знай. Воевал ты хорошо, удачливо, добычи у тебя, почитай, боле других должно быть. Но опять же и расход на тебя у сотни большой.

— На меня?

— Ты ж каждого мажешь, лечишь, поишь, греешь. Одних повязок по сто локтей уходит. А это расход.

— Расход? — Стенька чуть не задохнулся.

— Мог бы как другие, попроще. Кому судьба, и так выживет, нечего тратить.

— И на тебя не нужно было? — польхнул глазами Стенька, показывая на руку, всю буграми пошедшую, но сильную, здоровую, приживленную после того татарского набега.

— Да, можа, и не надо, рубаху бы с одним рукавом носил, — хохотнул Фрол. — А потом, ты ж от нас уходишь, другого кузнеца надо, другого лекаря, готовых нет, надо будет нанимать, можа, опять расход. Иглы, молотки, кринки — все должно от твоей доли идти, так справедливо будет. Вот почитай ничего и не остается, хорошо, хоть коня и снаряже-

ние твое тебе сохраняется. Ну и рубля три серебром. Так, наверное, брат, справедливо будет.

— Фрол! Ты сам понимаешь, что говоришь? Ты ж брат мне, мы с тобой мир заключили в походе этом!

— Как заключили, так и прекратили! Я ж думал, мы вместе пойдем Волгу воевать. На Астрахань пойдем. На Царицын. Отряд многосотенный поведем. Стенька, нас царь уважать-бояться будет. Делиться казной царской, не подачками. Потому как мы сможем — с тобой, вдвоем!

— Царя воевать решил? — Стенька усмехнулся.

— Да хоть бы и так! Что хан, что боярин, что царь... Все равно законных наследников нет, нету теперь помазанных Богом-то на троне!

— Фрол, воюй кого хочешь, у меня другой путь!

— Так и иди удом другим путем! Ты сам вредишь и мне, и себе. Не могу простить тебе этого — и не должен! Не был бы братом, порешил бы тебя за отступничество!

Тут уж Стенька не выдержал, надвинулся на Фрола, схватил того за грудки и дернул на себя по склизкому краю болотца. Фрол оступися и всей тяжестью ухнул в самую стаю уток, подняв и тину, и перья, и пузыри... Попытался встать, но болотце чавкнуло и отрыгнуло еще немного серы. Мелкое было болото, утонуть в нем возможность была только по сильному хмелю, а потому главное Фролу было не выбраться из него, а Стеньку сюда же, в эту жижу, замкнуть, чтоб не стоял сейчас гоголем, чтоб никогда не летал соколом. Фрол выполз из болота и, ухватив Стеньку, швырнул его через себя в самую грязь и сам рядом упал.

— Видать, давно на перса не ходили, — послышался хохочущий басок над головами. Семен стоял, уперев руки в бока, и было видно, что сегодня весь острог будет знать про «великую болотную битву». — Что не поделили? Кикимору?

— Горшок с угольками. — Стенька, отплеываясь, вылез из болота и подал руку Фролу.

Фрол о руку оперся, но, выйдя, тут же отпустил и в сторону глядеть начал.

— Ты вот нас, Семен Терентьевич, рассуди, — сказал Стенька. — В походы я ходил, договор до Пасхи воевать держал, долю мне положили совместно, а теперь говорит атаман ваш, что я чуть не должен еще!

— Ну, давайте порядку. Не сговоритесь, на круг пойдете. Фрол, отвечай!

Пока судили, пока торговались, время прошло. И вдруг потянуло гарью и колокол бухнул со стороны острога. Обернулись казаки — и враз бежать кинулись: горел острог!

..К вечеру только почерневшие бревна раскатали, кое-как разбежавшихся коней в табун свели, овец засаженных в гурт сбили. Смоляным остовом стояли над рекой дома давешние, в их огарках шипели и змеились еще всполохи, а казачий стан — как Бог стороной обвел! — стоял нетронутый.

— Тати дермищные! Идолы проклятушие!

На кучку острожных казаков наступали перемазанные гарью бабы. Волосы из-под платков выбились, кофты порваны, юбки промочены.

— Это ж надо было острог спалить, посреди белого дня и поста Великого бражничать!

— Не бражничали мы, — как-то неуверенно отмахивались казаки, плотнее прижимаясь друг к другу, обреченно готовя себя на расправу: страшнее бабы, дом потерявшей, нет зверя в степи!

— А ну! — Фрол голоса набрал, дело свое вспомнил. — Не поможешь тут ором. Думать будем, как исправлять!

— Да как ты справишь-то? Ничего же не осталось! — Бабы уже на вой перешли, того и гляди взлетят и сверху клевать будут!

— Осталось. Схрон наш общий. Походный.

И вынесли из подземья все навоеванное. Вынесли, оставили, лошадей своих в новый поход собирать пошли.

— За удачей пойдем, казаки, — хмуро бросил своим. — Неволить никого не буду, каждый сам решит, идти за добычей или с сумой до дома добираться.

С сумой не пошел никто. Весенние реки уже открывались, дороги просыхали, купцы пошли на торги. С ними и удача казацкая.

\* \* \*

— Жарко, Степушка, очень... Солнце какое высокое, и ни травы, ни деревца.

Аксинья сидела с ним рядом, платком укатанная, глаза ввалились, губы потрескались. Пекло невыносимо: сверху, сбоку, снизу. Куда ни помотри, везде был песок белый, по песку ходили шары перекати-поля. Белое небо, белый воздух, белые губы Аксиньины...

— Жарко, Степушка.

Синь вдруг встала, и платок сполз к ногам, открыв ее всю, иссохшую и почерневшую. Ничего бабьего не осталось на теле — как ветка дерева, она прорисовывала слепящую белизну пустыни. Мертвого дерева. И из ветки этой вдруг пошла каплями вода. Одна, другая, вот потянуло уж тонким ручьем из ладони, груди пустили первые капли, как искали, накормить кого. Синь наклонилась к Стеньке, капало уж с распущенных волос, слезы из глаз бежали часто, на ресницах приостанавливаясь.

— Ты пей, Степушка, тебе вставать нужно.

Вода была сладкая, холодная, пахла травой свежей и черемуховым цветом. Стенька пошевелился и застонал.

— Очнулся вроде!

Стенька открыл глаза. Над головой — крыша из веток, на бревна поставленная. Сквозь ветки вода капает сверху. Гроном снаружи ворочает, ветер чувствуется. Капли падают чаще и чаще. Кто-то снаружи подбросил на крышу веток, капать перестало. Над собою увидел лицо Фрола. Жесткое, с бородой первой, даже показалось, с морщинами.

— Слышишь меня?

Стенька кивнул. Глотнул сухим горлом, губы разжал.

— Сейчас, сейчас попьешь, слава тебе господи, очнулся!

И прохладными глотками стала возвращаться жизнь.

— Напугал ты нас, брат! Ровно мертвый три недели лежал, только пятнами да струпиями шел! Говорили тебе не трогать того мальчика шелудивого, унесли бы его черти на тот свет, так нет же, спасти тебе приспичило!

И вспомнилось, что в набеге последнем обозная кибитка купечья на мосту перевернулась и оттуда выпала зыбка с младенчиком. Мать по мосту металась, пока муж ее не остановил, сам немощный был, рука сухая, хромый... Ну и достал мальчика из воды Стенька, а пока нес, разглядел, что тот весь пятнышками красными покрыт, как веснушками. Почувствовал нехорошее, да уж поздно было, взял в руки-то, теперь не стряхнешь.

В том обозе добра хорошо взяли, ну да и купцам оставили, на торге убыток поправят, будет с чем обратно возвращаться, будет что казакам охранять: прямо там и наняли человек десять на охрану. Уж лучше своим платить по договоренности, чем чужим по внезапности. На том и решали каждый раз на торговых дорогах. Три месяца дали себе восстановить утраченное на пожаре, а к новому году опять на границы пойдут, государевы земли беречь.

Дело набезное уже совсем на убыль у казаков пошло, все больше стало на службу короткую заходить: казна платила и за то, чтоб ее защищали, и за то, чтоб против не бунтовали, и за то, чтоб смуту не поддерживали, и за то, чтоб земли новые завоевывали и непослушных в страхе-повиновении держали.

Другое казачество становилось, но воли своей не отдавало: не под начало уходили служить, под уговор. А коли не по воле что становилось, то сами порядок и устанавливали, у царя все одно других людей воевать не было — с холопа да батрака какой воин?

Ребеночек-то спасенный и наградил Стеньку болезнью заразной. Свалился на второй день с коня весь в жару, пятнами пошел да так три недели и провалялся. Трогать его никто не трогал, на отдельном месте в отдельном шалаше держали, но надежды на то, что он поправится, не было: уж больно понятно сквозь него смерть проступала.

Больше никто не заболел, и Фрол сказал, что, видать, Стеньку судьба уж останавливает от набегов и битвы: если, мол, Стенька поправится, то он отпустит его в тот же день с долей и благословением. И побожился. Тут, впрочем, и грянуло, и первая гроза началась. И Стенька очнулся.

...Три недели пути было всего до Силантия. И конь был, и добыча, и сила. И страх. А вдруг Синь не примет? И в этот страх, как в ледяное озеро, падало сердце и замирало. А вдруг она передумала? Или другой уж кто появился, в ученики к Силантию пришел... Или, пока он здесь воевал, она уж все науки освоила и не о чем ей с ним поговорить будет, а он забыл, кажется, даже все, что знал... А вдруг не примет его с разбоями? Или...

И не знал совершенно, что со страхом этим делать. Ни шашкой его, ни ружьем, ни кулаком, ни с наскока, ни посвистом. Страшнее самого свирепого боя и самой глубокой пропасти, страшнее реки бурлящей, страшнее зноя степного, смерти страшнее встреча была впереди: а вдруг она передумала? Вдруг забыла? Вдруг отступилась?

И не было средства другого против этого страха, кроме как ему навстречу идти.

И не было жажды больше этой встречи.

## 6.

Ангара бежала к Енисею. Бежала-летела, рвалась на вечную встречу. К платью ее прицепились репьями и косыми взглядами обломки льдов и деревьев, старые лодки, новые срубы. Она бежала, не жалея сил, не зная пути назад, не простивши камень, брошенный ей вслед строгим отцом — Байкалом как проклятие: не быть счастливой!

Ошибся Байкал. Не убежала бы дочь, не было бы жизни сейчас здесь. Острога не было бы, приюта людям.

Бежала Ангара, как бежала когда-то навстречу ему по пологому берегу к Дону Синь. Давно это было. Так давно, что за годами не видно. И так далеко, что иногда кажется — нет земли той на свете, выдумалась она, приснилась во сне дорожном степь жаркая.

Пятнадцать лет скоро минет, как ушли они с Синью с Дона. Два года уж скоро, как и Синь ушла в Иркут, спасая соседского мальчика. Не спасла. И сама не спаслась. И сыну — два года. Один из пяти, в вечной дороге рожденных, живой остался, да и тот без матери теперь. Да и без отца почитай, куда казаку младенец? Отправил его с обозом обратно на Дон, к родичам. Бог даст, вырастет.

Бежала Ангара, уносила с собой все нажитое.

...Степан тяжело поднялся с валуна, поправил шапку и пошел на взгорок. День сегодня предстоял особенный, на новый острог Яндашский ехать нужно, службу принимать.

Пятнадцать лет, а пролетели часом одним. Только своего и остались листы в книжице, вся жизнь за поясом...

Силантий, как обещал, благословение свое дал. Правда, еще год довелось у него прожить, свой дом с Синью ставить не стали: зачем, если через зиму в дальний путь собираться? За год этот Иван с Силантием Стеньку многому научили, крепче оружия военного берег он их знания и умения. Все потерять можно, а то, что в руках, в голове и в сердце, — никогда не потеряешь. Силантий Стеньке дал руки, Иван голову, а сердце Синью жило. С этим богатством и отбыли они в далекую Сибирь, как только солнце дороги подсушило.

Дороги в тот год были людны: казаки станицами уходили под начало к Хмельницкому, а кто не хотел на Украину, тот по новому Уставу в воинскую жизнь государеву записывался.

Так и получилось, что они с Синью на север да на восток двигались, супротив общему настрою. На дворах постоялых да в хуторах мало кто понимал, что там в этой Сибири хотят они найти. Трудно путь начинали, иной раз думалось, что совсем зря. А первый раз Стенька отступиться от задуманного решил, когда Синь их первенца потеряла: на подходе к Уралу забрала Хозяйка себе младенчика по первому осеннему насту.

— Степушка, ты зря возвратиться думаешь. Дети, дай бог, еще будут, а детям отец нужен сильный. А без мечты сбывшейся откуда в человеке сила? Так и будешь у тына стоять да на дорогу глядеть, жалеючи, что не ушел по ней, не справился. Наша эта дорога, по ней и пойдем. Все, что даст — наше, все, что заберет — ее. Не бывает так, что получаешь ничего не отдавая. А мечта у тебя большая, так что и отдать, может, придется больше, чем сейчас по силам кажется...

И отдавали почитай через год. Не дома — домовины для детей строили. Второго ребенка в Баргузине уже оставили, в новом остроге, на новой земле байкальской. Сбылся Байкал, да не так, как хотелось. Прозрачной глубиной своей, до самого дна видной, ветрами своими буйными, широтой в море и щедростью редкой не искупил малого, утерянного. Неприютным стал берег байкальский, холодным, злым, вражбим...

Стенька тогда тоже пришел к воеводе с прошением вернуться обратно, там-де нужнее сейчас. В московских землях в ту пору уже было беспокойно и голодно, соляной бунт поднялся. Украинское казачество восстало, креп Хмельницкий, многие к нему уходили — нового счастья искать. Сини просто объяснил: до Байкала дошел, острог поставил, все, почитай сбывась мечта. Хватит мыкаться. Синь не перечила, только улыбалась глазами, и от улыбки этой хотелось разметать все вокруг, перевернуть, чтоб выстроилось все как задумывалось, чтоб горя она не знала и нужды, чтобы просто улыбалась, как раньше, чтоб бусинки звенели и смех звенел... Мыкался, в кузне работал без усталости, чертежи по ночам чертил, днем с оружием занимался, с конями, часа себе свободного не давал, но не отпускало. Не было решения, как быть.

А если не знаешь, как быть в настоящем, надо или в прошлое возвращаться, или в будущее идти. Прошлое стояло звонким жаворонком над спелой степью, а будущее плату страшную брало, да ничего не обещало.

Воевода не пустил. Стенька был нужен на новой земле. И не столь для охраны, сколь для записей и рисования. Новые карты, новые люди, обычаи новые, товары, новое оружие — изучай да приспособлявай, было с чем работать, и работу эту тоже государь требовал.

— Некем мне тебя здесь заменить, а там ты один из сотни. Не пущу.

Много раз потом за это «не пущу» благодарил Ивана Галкина Стенька. В аккурат бы они с Синью к крепостному праву на Русь бы и прибыли. И неизвестно, дошли бы до станицы вольной или пришлось бы где в деревне остановиться и приписаться навечно в кабалу рабскую. Много беглых за следующие годы Стенька в Сибири встретил: люди волю шли через смерть собственную искать, втридорога против Стеньки платили за

дорогу свою свободную... Синь тогда ничего не сказала, стол накрыла, а убрав все, под бок к нему пристроилась, пригелась.

— Степушка, ты все думаешь, что миром управлять можешь, оттого и сердисься. Ты не Бог и не царь, да и царю не все дано. Ты человек. У тебя есть дело. Есть дорога. Есть жена. И мысли светлые, большие. Вот и все, что в твоём управлении планетном. Дело для дохода, дорога для движения, мысли для того, чтоб людям помогать.

— А жена? Чтобы мне все мысли запутывать?

— Жена — это совсем просто. Если б она нужна была для того, чтоб ее гонять, Бог бы создал ее из ноги человека. Если б для того, чтоб за тебя думать, то из головы. Благо там костей больше, чем где-нибудь. А он создал ее из ребра, чтоб под сердцем была для любви твоей и под рукой, чтоб было кого защищать. Вот для этого и жена, чтоб сила и нежность в тебе жили. Больше-то вроде незачем...

И ладонь, как любила, на груди пристроила, теплый шарик внутри засветился. Для силы и нежности, для чего ж еще?

Ну еще, чтоб книжки читать и ему, что сам не успел прочесть, пересказывать. Чтоб на охоте и рыбалке помогать, чтоб ягоды и грибы были, чтоб чай травяной и хлеб. Чтоб рубахи белые и кольчужка целая — Синь мелкое кузнечное дело не забросила, колечки плела с радостью.

Для чего ж еще?

И разделил Урал Русь и Сибирь. Там всюду шли то сражения, то реформы церковные, котлом ведьминым отсюда виделось то, что там осталось.

Здесь все проще было: земля, сибирские ханы и народы местные, с которыми то сражались коротко, то торговали выгодно, зима и тайга. Когда вокруг зима и тайга, людям друг с другом воевать вообще не хочется, есть враги страшнее: зверь да мороз.

В сундуке рудном пород накопилось уже премножество. И медь эти породы прочили, и железо, и камни драгоценные. Богатство невиданное под ногами лежало, богатство заветное, недряное. Оно открывается к добру только светлому человеку, темного еще темней сделает и беды ему купит на семь поколений вперед. Вот и не спешил Стенька своими открытиями делиться, знал, что человек до них еще дорасти должен, как дите до сабли: раньше времени дашь — только смерть накликаешь.

Лет через пять только лихо за Уралом падать начало. Украина с Россией снова сблизились, сильней стала держава, больше людей стало в Сибирь за новой удачей ехать. Появлялись артели, торговые поселки, мосты строились, руды понемногу стали приспособлять к добыче, пушнины нескончаемые обозы шли на Москву, золотом наливалась казна, мало по пути убавлялось, строго следили за этим государевы смотрители. Если другим позволять брать, самим кормиться не с чего будет, потому и следили — за своим.

Казакам, впрочем, жаловаться грех было. Земель новых — птица не облетит. Людей на них нет почти, все, что в надел попадает, то и добыча твоя законная, дольная.



Иногда разбоили, конечно, и подличали, на то они и люди вокруг были: нет существа хуже в мире Божьем. Один раз и Синь в полон slučajный попала: пошла в лавку сдавать шкуры, а там лихие, пришлые. В лавке всех заперли и с купца требуют все запасы раскрыть. Купец артачится, в лавке Синь да два недоростка служащих. Лихие люди шумят, бьют, крушат, купцу уж и бороду отрезали, к носу, к ушам подбираются. Тут Синь про магнит свой и вспомнила да про ученье Иваново — тихонечко порошок в разные углы сыпала. Мальчишек обняла и ждать стала. Известно, что магнит, так рассыпанный, вызывает помутнение рассудка и людям начинает казаться, что изба рушится. Так и вышло. Через пять минут, так к носу и не подобранный, разбойники вдруг стали головы заслонять, от углов метаться, купец под прилавок залез, мальчишки тоже руками загораживаются, а она им шепчет: ничего, ничего, это только морок. Себе и им, чай тоже живая, тоже мстится, что потолок на голову падает. Пометались мужики по избе да и вон выскочили, рады, что спаслись. Синь быстро дверь заперла, порошок обратно собрала, морок отвела, да и сели втроем чай пить: купец-то тоже возле дома своего спасенный молился, только в толк понять не мог, как дом на место встал. Привел через час батюшку, тот дом отмолил, освятил, купца исповедал — все польза для души, — а тут и затворники вышли: сытые, теплые и нос в табаке.

Батюшка Аксиною было решил обвинить в ведьмовстве, да одумался: куда тут посреди тайги, где с шаманами-то едва справлялся, еще и ведьму заводит, греха с ними не оберешься!

Да и Синь ему, как положено, поклонилась, за спасенье поблагодарила, руку поцеловала, на том и разошлись.

Пятьдесят восьмой год был, когда наконец, уже на Иркут их передвинувши, жизнь полным ковшом счастье преподнесла. Записи Стенькины отдельной почтой с гербовыми печатями государю отправили: и карты, и описания, и рисунки. Отдельными сундуками чертежи орудий разных и механизмов шли: подъемные, поворотные, башенные, военные, речные, мостовые. Отдельно чертежи лодок разных, саней и упряжек. Отдельно — короб рудный с картами подробными.

Синь тоже помогла государю подарок собирать: травы лечебные и мази, все описанные, с семенами собранные, описание желчи и жира животного в лечении, корней и орехов диковинных, масел, из них сделанных, хвойника да маральих рогов настои.

Семнадцать сундуков отправили. Казна, надо сказать, щедро заплатила. И дом, и хозяйство, и торговля своя появились. Торговали, впрочем, больше целебным да домашним, не на наживу купеческую за Уралом, а на жизнь лучшую здесь ставили. Синь еще начала понемногу детей местных грамоте, счету учить, а он приноровился собирать на кузнечное да военное дело мальчишек: ремесло без передачи — мертвое дело. Себе, правда, малый ларь оставил. С записями и недоделанными еще стеклами новыми — увеличивающими и зеркальными. Принорав-

ливался к новым трубам с зеркалами. К небесной и настольной, мелкое смотреть...

В пятьдесят девятом на исходе февраля Синь родила мальчика. Аксентия. С глазами цвета моря и солнечным светом на макушке. Первые два дня Стенька боялся даже подойти к нему, боялся опять полюбить и потерять, а на третий не выдержал, сердце краем хлынуло, сквозь глаза, сквозь горло, по рукам жар пошел неутолимый, такой, что унять можно, только в руки взяв этого человека нового. Часами Стенька у зыбки про-сиживал, с рук этот сверток теплый часами не спускал, а когда Синь уж подшучивать начала, разрешенья покормить с поклоном испрашивать, отошел с неохотой и тишком стоял за ее спиной, всполохи золотые лоя: над головой да у груди. И молился. И светом открывалась тайга и небо — до степи, до океанов, до самых высоких планет. И замирало время, потому что некуда было спешить.

Потом попривык немного. Занял себя игрушками для сына затейливыми, вырезал, плел, ковал, разрисовывал, глину выминал. И города, и реки, и Земля шаром с разными морями и островами, и планеты вокруг солнца, и звери разные, и буквы, и цифры, и книжки для рисования, и инструменты крохотные: молоточек, пилочка, сабелька... Вырастет Аксентий — будет род крепкий и широкий продолжен.

А на Купалу она в Иркут ушла.

...Стенька ехал по просеке свободно, как по своему наделу. Все здесь уже привычное, каждое движение, каждый шаг или звук чужие ясно слышатся. И чуть сзади почудилось: вскрикнули. Прислушался. Еще отчетливей прозвучал крик и выстрел. И рык над тайгой взошел басовитый и грозный. Стенька повернул с дороги, коня поторопил, и было куда: совсем неподалеку мелькала полосатая шкура, петлями вычерчивая смерть кому-то. Степан спешил, кинжал достал, к руке приноровил и побежал.

На соседней просеке стоял возок, в котором человек в одеждах нездешних, прикрывая второго, похожего на священника, целился из ружья в подступающего бобра. Неподалеку с располосованным звериной лапой лицом лежал казак, который, видимо, должен был сопровождать иноземцев. Полосато-тигряное тело гигантского зверя уже напружинилось, и видно было, что никакой выстрел не остановит этого хозяина иркутских мест. Выстрел чужеземца был просто сигналом к прыжку. И Стенька прыгнул. Прыгнул, сам обратившись в тигра, чувствуя себя зверем, хитрым, сильным, осторожным и ловким... Никто не оказался сильнее. Бобр истекал кровью, положив голову на полоз возка, а рядом лилась кровь казака, которую никаким магнитом было не остановить, да и не было рядом руки, которая могла бы это сделать.

Чужеземец бестолково топтался рядом, пытаясь сказать что-то Стеньке. Прислушавшись, сквозь шум в ушах Стенька распознал: голландец. И краем сознания выудил несколько слов на этом странном языке, что когда-то так не хотел учить с Иваном.

— Breng me naar huis kist met glas, spiegels en tekeningen, je bent er in hun Europa het hoofd te bieden. Huis van Stepan Razin in de gevangenis weten. Cache op de tafel in de Upper Room. Iets wat je wilt noemen?<sup>1</sup>

— Leeuwenhoek. Ik Leeuwenhoek. Wees geduldig. Je gaat om te leven! Vader Laurent, bid, verdomme!<sup>2</sup>

И все закончилось.

...В 1663 году на обозе из Сибири на Дон привезли казака практически без лица, так он был исполосован чьей-то лесной лапой, который помнил только, что зовут его Степан Разин. В лагере, который его принял, он на удивление быстро освоился со всем оружием и уже через год не было казака сильнее и удачливее его, а через пару лет — атамана более дерзкого и безжалостного. Фрол Разин, брат ушедшего в Сибирь Стеньки, долго не признавал в этом казаке брата, но, почуяв удачу и силу, принял и объявил его тем самым, ушедшим, но вернувшимся.

В 1671 году на Болотной площади Москвы Степан Разин был четвертован за смуту, восстание и ущерб казне государевой.

В 1672 году священник Лоран Кассегрен сконструировал зеркальный телескоп, в 1673 году Антони ван Левенгук изобрел микроскоп, в котором линзы изготавливались методом кузнечного плавления тонкой стеклянной нити.

Довезли ли из Сибири на Дон Аксентия — неизвестно. Но если бы не довели, то откуда бы появлялись в степях, звенящих жаворонком, дети, на макушках которых играет солнце и с глазами цвета моря? Погибель, а не глаза.



---

<sup>1</sup> Забери у меня дома ларь со стеклами, зеркалами и чертежами, вы там в своих европах быстрее справитесь. Дом Степана Разина, в остроге знают. Ларь на столе в горнице. Звать-то тебя как?

<sup>2</sup> Левенгук. Я Левенгук. Терпи. Ты живой будешь! Отец Лоран, молитесь, черт вас возьми!

**Александр СЕЛИВЕРСТОВ**

## **КУКЛА**

Р а с с к а з

Я — кукла. Кук-ла. Мама назвала меня Анжеликой. Она сказала, что это в честь героини старого романа, только я не читаю книг. Мои друзья не читают книг. Подруги зовут меня Джолли, Энжи. Мужчины обращаются кто как: Аня, Лолита, Анжела. Один называл меня Гжелкой: у него был водочный завод.

У меня есть руки. Они очень красивые — я их всем показываю в социальных сетях. Я делаю маникюр три раза в неделю и на ногте мизинца каждый раз пишу имя самого щедрого мужчины: Эдичка, Самсон, Лева. Их много — я одна. Я кукла, и у меня есть свой топ-лист. Самсон обижается, когда видит чужое имя на ногте. Он хватается мои запястья и начинает трясти. Тогда я вспоминаю, как в детстве отец держал меня за руки и кружил вокруг себя. Отец был добрый, но бедный. Самсон не бедный. Он сжимает мне руки, потому что знает: я не люблю, когда бьют по лицу. Правда у меня красивое лицо? Посмотрите на мои впалые щеки. Кристи, моя подруга, говорит, что я похожа на Кейт Мосс.

Еще у меня классная попа. Вам тоже кажется, что в этих облегающих штанах она смотрится лучше? Я хожу в тренажерный зал, где каждый вторник и четверг меня ждет Антон. Антон — мой тренер. Он заставляет приседать и качать грудные мышцы, чтобы «титки не висели». Антон хочет меня. Пару раз у нас что-то было, и мне даже понравилось, но когда он увидел, что за мной приехал Лева, то перестал предлагать это. Однажды у меня тянуло спину и я сама предложила по-быстрому, однако Антон сказал, что Лев Давидович нас в багажнике вывезет в лес и закопает.

Лева может все. Нет, не потому, что сидел, и не потому, что он такой страшный. Просто потому, что хочет. Лева — настоящий мужчина. Я часто пишу его имя на мизинце.

Я люблю выкладывать свои фотографии в инстаграм и прикреплять к ним музыку. Раньше думала, что у меня есть душа, но Эдичка сказал, что душа для нищих, а я, как настоящая стюардесса, должна улыбаться до конца. Я всегда улыбаюсь, что бы ни произошло. В моей жизни происходит только хорошее: фитнес, фотосессии, клубы. Мне нравится клуб, куда



из девушек пускают только меня и Кристи. Там на входе здоровенный охранник — больше, чем Самсон, и страшнее, чем Лева. Нас не пускали, а потом стали. Я спросила у Кристи почему, на что она показала мне футбол языком. Ну, помните, в детстве, у логопеда, когда языком надо давить на щеку изнутри? Я думаю, Кристи смогла бы стать логопедом. А она сказала, что мы куклы и рождены для приятной компании. Я прыснула своим дайкири от смеха, хотя мне было не смешно.

Подошел парень. Его щеки были впалыми, костюм помят, а глаза блестели. Он держал в руках виски, но не пил — тогда я подумала, что он сидит на кокаине. Он подсел к нам и познакомился. Кристи шепнула мне, что он ни о чем. Я не поняла ее и просто улыбнулась. Парень улыбнулся в ответ. Он сказал, что его зовут Оскар. Я спросила почему, а он ответил что-то вроде того, что его отец — Ди Каприо, не мог долго зачать и, когда появился первенец, актер назвал его в честь заветной награды. Что-то вроде того, не помню. Я не придаю значения таким вещам — просто вижу, что люди хотят быть веселыми, и, если они мне не противны, я смеюсь над их шутками. Я и в этот раз посмеялась, и Оскар переключился на меня.

Он говорил про какие-то планы, а я только заказывала дайкири или мятный джулеп и смеялась. Платил он. Кристи сказала, что ей пора, и, посмотрев на Оскара, состроила рожу. В детстве мама тоже строила мне рожицы, заставляя смеяться до колик в животе. И я засмеялась.

Оскар вызвал такси и отвез к себе. У него очень сухие губы. Знаете, ему бы не помешал хороший крем от одной шведской компании. Я уже хотела ему предложить, как он стал снимать бюстгальтер, и мне стало страшно, что он порвет застешку. Я легла на большую кровать и оглядела комнату: в ней, кроме дряхлого стола и компьютера, почти ничего не было. Оскар хотел ублажить меня там, внизу, но все его движения были резкими, нервными. Я испугалась, что он сделает мне больно, и решила сама сделать приятно ему. Оскару понравилось. Он бросил меня на кровать и начал яростно пронзать мое тело. Я положила голову набок и смотрела в окно. Вспомнила, что в детстве глядела в окно и представляла, какую бы жизнь я жила, окажись в другой квартире и другой семье. Когда Оскар закончил, он закурил и посмотрел на меня как отец. Мне стало неуютно, и я начала одеваться.

— Ты же спишь со всеми, — сказал Оскар. — Погляди на себя. Ты шлюха.

— Я кукла, — сказала я и засмеялась.

Он вызвал мне такси и выставил за дверь. Не успела я сесть в машину, как позвонил Лева. Я поехала к Лева и тут же забыла про Оскара. Пока он однажды не появился сам.

Он спросил, что означают имена на маникюре. Я объяснила. Тогда он спросил, что нужно сделать, чтобы попасть в топ. Я сказала, чтобы он купил сережки от Тиффани. Я это нарочно. Знала, что у него не хватит денег.

Оскар исчез, а через пару недель разыскал меня в клубе и подарил серьги. Я улыбалась и поддерживала разговор. Мне понравился подарок. Оскар это заметил и пригласил к себе. Он вновь кряхтел и потел надо мной, но на этот раз держал за подбородок, чтобы я смотрела ему в глаза.

— Ты напишешь мое имя? Напишешь?

Я сдавленно сказала: да. Наступила среда, и я написала имя Руслана. Это мой хороший знакомый, я вам о нем не говорила, потому что нельзя говорить про Руслана. Он очень сердится и кричит, что его могут повязать, а ему это не нужно. Я не знаю, чем занимается Руслан: я никогда не интересуюсь тем, чем занимаются мужчины. Мужчины должны заниматься мной. Одевать меня, раздевать, дарить подарки, водить в клубы, рестораны. Руслан сказал, что ему надо залечь на дно, поэтому он взял нам два билета на Мальдивы. Он пообещал, что мы там останемся на полгода. Конечно, полгода на Мальдивах дороже, чем сережки, поэтому на моем мизинце Руслан.

Вечером меня нашел Оскар, и мы поехали к нему. Он было запрыгнул на меня, как вдруг отшатнулся и побледнел. Он спросил, кто такой Руслан. Я ему объяснила. Оскар сказал, что убьет меня, а я сказала, что пусть убьет, только не трогает лицо. Мужчины любят мое лицо — его нельзя бить. Оскар стал еще бледнее. Он сел на край кровати, закурил и схватился за голову. Он начал спрашивать, что я за человек такой, раз мне все человеческое чуждо, а я ему ответила, что я кукла. Оскар сказал, что влез в большие долги, чтобы сделать мне приятно, а я сказала, что дела мужчин — это дела мужчин, а я — кукла.

Обстановка стала меня угнетать. Я вспомнила детство, когда папа с мамой кричали друг на друга из-за денег, которых вечно не было. Я захотела встать, однако Оскар схватил меня за запястье и повалил на кровать. Он обхватил мое лицо руками и начал растягивать его, повторяя что-то злобное, а я подумала, что если бы это фото выложить в инстаграм, то я могла бы собрать кучу лайков. Представляете? «Джолли сделала пластику». Или так: «Джолли подтянула мимические морщины».

Тут Оскар что-то поднял с полу и ударил меня в живот. Затем ударил еще и еще. Знаете, умирать, на самом деле, не больно. Оскар так же был сверху, так же пыхтел и потел, а я так же положила голову. Ничего не изменилось с первой ночи. Если бы мне раньше не сказали, что нож убивает, я бы и не подумала умирать. Я смотрела в чужие окна и думала, что могла бы прожить жизнь по-другому. Но я кукла. Кук-ла. Мое дело улыбаться. Улыбаться до конца, как настоящая стюардесса.

Спасибо, Оскар, что не по лицу. Мужчины его любят.

Елена БОГДАНОВА

## КРАСНАЯ ПОЛЫНЯ

Трагикомедия

*Автор выражает признательность за содействие  
Музею города Новосибирска  
и лично краеведу Константину Голодяеву*

### Действующие лица:

Карпов Георгий Васильевич, врач, 58 лет.

Сильва, его жена, 38 лет.

Симбирцев Степан Сергеевич, общественный деятель, 54 лет.

Анна Николаевна, жена Симбирцева, 43 лет.

Вольский Александр Дементьевич, журналист и поэт, 46 лет.

Гордеев Владимир, офицер, 39 лет.

Святогоров Антон Антонович, бывший политссыльный, 60 лет.

Тимофей, сын Карповых, 17 лет.

Поля, дочь Карповых, 16 лет.

Груня, прислуга в доме Карповых, около 40 лет.

Первый гость.

Второй гость.

### Акт первый

#### Сцена первая

Утро. Столовая в доме Карповых. Георгий Васильевич и Сильва пьют чай. Карпов держится с большим достоинством, порой высокомерно. Он читает газету, она лениво нанизывает бусы.

Карпов. Послушайте только! (*Зачитывает заметку.*) «Пьяная толпа в сто человек перекопала клумбу в усадьбе купца Жернакова, бывшего городского головы. Люди были загипнотизированы вдохновенным безумцем. Он сумел внушить солдатам, что под клумбой зарыт труп жены Николая Первого...

Сильва. О ужас!

Карпов. ...и какой-то мертвый министр, которого стоит откопать — и конец войне, и армию распустят по домам». Бог мой, последние месяцы у меня стойкое чувство, что я нахожусь в желтом доме! Августей-

шая супруга Николая Первого почил в Царском Селе в 1860-м, когда ни Ново-Николаевска, ни усадьбы Жернакова не было в помине.

Пауза.

С и л ь в а. Жорж, мне так жаль, что премьера нашего спектакля совпала с днем рождения Поленьки. Но я не могу подвести наш маленький театр, ведь у меня ключевая роль! Несомненно, дети для меня всего важней, но...

Карпов громко фыркает, закрывшись газетой.

С и л ь в а (с обидой). Интересно, чему вы смеетесь?

К а р п о в. Это голодный смех! Не понимаю, отчего до сих пор не принесли завтрак? Почему я должен двадцать минут дожидаться сосисок?

С и л ь в а (равнодушно). Да, Груня что-то запаздывает. (Отодвигает в сторону свой чай.) Я говорила, что не могу подвести... После премьеры решили выпить шампанского...

К а р п о в. Да, я знаю, Сильва, как много для вас значит ваш кружок... простите — театр... Конечно, премьера важней: Полю вы можете поздравить утром. Вообще, меня очень радует ваше увлечение театром: теперь вы чуть реже разыгрываете драмы в нашем доме. Однако почему сахарница полна лишь на треть? Вечером Симбирцев опустошит ее в две секунды!

С и л ь в а. Не забудьте, что к ужину придет и Гордеев.

К а р п о в. Ах да. Знаете, Сильва, ваши поклонники становятся довольно разорительны.

С и л ь в а (ласково). Жорж, но вы никогда не были жадным! Восемнадцать лет назад вы женились на бесприданнице.

К а р п о в. Я и теперь не жаден. Просто мне нравится полная сахарница.

С и л ь в а. Груня сказала, что не нашла на рынке сахара, даже у спекулянтов.

К а р п о в. Что за времена! Не найти муки и сахару, зато в изобилии красная икра.

В столовую врывается запыхавшийся С и м б и р ц е в.

На его фуражке ярко-красный бант.

С и м б и р ц е в (плюхнувшись на стул). Чаю! Непременно чаю! Вообразить не можете, что творится сейчас у продовольственной лавки! Толпа собралась! Кричат! При царе, говорят, хлеб в голодные годы даром выдавали, а теперь управа цены каждый день поднимает да прибыли за муку получает! (Сильве, наливающей ему чай.) Пожалуйста, сливок! Шутка ли — ржаная мука три восемьдесят стоит! К черту, кричат, все ваши комитеты... Что ж это будет, Георгий Васильевич? Ведь будет что-то?



К а р п о в (*мрачно*). Степан Сергеевич, мы ждали вас к ужину.

С и м б и р ц е в. Как же, буду непременно! Я зашел к вам сообщить последние известия. (*Поворачивается к Сильве.*) Сильва Дмитриевна, а о премьере вашей помню и жду с нетерпением!

Берет сахарницу и не останавливаясь накладывает в свою чашку сахар.

С и л ь в а (*испуганно взглянув на мужа*). Степан Сергеевич, вы не представляете — на рынке сахар исчез!

С и м б и р ц е в (*невозмутимо кладет еще два кусочка сахара*). Это мне известно! В толпе говорили, что запасы сахару нарочно прячут в амбаре на острове Медвежьем. А в соседнем амбаре — муку. Чтобы цены взвинчивать. Как же хорошо, Сильва Дмитриевна, что вы взяли для спектакля классику, Гоголя! Меня, признаться, ужасает репертуар профессиональных театров. Читал сегодня афиши: сплошные «Рабы любви» и комедии. А помните февраль?.. Какие спектакли все смотрели? (*С ностальгией.*) «Вы жертвою пали в борьбе роковой!», «Позор дома Романовых»...

К а р п о в. Выходит, что революция народ интересуется лишь два-три месяца.

С и м б и р ц е в. Ах, нет! Этот тлеющий огонь бродит в темноте народного сознания, и потом... Как много нужно обсудить нам вечером! Я приведу к вам сегодня Вольского — ведь он сейчас в думских переборах участвует.

К а р п о в. Послушайте, Симбирцев! Какого черта вы без предупреждения приглашаете в мой дом гостей? Или у вас, эсеров, так принято?

С и м б и р ц е в (*спокойно*). Я зашел к вам как раз предупредить. Вчера был занят — выборы, вы ж понимаете! Ах, Сильва Дмитриевна, до чего я люблю «Майскую ночь»! Не сомневаюсь, что вы будете на сцене самой великолепной утопленницей! Впрочем, мне пора бежать... В редакции «Голоса Сибири» узнал, что сегодня митинг железнодорожных рабочих. (*Схватив со стола баранку, вскакивает и бежит к двери.*) Эх, что-то будет!.. Уж вы мне поверьте!

К а р п о в (*проводив его тяжелым взглядом*). Надеюсь, что у Вольского аппетит умеренный. Он все-таки поэт.

С и л ь в а. О, какую он прелестную ариетту сочинил для моей утопленницы! Очень современную.

К а р п о в. Даже представить боюсь. (*Смотрит на часы.*) Мне пора. Сосисок я не дождался.

В столовую входит Г р у н я.

Г р у н я (*хмуро*). Завтрак-то подавать?

К а р п о в. Аграфена, только не говорите мне, что вы участвовали в бунте у продовольственной лавки и кричали: «К черту комитеты!»

Г р у н я (*степенно*). Комитетчиков надо гнать. Солдаты шеи себе наели по комитетам, а толку от них? На фронт бы их, в окопы!

Ка р п о в. Да, иногда вы говорите разумные вещи, Аграфена. Ну ладно. *(Встает и идет к двери.)* Завтрак не нужен, меня ждут в госпитале.

## Сцена вторая

П о л я перед зеркалом прикрепляет к волосам красный бантик.

Т и м о ф е й неслышно входит в комнату.

Т и м о ф е й *(стараясь говорить патетическим басом)*. «Но больше других цветов Сатана любит цвет огня и крови и краденых царских рубинов...»

П о л я *(не отрываясь от зеркала)*. Что тебе?

Т и м о ф е й *(обычным голосом)*. Ты чего пунцовый бант нацепила? Эсеркой заделалась?

П о л я. Вот еще! И в прошлом году носила красный, и в этом буду. Скажешь, мне не идет?

Т и м о ф е й. В прошлом году — пускай, а в нынешнемними! Иначе, сестренка, будешь как все.

П о л я. Тоже мне, философия — любой ценой не быть как все! Это ты чтобы выделиться — геометрию завалил?

Т и м о ф е й. Тише ты! *(Оглядывается по сторонам.)* Смотри отцу не проговорись.

П о л я. Он сам узнает, когда инспектор из гимназии придет. И о чем ты только думаешь, тебе выпускаться!

Т и м о ф е й. Я бы все-таки снял на твоём месте. У тебя же этот — белый в горошек, очень эффектный!

П о л я. Да ну тебя!

Т и м о ф е й. Серьезно! Думаю, именно бантом в горох впечатлился тот долговязый почтмейстер. Больше нечем.

П о л я. Ты про Сидоркина? Что же, выслеживал?

Т и м о ф е й. Делать мне больше нечего. Просто Окунев видел, как вы с ним из кондитерской выходили. Кажется, видный молодец. Что, симпатия?

П о л я. Ха! Поглядишь сзади — нет лучше дяди, а в лицо глянешь — с тоски увянешь! Нет никакой симпатии. Просто в кондитерской пре-вкусные шоколадные эклеры.

Т и м о ф е й *(мелодраматически)*. О женщины, имя вам — корысть!

П о л я. Актер из тебя пока не очень. Возможно, и в любительский театр не возьмут. Порепетируй перед зеркалом.

Т и м о ф е й. А я не хочу в театр, я в кино буду сниматься. «Тринадцатая полночь каннибала!» «Логово оборотня!» Кстати, я слышал, что киноартисты в табакерках носят кокаин. Поля, ты не знаешь, в аптеке продают кокаин?



П о л я. Боюсь, для тебя там только касторка... Впрочем, скажу, Тимоша, по секрету, что сильный галлюциноген растет в любом огороде! Называется петрушка.

Т и м о ф е й. Врешь!

П о л я. Да чтоб мне провалиться! Это я в книжке о растительных веществах вычитала. Петрушку ведь все едят как приправу, по веточке, не больше. А вот если с утра как следует ее пожевать!

Т и м о ф е й. И у соседей она растет?

П о л я. Ну какой ты глупый: октябрь уж наступил, огороды голые! Придется тебе, братец, дожидаться следующего лета.

Т и м о ф е й (*скрестив на груди руки*). «Не призывай своего демона дурманящими травами!»

П о л я. Если и дальше по ночам будешь читать готические романы, то окончательно свихнешься. Это я тебе как будущий врач говорю!

Т и м о ф е й. Надеюсь, не в психиатрию ты собралась?

П о л я. Нет, я буду кровь изучать, как и папа. Знаешь, я вчера подслушала кое-что под дверью кабинета... Случайно.

Т и м о ф е й. Ну!

П о л я. Отец рассказывал доктору Самсонову, что к нему приезжали англичане. Из Оксфорда. Очень интересовались его разработками по консервации крови. Война идет, сам понимаешь.

Т и м о ф е й. Дальше!

П о л я. Ну, дальше я не все поняла, но, кажется, папу пригласили работать.

Т и м о ф е й. В Англию? Вот это фокус! А он что?

П о л я. Советовался с Самсоновым. Тот и говорит: интересно, подумайте. Языки, мол, знаете.

Т и м о ф е й. А как же мы?

П о л я. Разумеется, папа без нас не поедет.

Т и м о ф е й. Но что ты об этом думаешь?

П о л я. Не знаю... Европа все же... Возможности. Кстати, по английскому у меня двенадцать баллов. А ты что скажешь? Ты же хотел путешествовать?

Т и м о ф е й. Это путешествие в один конец, ты ж понимаешь.

П о л я. Для папы — да. Но не для нас. Мы вырастем, будем чего-то стоить и сможем вернуться, когда захотим.

Т и м о ф е й. А мама как же?

П о л я. Что — мама?

Т и м о ф е й. Она не сможет в чужой стране, без общества, без театра своего... И знает она только французский.

П о л я. Да, маменьке трудно будет. Да и тебе. Вообще говоря, ты единственный беспомощный человек в семье Карповых. В маман, хоть и играет она в томную салонную даму, бьются тайные силы. О нас с отцом и говорить нечего.

Т и м о ф е й. Да уж...

П о л я. Ну ладно, я к портнихе на последнюю примерку. Маменька на мое шестнадцатилетие, похоже, решила нарядить меня в платье снежной принцессы. Терпеть не могу бледно-голубой!

П о л я убегает, Т и м о ф е й выходит из комнаты и видит С и л ь в у.  
 Она в задумчивости берет из вазы яблоко и держит его, глядя в окно.

Т и м о ф е й. Мама, если б я умел рисовать, то написал бы вас! Только, мама, вам не идет красное яблоко, это слишком грубо, вам пошло бы зеленое!

С и л ь в а (*гладит сына по голове*). Какой ты глупенький, Тимоша...

Т и м о ф е й. Не новость. Только что слышал об этом. Мама! Папа говорил с вами об эмиграции?

С и л ь в а. Говорил, но неопределенно.

Т и м о ф е й. Что вы думаете, мамочка? Что вы сказали ему?

С и л ь в а (*рассеянно*). Ах, я ничего не знаю... Мне совершенно все равно.

Т и м о ф е й. Мама, вам не может быть все равно! Это ведь так далеко!

С и л ь в а. Быть может, будет лучше уехать подальше.

Т и м о ф е й. Что вы! Разве вы здесь несчастны?

С и л ь в а. Мальчик мой, я счастлива. Только ведь это провинция... Впрочем, все не важно...

Выходит.

### Сцена третья

С и л ь в а (*закалывая волосы, поет*).

Я от судьбы получала дары  
 Тихого счастья (да, впрочем, и громкого!),  
 Но до последней не знала поры  
 Зова в ночи, нестерпимого, тонкого...

Что же теперь? Я покорна ему,  
 Зову в ночи, оглушающе-нежному.  
 Только, увы, до сих пор не пойму —  
 Мороку? Чуду ль любви неизбежному?

Каждый из нас к чуду втайне готов.  
 Не все равно ли: прозреешь? Обманешься?  
 Впрочем, до самых красивых цветов  
 Чаще всего ни за что не дотянешься...

В комнату входит Г о р д е в. Он в офицерской форме и слегка прихрамывает.  
 Очень красив, но на лице его шрам от удара шашкой.

Гордеев. Добрый вечер, Сильва Дмитриевна! Я, наверное, слишком рано?

Сильва. Нет, что вы! Дождь еще идет?

Гордеев. Уж час как закончился.

Неловкая пауза. Чувствуется, что им сложно вести беседу.

Сильва (*прислушиваясь к шуму за окном*). Соседский пес третий день бесконечно лает, даже когда улица пуста...

Гордеев (*выпаливает*). А я однажды пса проиграл в преферанс! Испанскую гончую — редчайшая порода...

Сильва (*изумленно*). В преферанс? Это была ваша собака?

Гордеев. Что вы, Сильва Дмитриевна! Разве можно ставить на кон собственную собаку, друга?! Нет, я у дядюшки украл. Он дорогих охотничьих псов в своей усадьбе коллекционировал.

Сильва (*растерянно*). Ах, вот как...

Гордеев (*опомнившись*). Сильва Дмитриевна, вы простите меня... Я, когда рядом с вами, каким-то болваном делаюсь, такую чушь несу... Вы не думайте — я в руки карт не беру с тех пор, как с фронта... В молодости — да, было. Голову терял за ломберным столом. Бог милостив — честь офицерскую не потерял. (*Пауза.*) Я в ваших глазах теперь — того?

Сильва. Нет. Кто я такая, чтобы вас судить? И потом, чтобы вы знали... мой отец застрелился когда-то после партии в преферанс, проиграв две трети состояния. Вышел на рассвете на улицу и застрелился.

Сильва отворачивается. Гордеев безотчетно берет ее ладонь, потом отдергивает руку.

Гордеев. Сильва Дмитриевна, меньше всего я хотел огорчить... Господи... Хотите, я еще какую-нибудь историю расскажу? В смысле — веселую... (*Беспомощно.*) Ах, ну что ж это...

Сильва, овладев собой, поворачивается к Гордееву.

Сильва. Владимир Никитич, я не плачу. Все же прошло 23 года. Знаете, подростком я любила его больше всех на свете! Он был так красив... Блестящий киевский адвокат... И очень честолюбив. Только о причинах его самоубийства никто до сих пор не знает: мама все сделала, чтобы скрыть. Ведь иначе коллегия адвокатов после его смерти отвернулась бы от нас. Понимаете, он играл в ту ночь в какой-то очень дурной компании. Владимир Никитич, об этом даже мой муж не знает, поэтому...

Гордеев. Будьте покойны. Пусть я болван, но не болтун.

Сильва (*улыбаясь*). Ну вот, теперь вы — хранитель моей тайны!..

Гордеев. Эта тайна — все равно что моя. Точно знаю: если я когда-то сяду за карточный стол, то обязательно проиграюсь в пух и прах, а наутро непременно застрелюсь.

Сильва. Не говорите так!

Гордеев. Но это правда. Для всякого порядочного человека это единственный исход.

Сильва (*твердо*). Никогда не говорите так!

Гордеев решительно берет ее руку.

Гордеев. Сильва Дмитриевна, вы меня не слушайте! Можете меня вовсе никогда не слушать! Но только если вам когда-нибудь понадобится помощь — знайте, что я не пожалею для вас ни головы, ни бессмертной души!

Сильва (*мягко высвобождая руку*). Ах, что вы такое сказали...

Гордеев. Не волнуйтесь, за зеленый стол я больше не сяду. Мои демоны во мне обжились, поуспокоились, и тревожить их лишний раз...

В комнату вбегает переодевшаяся к ужину Поля.

Поля. Здравствуйте, Владимир Никитич!

Гордеев. Здравствуйте, милая Полина! Вы взрослеете и хорошеете с каждым днем. И очень похожи на мать.

Поля. Ну да. Мамино сходство со мной — это сходство куклы немецких мастеров со своей кустарной подделкой. Как ваша нога, Владимир Никитич?

Гордеев. Благодаря вашему батюшке — много лучше.

Поля. Рада! Значит, как говорил папа, если не галоп, то полонез вы станцуете?

Гордеев. Полина, с вами и галоп спляшу, если подождете пару месяцев!

В комнату входят Симбирцев и Вольский. Симбирцев в высоких сапогах, начищенных до блеска. Кумачовый бант теперь выполняет роль бабочки. Вольский обычно движется словно на шарнирах. В его речи патетика заправского поэта быстро переходит в деловой тон и обратно.

Симбирцев. Приветствую! Восхитительное платье, Сильва Дмитриевна! Гордеев, как хорошо, что вы здесь! Вы знакомы с Вольским?

Вольский. Конечно же! В Ново-Николаевске все друг с другом знакомы. Здравствуйте, подпоручик! (*С поклоном поворачиваясь к Сильве и Поле.*) Даже эта просторная гостиная не вмещает вашего двойного очарования, которое способно затмить...

Входит Тимофей. Он останавливается перед зеркалом и что-то изображает, откинув голову назад.

Тимофей.

И ты вступила в крепость Агры,  
 Светла, как древняя Лилит,  
 Твой веселье онагры  
 Звенели золотом копыт.



К зеркалу с гребешком в руках подходит Симбирцев с намерением привести в порядок шевелюру.

Тимофей. Степан Сергеевич, а кто такие онагры?

Симбирцев (*причесываясь*). Онагры, Тимоша, это из античной истории. Как я в твоём возрасте увлекался античностью! Перечитал все, что было в библиотеке о греках... Онагры — это греческие воины, которые всегда были в авангарде!

Тимофей (*удивленно*). Воины? Но как же...

Входит Карпов.

Карпов. Господа, я вижу, все в сборе! Степан Сергеевич, какие превосходные сапоги на вас! Не иначе вы собрались на остров Медвежий в экспедицию за спрятанным сахаром?

Поля. Какой жесткий сарказм, папа!

Карпов. Это голодный сарказм. Я не успел пообедать.

Симбирцев (*не без самодовольства оглядывая свои сапоги*). А ведь хорошие сапоги, крепкие! Это я у пленного мадьяра на керосин выменял!

Вольский. Хорошая сделка, Симбирцев. Учитывая, какие огромные очереди у нашей обувной выстраиваются...

Карпов. Не хотите ли аперитива?

### Сцена четвертая

Ужин. Карпов, Сильва, Симбирцев, Вольский, Гордеев, Тимофей и Поля сидят за столом. С одного края стола — супруги Карповы, с другого края — Вольский и Гордеев.

Сильва. Степан Сергеевич, а почему вы сегодня один?

Симбирцев. Супруга в Красном Кресте, занята беженцами.

Карпов. Я всегда восхищался Анной Николаевной.

Симбирцев. Георгий Васильевич, вот вы говорили давеча, что революция интересует народ лишь пару месяцев. А я, побывав на митинге железнодорожников, уверяю, что вы ошибаетесь!

Карпов. Что же там было?

Симбирцев. На митинге заявили, что причина всех наших неурядиц — то, что во Временном правительстве сидят буржуи...

Вольский. Дальше!

Симбирцев. Что надо арестовать реакционеров из Союза домовладельцев и торгово-промышленников. Агитируют, мол, среди бедноты за погромы и против демократических учреждений.

Вольский. Арестовать, вот как? Опасные настроения.

Карпов. Это очевидно. Вам ведь известно, сколько земель самовольно захвачено на окраинах города?

Вольский. О, население наше проявляет большую самостоятельность! Пойму Каменки всю застраивают лачугами-мазанками, об этом наша газета на прошлой неделе писала.

К а р п о в. А через месяц при попустительстве власти они захватят и наши дома. Вышвырнув нас на улицу.

В о л ь с к и й. Власть не справляется — вы правы. И мы, представители новониколаевской элиты, должны использовать ситуацию и пере-выборы в Думу...

С и м б и р ц е в. Непременно использовать!

К а р п о в. Так у вашей эсеровской партии и без того все козыри. Кажется, в новой городской Думе у вас будет абсолютное большинство...

В о л ь с к и й. Это верно. Но я предлагаю создать противовес нынешнему партийному руководству. Получить влияние.

С и л ь в а. Заговор! Как это захватывающе!

К а р п о в. И как вы собираетесь заполучить влияние?

С и м б и р ц е в. Мы создаем коалицию! Дело успешно движется!

В о л ь с к и й. Да-с... Нам пригодились таланты вездесущего Степана Сергеевича. Он ведь вхож почти во все структуры. И у эсеров числится, и у республиканцев, и в ПУПе...

К а р п о в (*поперхнувшись*). Где, простите?!

В о л ь с к и й. ПУП. Партия умеренного прогресса.

С и м б и р ц е в. Хорошо бы и старообрядцев к нам подтянуть...

В о л ь с к и й. С ними, прошу, поосторожней. Очень уж они себе на уме.

П о л я. А что вы будете делать с этим самым... с влиянием?

С и м б и р ц е в (*многозначительно*). Из ссылки едет Святогоров. Проездом будет в Ново-Николаевске.

Г о р д е е в. Кто это — Святогоров?

С и м б и р ц е в (*возмущенно*). Как?! Вы не слышали о Святогорове?!

В о л ь с к и й. Антон Антонович — крупная фигура. С ним не могут не считаться. Главное сейчас — сформировать элитарную коалицию. А уж цели обозначим по прибытии Святогорова. Кстати, Владимир Никитич, почему бы вам не примкнуть к нашему кругу?

Т и м о ф е й (*басом*). «...Circulus, cujus centrum diabolus. Круг, посреди коего дьявол».

К а р п о в. Не обращайтесь внимания. Недоросль упражняется в латыни.

Г о р д е е в. Александр Дементьевич, я мало смыслю в политике.

Т и м о ф е й. Владимир Никитич, сегодня стыдно не интересоваться политикой! Меня вот в гимназии презирают за отсутствие политических убеждений. Но я-то несовершеннолетний, а вы — боевой офицер.

Г о р д е е в (*с сомнением*). Зачем я вашей коалиции? Всего лишь подпоручик — ни богу свечка ни черту кочерга. Да и в городе я не так давно.

В о л ь с к и й. Не скромничайте! У вас Георгиевский крест третьей степени! Вы украсите наше тайное общество.

С и м б и р ц е в. Предлагаю собирать заседания общества каждый четверг. Лично я ценю организованность.



С и л ь в а. А что, если тайному обществу собираться в нашем подвале? Это будет очень романтично: полумрак, свечи...

С и м б и р ц е в. Замечательная мысль!

К а р п о в. Не советую: в подвале сыро. Бронхит и туберкулез, боюсь, придутся не на пользу коалиции...

С и м б и р ц е в. Ну, а вы сами, Георгий Васильевич? Вы не останетесь в стороне?

К а р п о в. Видимо, я все же дождусь приезда Святогорова, а уж потом приму решение.

В о л ь с к и й. О, выпьем же за ваше взвешенное и верное решение! Плесните в бокалы искрящегося вина, в котором биенье жизни и отсветы осеннего заката!

К а р п о в. Боюсь, что у нас есть только искрящийся спирт. Да, и еще рябиновая настойка — шедевр Аграфены.

Выпивают.

Г о р д е е в (*Вольскому, стараясь, чтобы никто не слышал*). Александр Дементьевич, я слышал, вы и на заказ пишете стихи.

В о л ь с к и й. Случается.

Г о р д е е в. Мне до чертиков нужен мадригал для дамы к четвергу. Такое... м-м-м... поздравление с успехом...

В о л ь с к и й. Дама брюнетка или блондинка?

Г о р д е е в. Брюнетка. А это разве важно?

В о л ь с к и й. Бесспорно. Гордеев, да вы, оказывается, умеете краснеть... в ваши-то без малого сорок! Эх, будь я красавцем офицером, уж я бы не терялся. Неужто вы и вправду робки с женщинами?

Г о р д е е в. Увы! У меня несчастная наружность — дамы всегда видели во мне романтического героя, а я не слишком влюбчив, не переносу игры в поддавки и притворства... Мне больше по душе карты, револьверы и вольтижировка... И еще у меня несносная особенность: когда волнуясь, начинаю заикаться, а дамы принимают это за признак необыкновенной страсти... Это хорошо, что у меня теперь шрам на лице!

В о л ь с к и й. Господь с вами, Гордеев! А знаете... Когда восемнадцать лет назад Карпов привез в Ново-Николаевск эту киевскую ведьму, в нее чуть не каждый был влюблен. Кажется, даже я.

Г о р д е е в. Раз уж вы догадались, Александр Дементьевич... расскажите мне о ней. Я лечусь у Карпова уже пять месяцев, но мне кажется, что я ее знаю не дольше двух часов.

В о л ь с к и й. Что вам сказать, подпоручик... Мне кажется, она не способна ни о чем долго думать, ничего долго желать. Предполагаю, что страсти ей неведомы, одни только прихоти. Сегодня она берет уроки вокала, завтра ей понадобится учитель итальянского, послезавтра начнет выращивать тюльпаны... Если вы понаблюдаете за ней, то увидите, что выражение ее лица неуловимо, а взор блуждает с предмета на предмет и

ни на чем не задерживается... Это довольно странно. У моей жены есть хотя бы постоянное и пылкое пристрастие к нарядам, а Сильву и модные туалеты радуют не больше недели. Словом, не теряйте головы, топ апі. А мадригал за мной.

Входит Г р у н я, ставит в центр стола блюдо с рыбой и выходит.

С и м б и р ц е в (*восторженно*). Неужели в Оби водятся такие крупные леици? (*Приподнимаясь, тянется к блюду.*)

П о л я. Степан Сергеич, у вас шов на рукаве разошелся!

С и м б и р ц е в. Неужели? Вот незадача. Нельзя ли Груню попросить, чтобы починила?

С и л ь в а (*беспечно*). В нашем доме не осталось ни одной иголки! Я растеряла последние летом, когда перешивала сценические костюмы.

В о л ь с к и й. И верно. Иголок сейчас и у мешочников не найдешь.

Гордеев не отрываясь смотрит на Сильву, и Карпов замечает его взгляд.

К а р п о в (*негромко, Сильве*). Я всегда сквозь пальцы смотрел и смотрю на ваши увлеченности. Но предупреждаю, что не потерплю скандальных эскапад. И сплетен за своей спиной. Слышите? Я доктор Карпов, а не доктор Дымов.

С и л ь в а (*опустив глаза*). Я слышу.

С и м б и р ц е в. И, уверяю вас, революционные настроения живы и в тех, кого мы зовем обывателями!

В о л ь с к и й. В тех, кто все утро бегаёт в поисках белой булки и папирос, а по вечерам толпится у электротeatра Махотина? Любопытно.

С и м б и р ц е в. Я слышал, что вчера на спиритическом сеансе у мадам Малиновской вызывали дух Жан-Поля Марата и общались с ним целый час.

Г о р д е е в (*с искренним недоумением*). Неужели Марату было интересно беседовать с мадам Малиновской?

С и м б и р ц е в. Вы не понимаете! Не о доморощенных спиритах речь! Тлеющий огонь бродит...

Т и м о ф е й. «...Но огонь не очищает. Он коптит дочерна».

К а р п о в. Мне думается, что начинающему актеру пора спать. Полина, тебя это тоже касается.

Т и м о ф е й и П о л я, поклонившись, уходят.

С и м б и р ц е в (*им вслед*). И помните — все, что вы слышали за этим столом, должно остаться в тайне!

В о л ь с к и й (*откидываясь на спинку стула*). Ах как хорошо у вас, Сильва Дмитриевна! Как уютно! И настойка ваша сказочна.

С и м б и р ц е в (*жуя*). Не расслабляться, Александр! Наши недруги не дремлют!

К а р п о в. А кто ваши главные соперники, интересно узнать? Меньшевики?

С и м б и р ц е в. Большевики и, пожалуй, Партия народной свободы. У Союза домовладельцев шансы призрачные.

К а р п о в. А что же большевики? Они ведь, кажется, порвали с меньшевиками?

Входит Г р у н я с пирожками.

С и м б и р ц е в. Порвали, и очень напрасно! Я не стал бы принимать большевиков всерьез.

Г р у н я (*выкладывая пирожки на стол*). Большевики хотят скипулянтов запретить.

С и м б и р ц е в. И несмотря ни на что, разве не отраднo видеть, как пробуждается в русском народе воля, как сбрасывают люди вериги рабства?

К а р п о в. Отраднo? Я смотрю на происходящее с тоской и затаенным ужасом. Старая власть низвержена — и, возможно, справедливо! — но, позвольте, где же новая? Полицию разогнали. А новоявленная тщедушная милиция? Разве может она кого-то защитить от амнистированных Керенским уголовников и солдатни? Мне просто жутко отпускать вечером из дому жену или дочь...

В о л ь с к и й. Ваша правда... На днях на углу Николаевского и Семипалатинской солдаты напали на офицера и его спутницу, раздели до нижнего белья и публично глумились! И это в центре города, а что творится на окраинах?

С и м б и р ц е в. Как вы не понимаете! Ах, что за чудо эти пирожки с грибами! Это все временные трудности, детская болезнь, вроде кори. Вот милиция окрепнет...

К а р п о в. Степан Сергеевич, дорогой, это не корь, это тяжелый недуг! Черная лихорадка, если хотите. Бесконечные слухи о пожарах, о голоде, о втором пришествии... Эти спириты, гипнотизеры, лжепророки с ручными мышами на Базарной площади. Кстати, вы знаете, как нынче в Ново-Николаевске модно лечить зубы? Китайцы «выстукивают» больной зуб специальными молоточками. Очереди выстраиваются!

С и м б и р ц е в. Неужели помогает?

В о л ь с к и й (*укоризненно*). Симбирцев!

С и м б и р ц е в. Да, да, я понимаю! Мракобесие, дикие суеверия... Но ведь это преодолимо! Эсеры очень остро ставят вопрос народного просвещения! Вы же знаете, я по земской части занимался образовательными проектами, опыт имеется...

К а р п о в. Вы полагаете, что народу нужно просвещение?

С и м б и р ц е в. Народ потянется к знаниям, как зеленые побеги к солнцу! Помните: «И последние будут первыми...»

Г о р д е в (*с грустью*). Последние будут первыми? А где будут подпоручики?

К а р п о в. Боюсь, Степан Сергеевич, вы путаете побеги с засохшим деревом.

С и м б и р ц е в (*едва не задохнувшись от возмущения*). Объяснитесь, Георгий Васильевич!

К а р п о в. Пару лет назад я предложил нашей Груне устроить в гимназию ее единственную дочь — была возможность, бесплатное место. Аграфена ответила, что «девке учиться наукам ни к чему, и в гимназии дочка будет не на своем месте»! Так вот, не переоцениваете ли вы народ?

С и м б и р ц е в (*указывая на Груню, которая молча и невозмутимо убирает со стола пустую посуду*). Вы говорите об этом в присутствии Аграфены? Где ваша вежливость потомственного интеллигента?

К а р п о в (*пожимая плечами*). Не возбраняется ведь говорить о дереве в присутствии дерева?

С и м б и р ц е в. Так вот какого мнения вы о русском народе... Что же вы скажете о России? Об опасно больной, по вашим словам, но все же великой... все же дивной...

К а р п о в. Я не пророк, и ручной мыши у меня нет. Опыты свои я, к слову, предпочитаю проводить на крысах.

С и м б и р ц е в. О, оставьте ваши шутки! В эту минуту беседа наша коснулась сакрального — Отечества.

К а р п о в. Хотите без шуток? Извольте. Мне думается, что Россия стоит на краю пропасти, и самым разумным было бы вовремя покинуть ее... А впервые я ощутил этот тоскливый страх, когда пришел в храм после Февральской революции. Священник начал со слов «о необычайной радости избавления народа и церкви от полицейско-деспотической тирании». Хор в этот день пел необыкновенно звонко, только теперь «многая лета» звучало не для царского дома, а для «поборников свободы». Даже я, не питавший особенных симпатий к Романовым... был обескуражен. Церковь, которая с детства учила нас молиться за благочестивейшего! В один день мир перевернулся с ног на голову. А как можно обрести равновесие за один день?

Пауза.

С и м б и р ц е в. Кстати, о религии. Ведь вы блестяще образованный человек, прогрессивный врач... Что вы ищете в церкви?

В о л ь с к и й (*примиряюще*). Степан, ведь это очевидно. Для каждого русского православие всегда будет связано и с родительским домом, и с детским изумлением перед благодатным огнем, и с...

К а р п о в. Александр Дементьевич, не нужно отвечать за меня! Все проще. Я хожу в церковь, потому что Господь, скажем так, два раза засвидетельствовал мне свое присутствие в мире. Удовлетворены?

С и м б и р ц е в (*смуценно*). Давайте же выпьем, друзья! Этот тост мой! Ведь, несмотря ни на что, никто из нас не откажется выпить за Россию? За то, чтобы свет, который она являет миру, оставался неугасим, словно греческий огонь, загадка которого давно утрачена! За то, чтобы русские богатыри, точно доблестные онагры, вошли...



Карпов. Похоже, из вас не выйдет Демосфена. Да будет вам известно, Степан Сергеевич, что онагры — это ослы. И если вы желаете России ослиной дороги...

Сильва (*перебивая*). Жорж, Степан Сергеевич просто оговорился! Мы все немного устали...

Вольский (*вставая*). Это правда. Мы, кажется, уже злоупотребляем гостеприимством!

Симбирцев. Не в моих принципах уходить без чаю!

Вольский тянет его за рукав. Гордеев встает и, прощаясь, целует руку Сильве.

Симбирцев (*Карпову*). Все это нужно обсуждать!

Карпов. Извольте. Мы можем продолжить в четверг после спектакля.

Сильва. Только непременно приходите!

Симбирцев, Вольский и Гордеев выходят.

### Сцена пятая

Симбирцев, Вольский и Гордеев на крыльце.  
Вольский закуривает.

Симбирцев. Как вам это нравится? Конечно же, я и раньше не видел в Карпове горячего патриота, такого как мы с вами... Но этот мрачный пессимизм и неверие...

Гордеев. В конце концов, доктор заслужил право так говорить, спасая каждый день русские жизни.

Симбирцев. Право? Вы не забыли: «В борьбе обрешь ты право свое!» В борьбе! А ученые всегда предпочитают оставаться в стороне от жарких баталий, равнодушно отпуская критические реплики. А впрочем, я слышал, что его научный авторитет — величина небесспорная.

Вольский. Заблуждаешься.

Симбирцев. Прости?

Вольский (*понижая голос*). Разумеется, между нами.

Гордеев. Слово офицера!

Симбирцев. Слово... русского патриота!

Вольский. Из достоверного источника известно, что на днях Карпова с семейством пригласили в Англию. Работать по научной линии.

Симбирцев. Теперь мне понятны его слова: «Самым разумным было бы вовремя покинуть...» Как жаль Сильву Дмитриевну...

Вольский. Как знать... Во всяком случае, в Британии она будет в безопасности. (*Гордееву*.) Не грустите, подпоручик! В саду «Швейцария» все еще торгуют маньчжурским спиртом.

## Сцена шестая

С и л ь в а в гриме утопленницы, с венком на голове, репетирует.

С и л ь в а (*поет*).

Я с самого рожденья, с безоблачного детства  
Панически и жутко боялась темноты!  
Лишь только вечерело — я обращалась в бегство,  
И ветки ив от ветра свистели, как хлысты.

Но время наступило: погибнуть я решилась  
И, злой покорна воле, я к омуту пришла...  
Воды я не страшилась, ни капли не страшилась,  
Река меня навеки в русалки приняла.

И сколько б ни сгущалась, и сколько б ни сгущалась  
Зловещею вуалью над водным сводом мгла —  
Я больше не боялась, да — вовсе не боялась!  
Я с той призывной ночи отчаянно-смела.

В комнату вбегает П о л я, держа в руках конверт.

П о л я. Маман, вы с утра репетируете? Какой у вас веночек красивый! Лилии из магазина ритуальных принадлежностей?

С и л ь в а. Милая именинница, сегодня я не буду на тебя сердиться.

П о л я. Договорились! Вы не сердитесь на меня, а я — на вас, за то что вы мне куклу подарили на шестнадцатилетие.

С и л ь в а. Полиночка, но это же кукла из Парижа, настоящий Жюмо!

П о л я. Вот и играйте с ней сами! А я давно не ребенок. Мне, между прочим, воздыхатели в день рожденья стихи посвящают. Вот послушайте! Я хохотала десять минут. (*Разворачивает письмо, читает вслух.*)

Ваш черный локон оплетает сердце,  
Для вас осенний дождь играет скерцо.  
Да, осень холодна и беспроглядна,  
Но пламя ваших взоров беспощадно.

В вас столько красоты, игры спонтанной,  
Что вы смирить способны ураганы.  
И покорить (вернее, взять измором)  
Париж, Афины, Мальту и Гоморру...

(*Заливается смехом.*) Маман, не правда ли, с чувством? Не предполагала у этой личности поэтического темперамента. Читать дальше?

С и л ь в а. Что за поклонник, девочка? Я его знаю? Он старше?





П о л я. Да, старше, но это все чепуха! На свете есть дела поважней. Мама, только вы не думайте, я не дуюсь, что придется сидеть с гостями без вас. И без папы: он тоже на спектакль идет.

С и л ь в а. Да, но он успеет после работы тебя поздравить и выпить с вами яблочной шипучки. Переоденься же поскорей, мне не терпится тебя увидеть в новом платье!

П о л я (*угрюмо*). Может быть, все же блески можно отпороть?

С и л ь в а. Нет! Какие глупости! Кстати, сегодня можешь взять мои шипцы для завивки. Ну, иди же скорей!

### Сцена седьмая

Квартира Симбирцевых. С и м б и р ц е в сидит за столом с учебником английского языка.

С и м б и р ц е в. Вуд ю лайк... вуд ю лайк э кап оф кофи?

Входит А н н а Н и к о л а е в н а. Это высокая дама, до сих пор недурна, носит очки.

А н н а Н и к о л а е в н а. Чем это ты занят?

С и м б и р ц е в. Английским! Ты же знаешь, я всегда увлекался языками.

А н н а Н и к о л а е в н а. Ты всегда увлекаешься тем, к чему у тебя нет ни малейшего дарования. Особенно ужасны твои вокальные экзерсисы. Хорошо еще, что за рояль не садишься.

С и м б и р ц е в. Пытаться играть рядом с такой блистательной музыкантшей, как ты? Ну нет!

А н н а Н и к о л а е в н а. Твоя лесь всегда удивительно груба. И бесполезна: ты знаешь, что я к ней нечувствительна. Да, ты обещал сегодня разобраться с дымоходом.

С и м б и р ц е в. Ах, Ньюта, боюсь, что опять не получится. Сегодня собрание мелких торговцев и предпринимателей.

А н н а Н и к о л а е в н а. Насколько я помню, ты не имеешь отношения к торговцам и предпринимателям, ни к мелким, ни к крупным.

С и м б и р ц е в. Но я обязан участвовать в жизни города! В преддверии выборов...

А н н а Н и к о л а е в н а. Участвовать? Ты без конца участвуешь в каких-то действиях, но где твои свершения?

С и м б и р ц е в. Свершения начнутся, когда приедет Святогоров.

А н н а Н и к о л а е в н а. Мне иногда кажется, что ваш Святогоров — просто легенда и в действительности его не существует.

С и м б и р ц е в. Ну-ну, зачем ты так говоришь...

А н н а Н и к о л а е в н а. Пошутила.

С и м б и р ц е в. Ты же знаешь, что много лет назад я имел честь быть знакомым с Антоном Антоновичем. Мощный ум, несокрушимая



стойкость! Жандармы подвергали его жестоким, изощренным пыткам, но он не выдал никого из товарищей.

Анна Николаевна. Интересно будет познакомиться с ним.

Симбирцев. Обещаю тебе. Нюта, ты помнишь, что в четверг мы приглашены на спектакль?

Анна Николаевна. Спектакль? Ах да, у нашей уездной Сары Бернар премьера...

Симбирцев. Не понимаю, за что ты так не любишь Сильву Дмитриевну...

Анна Николаевна. Надеюсь, ты не подозреваешь во мне ревности?

Симбирцев. О нет, я не льщу себя такими мыслями...

Анна Николаевна. Правильно. Потому что наш брак — давно уже пустая формальность. И вообще всякий брак — предприятие сомнительное.

Симбирцев. Ах, Анна, почему тебе всегда нужно прямо назвать то... чего называть не стоит... И все же — почему ты не любишь Сильву?

Анна Николаевна. Да потому что умышленное женское кокетство всегда низко и довольно омерзительно.

Симбирцев. Нюта...

Анна Николаевна. Не называй меня так, я просила. Кстати... Я слышала, за мадам отчаянно ухаживает подпоручик Гордеев. Если это правда, то жаль: он вызывает симпатию. И сочувствие. Ведь, в сущности, после Февраля офицер перестал быть тем, чем он был раньше. И правда, Гордеев какой-то неприкаянный...

Симбирцев. Был неприкаянным. Но мы вовлекли его в политическую борьбу.

Анна Николаевна. М-да... Видимо, совсем отчаялся, бедолага...

Симбирцев. Анна! Это, в конце концов, неуважение!

Анна Николаевна. Неуважение — взваливать на меня все хозяйственные заботы! Может быть, напомнить тебе, что кормят нас сейчас преимущественно мои уроки музыки?

Симбирцев. Прости меня, ты — лучшая из хранительниц очага...

Анна Николаевна. Вздор, я не хранительница очага! Я — человек. Мыслящий и деятельный. А с весны я еще и полноправный избиратель.

Симбирцев (заискивающе). Полагаю, что твой голос на пере-выборах достанется эсерам?

Анна Николаевна. И не рассчитывай.

Уходит.



## Сцена восьмая

Дом Карповых. В центре гостиной фуршетный стол, в углу — карточный. Дверь на террасу открыта. В комнате Карпов, Сильва, Симбирцевы, Гордеев, Вольский и два гостя.

Сильва. Начало двенадцатого. Дети уже легли?

Карпов. Да. И поверьте — им было весело без нас. Тимофей привел друзей-гимназистов. По-моему, почти все заглядываются на именинницу.

Сильва. Она совсем девушка... Мне становится немного страшно.

Карпов. А вот я спокоен за Полю. Моя замечательная дочь... Даже вы не смогли ее испортить!

Сильва. Не буду спорить. Но выпитое за кулисами шампанское, кажется, ударило мне в голову...

Отходит к приоткрытому окну. К Карпову подходит Анна Николаевна.

Карпов. Наверное, только вам я искренне могу сказать: «Очень рад визиту». Это мизантропия, как вы считаете?

Анна Николаевна. После сорока каждый умный человек утрачивает иллюзии в отношении окружающих. Кстати, вы читали свежий номер «Нового Сатирикона»?

Гордеев подходит к Сильве с букетом.

Сильва. Владимир Никитич! Я не говорила с вами нынче. Как вам понравился спектакль? Не правда ли, в первом акте не хватило темпа?

Гордеев. Я не люблю и не понимаю театр. Я не слышал ни единого слова. Я видел только вас, Сильва Дмитриевна. Вы были... В общем, вот. *(Вручает букет.)* Там записка.

Сильва. Прелестные цветы!

Гордеев, поклонившись, хочет уйти, но резко разворачивается.

Гордеев. И еще я хочу сказать. Любовь — это всегда как шашкой наотмашь! А вы... вы как русский штык.

Сильва *(удивленно)*. О...

Гордеев. Вы понимаете... штык — он ведь как шило, проходит сквозь любое обмундирование и сквозь панцирь пройдет, если надо... Вы, Сильва, — сквозь мою кольчугу. Вот.

Гордеев уходит. Сильва прижимает к губам цветы, потом украдкой вынимает записку.

Сильва *(читает)*.

Ваш черный локон оплетает сердце,  
Для вас осенний дождь играет скерцо...

О! (*Комкает в руке записку.*) Каков негодяй!

Бросив на подоконник цветы, Сильва быстрым шагом выходит на террасу.

С и м б и р ц е в (*Вольскому*). Сегодня мне всю ночь снились кошмары. Хотя обычно я прекрасно сплю без всяких сновидений!

В о л ь с к и й. Вкуси на ужин патиссон — получишь ты здоровый сон!

С и м б и р ц е в. Неужто вправду помогает?

В о л ь с к и й. Просто мне лавочник рекламу заказал: овощи, травы, сушеные ягоды...

С и м б и р ц е в. Нет, действительно. Кажется, мой цвет лица сегодня...

В о л ь с к и й. А ел весь вечер сельдерей — наутро выглядишь бодрей!

С и м б и р ц е в. С тобой положительно невозможно говорить! Неужели даже Гоголь не произвел на тебя впечатления?

В о л ь с к и й. Отчего же? Девочка в роли Ганны удивительно артистична, хотя и совсем некрасива... О! Момент! (*Достает из нагрудного кармана записную книжку и записывает.*) «Вкушайте черную смородину — вас перестанут звать уродиной!» Удачно, не правда ли?

Входит Г о р д е е в и идет на террасу вслед за Сильвой.

Г о р д е е в. Сильва Дмитриевна, сегодня холодный вечер. Вернемся в дом.

С и л ь в а. Я бы никогда не унизилась до объяснения с таким ничтожеством, как вы...

Г о р д е е в. Помилуйте!..

С и л ь в а. Если бы речь не шла о моей дочери. Как смеете вы морочить ей голову! Она — полуробенек! Так вот что означали ваши вечерние комплименты третьего дня...

Г о р д е е в. Сильва Дмитриевна, даже в Галицийской битве я не был так оглушен гаубицами... Клянусь вам, я не приближался к Полине Георгиевне!

С и л ь в а. Низкий лжец... Чего стоят ваши клятвы?

Г о р д е е в. Ни одной на свете женщине я не позволил бы говорить со мной так. Воля ваша, вы имеете надо мной странную власть, вы одна! С вами я как белоснежный агнец, который даже блеять не может толком. Однако скажете мне поджечь управу — пойду и подожгу! А теперь делайте с этой властью что хотите.

С и л ь в а. Вы виртуозны в лицемерии, подпоручик. Ведь я, будто провинциальная простушка, доверила вам свой секрет... Могу ли я быть спокойна за его сохранность?

Г о р д е е в (*отшатнувшись*). Сильва!

С и л ь в а стремглав убегает вверх по лестнице.



Гордеев. Черт знает что...

Гордеев выпивает рюмку водки. Подходит Вольский.

Вольский. Дружище, а Сильва, оказывается умеет играть и фурию! Правда, русалка-утопленница вышла у нее чуточку убедительнее, но все же я впечатлен. Чем вы успели вызвать такое актерское перевоплощение?

Гордеев. Поверите — сам не знаю. Вручил ей цветы и ваш мадригал — и вот... перевоплощенье.

Вольский. Разве стихи не понравились? Мадам предпочитает гекзаметры?

Гордеев. Да не в стихах дело...

Вольский. Как вы бледны, подпоручик... Выпейте еще стаканчик настойки... Вот так...

Гордеев. Дьявол разберет этих женщин... *(Выпивает.)* Но только она обвинила меня в посягательствах на Поленьку...

Вольский. Поленьку?! Так значит, Сидоркин... Послушайте, друг мой... Подождите меня пять минут, я попробую все уладить!

Вольский уходит. К Карпову, немного фальшиво распевая «Карманьолу», подходит Симбирцев, который уже слегка навеселе.

Симбирцев. Отличный вечер, Георгий Васильевич!

Карпов. А у вас отличный тембр, Степан Сергеевич!

Симбирцев. Мало кто знает, но я, видите ли, немного пою!

Карпов. Неужели?

В это время на другом конце гостиной Анна Николаевна, два гостя и Гордеев усаживаются за стол играть в карты.

Симбирцев. Да-с! Кстати, сведущие люди посоветовали мне побольше упражняться на открытом воздухе. Это очень полезно для связок. Сам не знаю, почему я в последнее время перестал петь арии на балконе.

Карпов. Видимо, соседи усердно молились... Скажите, мой друг, а где же сегодня ваш неотразимо-красный бант?

Симбирцев. В театр я привык носить черную бабочку. Приличия, знаете ли! Все же мой дед был дворянином.

Играет музыка, по лестнице спускается Сильва.

Симбирцев. Однако, Георгий Васильич, мы собирались продолжить наш политический диспут. Как думается вам, возможно ли восставление монархии?

Сильва *(Симбирцеву)*. Долой монархию! Теперь — танцы!

Симбирцев. С превеликим удовольствием! *(Карпову, со значением.)* Как говорят англичане, катящийся камень мхом не обрастает. *A rolling stone gathers no moss!*

Карпов. И при чем здесь камень?!

Сильва и Симбирцев танцуют. Симбирцев танцует  
очень старательно, словно выполняет необычайно важную миссию.

Сильва. А вы искусный танцор, Степан Сергеевич!  
Симбирцев. Я три вечера подряд разучивал движения под му-  
зыку. В конце концов Анна пригрозила выбросить граммофон в окно.

Сильва звонко смеется.

Симбирцев. Как я люблю ваш смех, Сильва Дмитриевна! Если  
бы я мог записать его и слушать потом на граммофоне!

Сильва. В отсутствие Анны Николаевны, надо полагать?

К танцующим подходит Вольский и перехватывает у Симбирцева Сильву.

Вольский. Теперь моя очередь! Ла-ла-ла, ла-ла-ла... Это ведь  
«Коппелия», не правда ли? Милая Сильва Дмитриевна, я хочу вам при-  
знаться... По моей вине произошло недоразумение!

Сильва (*весело*). О чем вы, Александр Дементьевич?

Вольский. Вы слышали, быть может, что иногда я пишу стихи на  
заказ. Журналистское жалованье, сами знаете, невелико... Так вот, тре-  
тьего дня Гордеев заказал мне мадригал, а в пятницу почтмейстер Сидор-  
кин заказал поздравление для юной барышни... У меня совсем не было  
времени — выборы, понимаете? — и я продал Гордееву и Сидоркину  
один и тот же текст.

Сильва. Так значит, поклонник Полины — молодой почтмей-  
стер...

Вольский. Да, но я никак не мог подумать, клянусь! Невообра-  
зимо глупо получилось.

Сильва. Но где же Владимир Никитич?

Вольский. Играет партию в вист.

Сильва (*останавливаясь*). Нет! Ему нельзя садиться за карты!

Вольский. Увы! Он удивительно быстро успел нарезаться!

Сильва подходит к карточному столу.

Сильва. Владимир Никитич, мне очень нужно поговорить с вами!  
Прямо сейчас!

Первый гость. Сильва Дмитриевна, дайте же ему проиграться  
по-человечески! Никогда не видел, чтоб так не везло в вист!

Гордеев (*глядя на Сильву стеклянным взглядом*). Всенепре-  
менно проиграюсь!

Сильва. Я прошу вас! Мне нужно очень важное сказать вам!

Анна Николаевна (*недовольно*). Голубушка, выходить из-за  
стола до окончания партии — против правил! Мы играем с Гордеевым в  
паре, и положение наше неблестяще...

Второй гость. Еще бы! (*Собирая со стола карты*.) Взятки  
мои!

Первый гость. Давайте считаться!





Анна Николаевна. Ах, черт! Они взяли шлем!

Гордеев (*бросая на стол банкноты*). Играем дальше!

Сильва. О, неужели вы не видите, что он нетрезв! Умоляю вас, прекратите игру!

Первый гость (*тасуя карты*). Ну нет, это только начало! Хе-хе!

Гордеев. Я зверски трезв! Вы не видели меня по-настоящему пьяным. Однажды я напился до зеленых чертей. Они и правда были зелеными, не верите?

Второй гость. Вот заливает!

Гордеев. Не вру! Один был эдакий живчик, давал гопака вокруг моей кровати. Второй черт — потолще, тот сидел на тумбочке и кивал головой как китайский болванчик. (*Берет розданные карты.*) Эх, где же мои онеры?

Анна Николаевна. Гордеев, не раскрывайте карт! Нам нужно отыгаться!

Гордеев. Третий — тот любил кататься по полу, обернувшись собственным хвостом. А четвертый... Про четвертого я, пожалуй, рассказывать не буду. Сдается мне, не в последний раз его видел...

Сильва. Владимир Никитич! Вы сказали сегодня, что я имею над вами власть... Если я сохранила хотя бы крохи ее, позвольте мне увести вас.

Музыка умолкает. Игроки с изумлением смотрят на Сильву.

Анна Николаевна. Подпоручик! Вы, взрослый человек, позвольте увести себя как теленка?

Гордеев (*глухо*). Продолжаем, господа! Намерен встать из-за стола с пустым бумажником!

Сильва (*опустившись на колени*). Владимир Никитич! Я прошу прощения вашего... и... я, кажется, сделала сейчас все, чтобы доказать вам... что вы... что ваша жизнь для меня...

Гордеев встает из-за стола и молча поднимает Сильву.

Они рука об руку идут к выходу. Груня подает Гордееву пальто.

Анна Николаевна (*протирая стекла очков*). Современные женщины теряют всякое достоинство.

Карпов стоит окаменев, со сжатыми кулаками.

Сильва возвращается и подходит к Карпову.

Сильва. Вы предупреждали меня.

Карпов. Я предупреждал вас.

Сильва. Я оказалась недостойной женой. Но я хочу, чтобы вы знали, Жорж, какое бы решение вы ни приняли, я буду безмерно уважать и ценить вас до последней своей минуты...

Карпов. Полно! Вы героиня опереточная, такой пафос вам не к лицу.

Сильва. Я приму от вас и это.

Карпов (*насмешливо поклонившись*). Какая безропотность! Репетируете новую роль? Знаете, Сильва, я никогда не ждал от вас ни горячих пирогов, ни ученых разговоров, но думал, что с вами мне всегда будет занятно... А мне больше ничуть не забавно, мне прискучили ваши проказы... Уж простите, в них нет оригинальности... Дама влюбляется в молодцеватого офицера, спасаясь от скуки уездного города — какой избитый сюжет!

Свет гаснет. Раздается голос: «Сегодня, 25 октября 1917 года,  
Временное правительство было свергнуто в результате  
вооруженного восстания».

## А к т в т о р о й

### С ц е н а п е р в а я

Квартира Симбирцевых. Карпов сидит в кресле,  
Анна Николаевна за столом проверяет нотные тетради.

Карпов. Какой неприятный сырой февраль... И это низкое серое небо... Оно будто с каждым днем все ниже... так и хочет раздавить этот беспокойно-сонный город.

Анна Николаевна (*не отрываясь от тетрадей*). Погода и вправду мерзкая. Вы видели полынью прямо у нашего дома? Кажется, разрастается и стену подтачивает. Из-за этой сырости инфлюэнца разносится как безумная. Кстати, ваша... супруга уже здорова?

Карпов. Да, поправляется. Анна Николаевна, что вы скажете обо мне как о человеке и враче, если узнаете, что за три недели болезни я ни разу не вошел к ней? Видимо, я бессердечное чудовище?

Анна Николаевна. Да что вы знаете о бессердечии, милый, славный доктор... (*Отложив тетради, поворачивается к Карпову.*) Хотите, расскажу вам историю? Когда мне было семнадцать, меня обидел один юноша. Обидел походя, даже не заметив этого и, наверное, не желая мне зла. Но в семнадцать лет такой пустяк всегда становится трагедией. Так вот, представьте. Дача, милый сентябрьский вечер, компания молодежи. У ног того юноши стоит ведро грибов, собранных им в тот день. И я прекрасно вижу, что в ведре вовсе не опята. На той самой чудесной поляне, которую с ликованием обнаружил наш приятель, в изобилии росли исключительно ядовитые грибы! Я с детства знаю о грибах все, моя тетушка была на них помешана. И, конечно, я узнала ложные опята по их чуть сероватым пластинкам. Я не отрываясь смотрю на ведро. Неудачливый грибник улыбается и что-то рассказывает. И я представляю, как через три-четыре часа эту самодовольную физиономию исказят судороги. Как его будет тошнить и корчить. В дом входит старенький садовник, который только и остался осенью на даче. Ему вручают грибы, он берет ведро и покорно плетется на кухню. Он тоже ничего не понял. Вот тогда я прощаюсь со всеми и с внутренним торжеством выхожу из дома.

Карпов. Вы? Я не верю!

Анна Николаевна. Что, вам стало страшно? Теперь вы понимаете, что такое бессердечие? То-то. Ну ладно, если быть до конца честной, через пять минут я вернулась и рассказала о грибах-обманщиках. Я ведь не желала зла остальным товарищам. Было бы несправедливо оставить их наедине со смертельной опасностью. Ну, что вы теперь думаете обо мне, Георгий Васильевич? Только честно, как между нами принято.

Карпов. Признаюсь, я удивлен. Для меня вы — воплощенное деятельное добро. Ваши неустанные заботы о беженцах, сбор средств и старой одежды... Кроме того, вы по собственному почину учили музыке приютских сирот...

Анна Николаевна. Ну да, купцы подарили приюту фортепиано, и оно шесть лет стояло в бездействии. Мне это показалось глупым, только и всего.

Карпов. Вы всегда преуменьшаете свои ежедневные маленькие подвиги, и это мне в вас всего дороже. Словом, ваша давняя история — просто порыв юношеской злости, так бывало со многими.

Анна Николаевна. Уж, конечно, вы не подумаете, что после той глупой обиды я сделалась суфражисткой? Ничуть. Я, как и многие, суфражистка с детства! Уже в девять лет я сбегала с маменькиных уроков рукоделия в конюшню. У моего отца, полковника, был любимый конь, вороной красавец. Я отвязывала его и... зная, что вечером буду наказана, уносила в поле.

Карпов. Ну тогда, полагаю, родители ничуть не удивились вашему желанию поступить в консерваторию и начать самостоятельную жизнь?

Анна Николаевна. Не удивились ни капли. Отпустили и благословили. Слава богу, с ними остались две мои сестрицы, которые умели и вязать, и готовить бефстроганов. Так-то. А что до вас и вашего «каменного» сердца... События того дня разделили вас и Сильву Дмитриевну. В эти месяцы вы закономерно стали чужими людьми. Я, к несчастью, знаю, как быстро это происходит. К тому же между вами и раньше не было большого понимания, я права?

Карпов. Пожалуй... Но она моя жена, и я перед Богом отвечаю за нее.

Анна Николаевна. Неправда. В наш век всякий взрослый человек отвечает за себя сам. Впрочем, знаю, что есть еще одна причина у вашего душевного смятения. Вы, Георгий Васильевич, порядком потерялись с приходом новой власти.

Карпов. Это правда... Октябрьский переворот, который город встретил совершенным равнодушием... Полмесяца назад — роспуск местной Думы... на который тоже почти никто не откликнулся. Анна Николаевна, я никак не могу понять: та ли это Россия, которую я знаю, или уже другая, незнакомая? А знаете, ведь я только что понял: вы единственная из нас, кто преотлично чувствует себя в новом времени.

Анна Николаевна. Зачем же теряться? По-моему, все просто: нужно продолжать работать. Наши силы и знания очень пригодятся новой республике. А для женщин сейчас открываются новые горизонты. Мне предложили официально занять пост в комитете по оказанию помощи беженцам — отвечать за организацию общественных работ. А вы, доктор? Какие у вас планы?

Карпов. Живу по инерции, подчиняюсь первому закону Ньютона.

Анна Николаевна. От мужа я слышала, что планы ваши связаны с Британией. Правда или очередная выдумка? Между нами, конечно.

Карпов. Знаю — вы никогда не говорите лишнего. Расскажу как есть. Год назад я запатентовал метод консервации крови, которую можно использовать для переливаний раненым в полевых госпиталях. Письмо с приложением моей разработки отправил военно-медицинскому управлению, предложил использовать метод на фронте. А через пять месяцев я получил письмо, подписанное Керенским. На прекрасной гербовой бумаге меня сердечно поздравили с днем рождения.

Анна Николаевна. И только?

Карпов. Нет. Еще меня благодарили за истинный государственный патриотизм, за равнодушие к судьбам русских солдат. И, конечно же, военно-медицинское управление отложило разработку на самую дальнюю полку. Да... Это стало большим разочарованием. Ведь я не просил денег... А впрочем, в действии русской бюрократической машины никогда не было логики. И я не верю, что здравый смысл неожиданно возобладает после второго, третьего или четвертого переворота... Так вот, с сентября мою разработку легально используют в Англии. И даже какие-то деньги-роялти оседают на моем счету в оксфордском банке. Вот, собственно, все, что я могу сказать. Правда ли, Анна Николаевна, что через неделю в Ново-Николаевск с миссией приезжает Святогоров?

Анна Николаевна. Степан Сергеич, конечно же, успел уведомить всех по два раза. Действительно, с миссией. И мне дьявольски интересно увидеть этого человека! (*Встает из-за стола.*) Ах как хорошо, Георгий Васильевич, что мы можем вот так, искренне и прямо, говорить друг с другом. Муж мой живет своими горячечными грезами, Вольский, как и все газетчики, сплетнями, и только вы...

Карпов. Боюсь, вы обольщаетесь на мой счет. Я не был до конца честен, когда говорил о жене и о полном отчуждении... Вообразите, что я, уходя из дома в больницу или лабораторию, не мог ни о чем думать в ожидании звонка от Самсонова, который каждый день подробно рассказывал мне о ее состоянии. Что я на дощатом полу пустой ординаторской горячо молился, узнав об улучшении... Я не навещал ее только из малодушия и трусости. Да, из трусости. Я до дрожи боялся, что в бреду она произнесет его имя... Простите мне мою стихийную откровенность. Мне нужен был сегодня человек, который выслушает, но ни в малейшей степени не посочувствует. Спасибо вам.

Пауза.

Анна Николаевна. А знаете что? Я предлагаю прогуляться на этом чудесном сыром воздухе, под этим пленительным больным солнцем. Что скажете?

### Сцена вторая

Дом Карповых. Сильва, укутавшись в шаль, полулежит на софе с книгой. В комнату вбегает Поля с журналами в руках.

Поля. Маман, я принесла вам «Журнал для женщин»! Пишут о том, как чистить ваши страусовые перья. Оказалось, что пеной марсельского мыла... Мама, почему вы не допили зверобой? Ай-ай-ай! У вас до сих пор ужасный кашель.

Сильва. Нет же, Поленька, сегодня гораздо мягче...

Поля. Хотите или нет, а вы остаетесь моей пациенткой еще как минимум на неделю! Не зря же я штудировала медицинскую энциклопедию? Мне нужен практический опыт.

Сильва (вздыхая). Раз нужен — хорошо. Но только на неделю.

Поля (присаживаясь на софу). Ах, мама, вы впервые по-настоящему перепугали меня... Когда у вас был кризис, мы с Тимкой глаз не сомкнули!

Сильва. Вы правда испугались, крошка?

Поля. Что вы! Тимоша чуть не рыдал... Да и доктору Самсонову досталось в ту ночь... Когда отец будто бы дежурил в госпитале...

Сильва. Но он действительно был на дежурстве.

Поля. Ну да, так же как и вчера...

Сильва. О чем ты?

Поля (сумрачно). Ни о чем! (Порывисто обняв Сильву.) Мама, вы знаете, что он всегда был моим идеалом! Я мечтала помогать ему в больнице... Но тогда... Я ни разу не видела, чтобы он зашел к вам! Госпиталь, срочная работа в лаборатории... Как он мог? «Самоотверженный доктор Карпов»... Мамочка, я не знаю, что произошло между вами, но перед лицом опасной болезни...

Сильва. Полина, девочка моя, ты драматизируешь. Меня наблюдал Самсонов, он отличный врач. И Груня была круглые сутки в моем распоряжении. А потом и ты, моя хорошая...

Поля. Ничего не хочу слышать!

Сильва. Детка, поверь, он ни в чем не виноват. Ты взрослая умная девочка, и я не буду скрывать: наши отношения изменились. Но Георгий Васильевич все тот же. Все тот же обожаемый твой папа... Ты многого не знаешь.

Поля. Похоже, это вы многого не знаете! Я не хотела говорить вам... Вчера я видела его издали в саду «Альгамбра». Он шел по аллее под руку с Симбирцевой, этой очкастой эмансипе. Узнала ее по рыжей шапке. А ведь вчера он будто бы был до позднего вечера на дежурстве...



Сильва (*нервно листая журнал*). Это не значит ничего.

Поля. Нет, значит! Я видела их... второй раз.

Сильва. Если даже это так — в чем я сомневаюсь... если даже это так, твой отец — свободный человек. Анна Николаевна... умна и хороша... и, вероятно, заслуживает счастья.

Поля. Но она же обманывает Степана Сергеевича!

Сильва. Ты слишком юна, чтобы судить об этом!

Поля. Зато у вас, маман, легко получается никого не судить. А ведь это самое трудное из евангельского...

Сильва. Наверное, это единственное, что я умею... Однако, посмотри, о чем здесь пишут: «Как правильно пополнить». (*Читает в журнале.*) «Излишняя худоба портит женскую наружность гораздо больше, нежели чрезмерная пышность форм. К тому же тонкому пополнить труднее, чем полному сбавить вес».

Поля. Это верно, мне никакие пирожные не помогают! (*Отнимает у матери журнал, читает дальше.*) «В деле обретения пышности важно выстроить грамотный рацион. В него должно входить побольше каши, белого хлеба и кваса». Вот почему они не едят, на какие каши нужно налегать? К примеру, я пшенку терпеть не могу...

Сильва. Поленька, для твоего возраста у тебя вполне сносный вес...

Поля. Но моим подружкам больше идут вырезы на платьях... (*Листает журнал.*) Посмотри: портреты немецких артисток. Явно лопают белые булки!

Сильва (*читает*). «Гости из Дрездена демонстрируют артистизм и женственность, а также свойственную всем немкам врожденную вульгарность и ложную сентиментальность».

Поля. Вот-вот, ложная сентиментальность! Я пригрозила Вагнерше из моего класса поколотить ее за то, что наушничает классной наставнице. Девочки меня поддержали: немцам смертный бой! И что же вы думаете? Вагнерша, закатив глаза, медовым голосом говорит мне: «Полетт, не личит барышням драться!»

Сильва. Полина, твоя Вагнер вовсе не виновата, что родилась немкой!

Поля. Все одно — ябеда у меня получит! (*Кричит, выбегая из комнаты.*) Груня, свари мне манной каши!

### Сцена третья

Дом революции. В помещении стол с телефоном, несколько стульев, небольшой диван. У стены — буржуйка, рядом — сваленные дрова. Гордеев и Вольский ждут начала собрания.

Гордеев. Ух и высокие потолки! Я здесь не был раньше.

Вольский. Бывшее Купеческое собрание. Какие здесь давали балы, концерты... Теперь Дом революции. Советы и штаб Красной гвардии.



Гордеев. Уж лучше бы балы...

Вольский. Неужели мы сейчас увидим живого Святогорова? Нужно непременно договориться об интервью для «Голоса Сибири».

Гордеев. Объясните мне, Вольский. Вот я, к примеру, военный, а вы журналист. Святогорov — он, стало быть, революционер по профессии?

Вольский. О да, это профессия: первый срок он получил в восемнадцать!

Входят Карпов и Анна Николаевна.

Карпов приветствует Вольского и Гордеева сдержанным кивком и поворачивается к Анне Николаевне.

Карпов. Здесь какой-то мертвящий холод.

Анна Николаевна. Опять с вами, доктор, неладное — я чувствую. Напрасно я вас две недели из апатии вытаскивала? Черная неблагодарность!

Карпов. Нет же, вы с успехом справились, мой друг. Просто надо прийти в себя после дежурства.

Анна Николаевна. Тяжелый пациент?

Карпов. Умер раненый. Молодой парень, были все шансы. Почему-то я был уверен: выживет. Но прогнозы медиков недорого стоят... Никогда не верьте врачам, Анна Николаевна.

Анна Николаевна. Вам давно пора стать хладнокровным циником — с вашим-то стажем.

Карпов. Я им и стал, еще лет 20 назад. Только невозможно быть циником 24 часа в сутки.

Анна Николаевна. Понимаю.

Карпов. Знаете, я с ранеными никогда особо не ладил. Больные — дело другое: к диагнозу обычно относятся серьезно, любят обстоятельно с врачом поговорить о симптомах и уважают режим. А раненые — пациенты безответственные, особенно молодежь. Только и думают — где бы раздобыть табак или шкалик водки. И этот — то же самое... Еще и за молоденькой санитаркой волочился. Только позавчера имел с ним строгую беседу. А сегодня...

Анна Николаевна сжимает руку доктора.

Карпов. Благодарю вас!

Входит Святогорov. Он сед, носит монокль, на руках — перчатки.

Улыбчив, интонации мягкие и вкрадчивые.

Святогорov. Так, так. Симбирцев, разумеется, опаздывает. Однако рад вас видеть. Всех вас знаю по письмам Степана. *(Пожимает всем руки.)* Простите, что перчаток не снимаю: мою левую руку, изувеченную в застенках, вам лучше не видеть. *(Вольскому.)* Как жаль, что вы не прошли на выборах в ноябре!



В о л ь с к и й. Знали бы вы, какой низкой была явка!  
С в я т о г о р о в. Но для вас ничего не потеряно, Александр Дементьевич!

В о л ь с к и й (*Гордееву, с восторгом*). Он помнит мое имя!  
С в я т о г о р о в (*Карпову*). И, конечно же, особое почтение представителю науки!

В о л ь с к и й. Простите великодушно, Антон Антонович, но мы не думали, что вашим пунктом назначения будет наше захолустье! Как так получилось?

С в я т о г о р о в. Друзья мои, Ново-Николаевск вы считаете захолустьем по привычке! Сами посудите — это пересечение Транссиба и судоходной Оби. Знаете ли вы, сколько грузов проходит через город? И потом, сколько у вас создано кооперативов...

К а р п о в. Которые излишне увлекаются сейчас военными подрядами.

С в я т о г о р о в. Знаю, но это временно! А кроме того, гарнизон здесь огромный! Немудрено, что город обрел стратегическое значение как для нового правительства, так и для его врагов. А знаете, я прошелся сегодня по улицам — у вас премило!

Врывается С и м б и р ц е в, ведя за руку Т и м о ф е я.

С и м б и р ц е в. Антон Антонович, веду молодое пополнение!

К а р п о в (*Тимофею*). Кажется, ты должен быть сейчас в гимназии?

Т и м о ф е й. Всего-то два урока оставалось...

К а р п о в. Разрешите представить моего сына: Тимофей Карпов, будущий актер, поклонник Гумилева и большой лентяй. Польза его для молодой республики вызывает вопросы.

С в я т о г о р о в (*улыбаясь*). Юное поколение для нас всегда желанно: в них наше революционное будущее. Впрочем, настало время рассказать, зачем я к вам приехал. Я призван помочь становлению в городе Красной гвардии и рабоче-крестьянской милиции. Это действительно так, только что я имел премилую беседу с комиссаром гвардии Пыжовым. Но у меня есть и неофициальная миссия. (*Вольскому*.) Не для печати, Александр Дементьевич! Городу необходима резервная защита, невидимая заслонка. Установить ее нужно прямо сейчас, и я рассчитываю на содействие прогрессивной части города, то есть вас.

Г о р д е е в. Но зачем же резервная — вы сами сказали про большой гарнизон...

С в я т о г о р о в. Дорогой подпоручик, все было бы прекрасно, если бы в городе была крепкая власть (а ее нет), если бы у нас были организованные Советы (а здесь правая рука не знает, что делает левая), если бы не оторванность от центра, если бы не тревожная ситуация в городе. Да вы знаете о ней лучше меня.

Вперед выходит Симбирцев.

С и м б и р ц е в (с трагической серьезностью). Обстановка в городе крайне непростая! После роспуска Учредительного собрания правые эсеры в знак протеста вышли из городского Совета. Теперь агитируют против новой власти и, по моим секретным данным, сговариваются с Чехословацким корпусом.

К а р п о в. Степан Сергеевич, развейте наши сомнения: вы правый эсер или левый?

С и м б и р ц е в (с той же серьезностью). Вопрос диалектический! Святогоров (мягко, почти ласково). Во всяком случае, наш дорогой друг — патриот Ново-Николаевска и не ведет никаких переговоров с чешскими грабителями, которых в народе уже прозвали «чехособаками».

С и м б и р ц е в. Я не закончил доклад. Ситуацию в городе усугубляет хозяйственный упадок и разруха.

В о л ь с к и й. Чистая правда! Люди замерзают в нетопленых домах: нельзя купить дров. Просто смешно — в Сибири, посреди лесов!

С в я т о г о р о в. Какое же доверие к власти может быть в выстуженном жилье? На поддержку красногвардейцев тоже нельзя вполне полагаться. Этим людям не платят, они получают только вооружение.

А н н а Н и к о л а е в н а. Но что мы можем сделать для безопасности города?

С в я т о г о р о в. Нужно стягивать верных людей, ресурсы, оружие... Я, в отличие от милейших правых эсеров, агитировать вас не стану. Все вы неглупые, образованные люди. Бесспорно, ваше право — остаться в стороне. Но в этом случае вы неизбежно попадете под начало вчерашних грузчиков, слесарей и прядильщиц.

К а р п о в. Похоже на то. Выяснилось, что наша прислуга Аграфена регулярно посещает библиотеку Общества попечения о народном образовании, где собираются большевики.

С в я т о г о р о в. Я говорю как раз об этом. Чтобы ваши жены не стали прислуживать кухаркам, вы должны включиться в дело молодой республики.

С и м б и р ц е в. Но разве не может все в одночасье перемениться? Ходят слухи, что Смольный сдался без боя и цесаревич Алексей объявлен царем.

С в я т о г о р о в. Басни! Смольный в полном порядке. Достоверно известно, что Романовы в Тобольске под охраной.

Г о р д е е в. Что будет с ними?

С в я т о г о р о в. Из секретных источников известно, что немцы намерены спасти царских детей. Ведь они племянниками доводятся начальнику германской контрразведки.

Г о р д е е в. Хорошо бы герцог Гессенский успел...

А н н а Н и к о л а е в н а. Господь с ними, с Романовыми. Перейдем к сути. Оглядываться назад не имеет смысла. Как раньше — уже не будет.

Святогоров. Именно! Да, еще полгода назад никто из нас, включая меня, не ожидал такого оборота событий. Октябрьский переворот был, если хотите, немного несвоевременным. Но дороги назад у нас нет. И Родина у нас одна.

Анна Николаевна. И так. Что касается людей. Сознательные и даже грамотные есть среди беженцев и пленных.

Святогоров. Превосходно. Об этом мы с вами, Анна Николаевна, потолкуем отдельно. Есть ли другие мысли?

Вольский. В первую очередь нужно договариваться с железнодорожниками. Я попробую использовать старые связи.

Симбирцев. Быть может, адвентистов седьмого дня подтянуть?

Святогоров. Почему бы и нет, если они обладают революционным сознанием и материальными средствами? Следующий вопрос: есть ли в городе оружие?

Симбирцев. У партии эсеров есть револьверы системы «Бульдог» и еще такие, тяжеловатые... вспомнил — «Смит весит» называются!

Святогоров. Bravo! Ну что, мой старый товарищ Степан, отдаете ли вы сердце революции?

Симбирцев. Защитим народную власть! В конце концов, моя бабушка была крестьянкой.

Карпов. Запутанная родословная у вас, Симбирцев...

Святогоров. Ну а вам, доктор Карпов, и вашему коллеге Самсонову мы поручим защищать город от надвигающейся страшной испанки. Изыщем средства на лекарства и дополнительный персонал.

Карпов. Благодарю вас! Полагаю, вы удостоите меня чести поужинать в нашем доме в пятницу?

Святогоров. Непременно и с радостью! А вы что же молчите, офицер Гордеев? Ваш военный опыт немало пригодится нам.

Гордеев. Вот вы, кажется, все знаете... Что сейчас на Восточном фронте?

Святогоров. По моим сведениям, в ближайшую неделю Россия подпишет мирный договор с Центральными державами.

Симбирцев. Наконец! Давно пора покончить с военщиной!

Гордеев. С военщиной?! Не будь вы штатским, я вызвал бы вас на дуэль! Выйти из войны... когда на полях сражений полегло столько людей...

Карпов. Согласен. Это позор Отечества.

Симбирцев. Друзья, зачем нам ссориться из-за того, что не мы совершили и что уж не изменим? Давайте лучше споем!

Анна Николаевна. Только не это! Мало того что я ежевечерне слушаю твои рулады!

Симбирцев. Я пел, пою и петь буду! (Поет.)

Вы жертвою пали в борьбе роковой  
 Любви беззаветной к народу,  
 Вы отдали все, что могли, за него,  
 За честь его, жизнь и свободу!

В о л ь с к и й (*подхватывает*).

Порой изнывали по тюрьмам сырым,  
 Свой суд беспощадный над вами  
 Враги-палачи уж давно изрекли,  
 И шли вы, гремя кандалами.

С в я т о г о р о в. Товарищи, остановитесь! Есть директива не петь эту песню на собраниях из-за ее пессимизма. Лучше «Интернационал».

С и м б и р ц е в. Я слов пока не выучил. Ох и холодно здесь! Надо дровишек подкинуть. (*Бросает дрова в буржуйку.*)

С в я т о г о р о в (*улыбаясь*). Вот он, русский интеллигент! Выстругать Пиноккио ему не под силу, а сжечь полено — за милую душу!

### Сцена четвертая

К а р п о в, В о л ь с к и й, С и м б и р ц е в, А н н а Н и к о л а е в н а, Г о р д е е в и Т и м о ф е й выходят на крыльцо Дома революции. Вольский и Гордеев закуривают.

С и м б и р ц е в. Ну, что я вам говорил? Это умнейший человек! Какая высота духа! Это не золото даже, это платина 950-й пробы!

В о л ь с к и й. Ну что, Вольдемар, вы с нами?

Г о р д е е в (*хмуро*). Подумаю пока.

В о л ь с к и й. А что, если нам всем вместе пообедать в трактире на Михайловской? Там готовят изумительный суп из петуха.

С и м б и р ц е в. Кстати, Георгий Васильевич, правда ли, что в Лондоне до сих пор популярны петушиные бои, несмотря на запрет?

К а р п о в. Не имею представления. Мои заграничные вояжи ограничивались Берлином и Прагой.

А н н а Н и к о л а е в н а. Однако пообедать с вами у меня не получится: сейчас урок в доме Мельниковых. Всего хорошего!

Уходит.

К а р п о в. Ну а я поведу недоросля домой. Рад был встрече!

Т и м о ф е й. Папа! Но мне же во вторник исполнилось восемнадцать!

К а р п о в. Смотри под ноги: ступеньки обледенели.

К а р п о в с сыном уходят.

С и м б и р ц е в. Полюбуйтесь, какое хладнокровие сохраняет доктор! Ни слова об эмиграции!

В о л ь с к и й. А меж тем это вопрос решенный.

Г о р д е е в. Откуда вы знаете?

В о л ь с к и й. Мне стало известно, что в прошлом году Карпов успел продать свою долю в маслобойном заводе.

С и м б и р ц е в. Подумайте!

В о л ь с к и й. Да, он сбежит с корабля... вместе со своими подопытными крысами... По некоторым сведениям, в течение марта в город прибудет состав, на котором доктор отбудет до Владивостока, а там...

### Сцена пятая

Трактир. В о л ь с к и й, С и м б и р ц е в и Г о р д е е в  
за столом с бутылкой водки.

Г о р д е е в (*лениво перебирая струны гитары*).

В этом поле заблудились  
Мы с веселым ямщиком:  
От обоза мы отбились,  
Попытались напрямиком;

Безнадежно заплутали,  
Утомили лошадей,  
А вокруг — глухие дали,  
Ни намека на людей.

Вот уже и сумрак синий  
Покрывает хрупкий наст.  
Посреди глухой России  
Только волки слышат нас...

В о л ь с к и й (*импровизируя, подхватывает*).

Что им заячий тулупчик —  
На один голодный кус...  
Ох, сдается, нас, голубчик,  
Будут пробовать на вкус!

### Сцена шестая

Дом Карповых. С и л ь в а, встав на кресло и отдернув занавеску, смотрит в окно и видит мужа об руку с Анной Николаевной. Занавеска дрожит в ее руке. В комнату входит Т и м о ф е й.

Т и м о ф е й. Мама, вам так идет плакать, стиснув в руках это кружево! Я бы нарисовал вас, если б умел!

Сильва садится в кресло и закрывает лицо руками.

Т и м о ф е й. Мамочка! Вы опять нездоровы?

С и л ь в а. Нет, это пройдет. Очень болит голова. Ты куда-то собираешься?

Т и м о ф е й. Ах, мама! Какой скучной была моя жизнь еще в январе! Скажите, мамочка, вам понравился Святогор?



Сильва. Скорее нет.

Тимофей. Но почему?

Сильва. Не могу объяснить... Мне не нравится его монокль.

Тимофей. Подумаешь — монокль! У архитектора Трофимова тоже монокль, да еще с надтреснутым стеклом, а у вас с отцом он был любимым гостем. Кстати, кажется, он давно не заходит.

Сильва. У Трофимова, верно, дела...

Тимофей. Мама! Я познакомился со Святогоровым поближе — ведь это новой породы человек! Настоящий Рахметов! Он спит на голых досках, может неделями жить на одной воде. Он в тюрьме всего Гегеля прочел! Да что там Гегеля — всего Дюма, 45 томов! Как хорошо, когда время дает тебе шанс! Время дает мне возможность, мама! Мне пора!

Сильва. Какую возможность?

Тимофей (*упоенно декламируя, идет к выходу*).

Узорный лук в дугу был согнут,  
И, вольность древнюю любя,  
Я знал, что мускулы не дрогнут...

Сильва. Тимоша! Постой же! Ты уже исправил химию?

Тимофей (*обернувшись в дверях*). Исправил на «четыре». Только не химию, а физику!

Сильва. Это все равно. Не задерживайся!

Тимофей уходит. Сильва встает, начинает перекладывать вещи с места на место, протирать подсвечник. В комнату влетает Симбирцев.

Симбирцев. Сильва Дмитриевна! Рад, что вы уже встаете! Какой сегодня мороз, неожиданный и славный! Помните поэта Никитина?

Нам не стать привыкать, —  
Пусть мороз твой трещит:  
Наша русская кровь  
На морозе горит!

Сильва. Это стихотворение, Степан Сергеевич, вы прочли в последнем номере «Нового Слова».

Симбирцев. Как обычно, бестолков и неуместен?

Сильва. А я, кажется, становлюсь злой.

Симбирцев. Вы нравитесь мне любой, Сильва Дмитриевна!

Сильва. Все ложь! Если бы я обратилась в мегеру, только б вас здесь и видели!

Симбирцев. Вы будете мегерой не больше десяти минут, это совсем не страшно. По-настоящему страшно, когда женщина всегда умна, всегда тверда и всегда принципиальна.

Пауза.



С и л ь в а. Это хорошо, что вы зашли. Груня, чаю с сахаром для Степана Сергеевича! Ну, расскажите мне последние новости. Я больше месяца не выхожу.

С и м б и р ц е в. Газета «Свободная Сибирь» закрыта... И еще — я был в биржевом комитете. Все обсуждают слух о том, что Ленин и Троцкий повешены.

С и л ь в а. О! Как же так?

С и м б и р ц е в. Не волнуйтесь, почти все слухи сейчас — безумные выдумки, не более.

С и л ь в а. Значит, не будем верить. А что, обо мне ходят в городе толки? Скажите честно, мы старые друзья.

С и м б и р ц е в. К несчастью, да. Но я всегда бросаюсь на защиту вашей чести, едва услышав дурное слово...

С и л ь в а. Не сомневаюсь ни секунды. Знаете, первые два месяца я очень переживала из-за этих сплетен. Из-за того, что наши друзья, которых я считала умными и честными людьми, перестали приходить к нам. Я хотела уехать в Киев к матушке. Но потом поняла, что дети мои, хоть я и не лучшая мать, до сих пор нуждаются во мне. Вот только... что будет, если до Поли или Тимоши дойдут дурные слухи?

С и м б и р ц е в. Но... пожалуй, теперь есть выход.

С и л ь в а. Выход, вы говорите?

С и м б и р ц е в. Наверняка ваш муж обсуждал с вами эмиграцию?

С и л ь в а. Ах, вы об Оксфорде! Я и забыла об этом.

С и м б и р ц е в (*осторожно*). Вы ведь слышали о составе, который прибудет скоро на нашу станцию? Будут ли там свободные места?

С и л ь в а. Места?

С и м б и р ц е в. Ведь английские законы гарантируют защиту людям, которых преследуют за убеждения...

С и л ь в а. Ничего не знаю об этом поезде. Я хотела спросить у вас, Степан Сергеевич...

С и м б и р ц е в. Все, что угодно.

С и л ь в а. Когда-то вы говорили мне, что у вас с Анной Николаевной свободный союз и вы не даете друг другу отчетов...

С и м б и р ц е в. Все так и есть. Мы люди широких взглядов.

С и л ь в а. Это значит, что Анна Николаевна вольна в любой момент покинуть вас? И вы не станете ее удерживать, так?

С и м б и р ц е в (*вздыхая*). Не стану. Кто знает, может так будет лучше.

С и л ь в а. Не верю... Вы вместе шестнадцать лет.

С и м б и р ц е в. Увы... Признаюсь в этом впервые, но брак наш стал взаимным разочарованием.

С и л ь в а (*припоминая*). Вы встретились в Москве. Анне было 27, она была пианисткой и подавала большие надежды.

С и м б и р ц е в. А я был земским деятелем, полным энергии и сил, только что выстроил в селе школу. Не стану скрывать — нравился в то время дамам и был еще при наследстве. Мы сразу решили пожениться,

уехать в провинцию и вместе трудиться на благо общества. Мне рисовалась картинка: уютный домик, трое детей — мальчишка с игрушечным пугачом и две дочки, светленькие — в Анюту. Все видные персоны города придут к нам послушать, как красавица жена играет Баха...

С и л ь в а. Что же рисовала в своем воображении Анна Николаевна?

С и м б и р ц е в. Не знаю, но вряд ли что-то похожее на нашу сегодняшнюю жизнь... Я не думал, что она настолько увлечется борьбой за права женщин и так в этом преуспеет. Организовала в поселках курсы повивальных бабок, ратовала за создание профсоюза учителей, ее публиковали в губернской газете. А у меня — неудача за неудачей. Вы же знаете, после 1905 года нарастала реакция. Царские сатрапы закрыли типографию, в которую я вложил большую часть наследства. Политические мои проекты проваливались с треском... И начался мой неостановимый бег по кругу...

С и л ь в а. Не от себя ли вы бежите, Степан Сергеевич?

С и м б и р ц е в. От себя! Как есть — от себя... А в последнее время и вовсе странное творится...

С и л ь в а. Но выглядите вы по-прежнему бодрим! Цвет лица у вас замечательный.

С и м б и р ц е в. Это от морозу, Сильва Дмитриевна... Знаете... С детства я всегда ясно отличал хорошее от худого.

С и л ь в а. Разве не оказывалось потом хорошее — скверным?

С и м б и р ц е в. Случалось. Но я-то был уверен: вот горькое, а вот сладкое, здесь яркое, а там тусклое. А после октября... После того как городского голову из управы выкинули... Не вижу — где право, где лево... где добро, а где зло... Помню, выступал на крестьянском сходе после роспуска Учредительного... А что говорил — не помню. Потом в Союзе домовладельцев выступал. Снова не помню, о чем толковал, но, кажется, говорил обратное! Будто компас внутри у меня размагнитился — вместо севера на юг плыву.

С и л ь в а. Я думала, у вас теперь есть маяк в лице Святогорова.

С и м б и р ц е в. Маяк светоносный, это правда... Если б не качало меня неведомым ветром. Вчера у адвентистов выступал, рассказывал зачем-то про культуру. Брякнул, что им свой театр нужно создать, с балетом.

С и л ь в а (весело). Выгнали?

С и м б и р ц е в. Выгнали! А вы? Вы знаете ли, друг мой, где правда, где ложь?

Входит Г р у н я с подносом, ставит чай.

С и л ь в а. А может быть, что правду у нас украли?

С и м б и р ц е в. Как вы сказали? Украли?

С и л ь в а. Возможно ли, что правда теперь будет у других?

Г р у н я. Украл — никто не видал — Бог дал.

С и м б и р ц е в (*с раздражением*). Простите, Аграфена, но я не понял вашего иносказания.

Г р у н я. Ушла от вас правда-то. Пока вы с дружками кричали спервоначалу «Все на фронт!», потом «Долой царя!», потом «Долой войну!» — правда от вас убегла к другим.

Уходит.

С и м б и р ц е в (*пожимая плечами*). Как же темно и загадочно бывает сознание русского крестьянина... (*Отхлебывает чай.*) Сильва Дмитриевна! Ведь у меня для вас подарок. (*Достает из-за пазухи вышитый бисером мешочек и протягивает Сильве.*)

С и л ь в а. Что это? (*Вынимает из мешочка огромную иглу.*)

С и м б и р ц е в (*проникновенно*). Я помню, что в доме у вас не осталось ни одной иголки. Случайно встретил на Базарной площади человека с мешком иголок и попросил самую лучшую. Не правда ли? Наверняка очень прочная.

С и л ь в а. Да... И потерять такую трудно... У нас в Киеве такие иглы называли цыганскими.

С и м б и р ц е в. То есть редкая вещь?

С и л ь в а. Как сказать... в определенном смысле... Насколько я помню, такими латают валенки и брезент.

С и м б и р ц е в. Очередная моя нелепость!

С и л ь в а. О нет! Вы подкупили меня, Степан Сергеевич! Что вы хотите на ужин?

С и м б и р ц е в. Вы так добры! Я был бы не против... запеченных патиссонов. Говорят, они очень полезны!

### Сцена седьмая

Дом революции. Святогород и Анна Николаевна сидят за столом с бумагами при свете керосиновой лампы.

А н н а Н и к о л а е в н а. Вот это — список толковых людей из беженцев, занятых на укреплении берега Оби...

С в я т о г о р о в. Волшебнo!

А н н а Н и к о л а е в н а. Четверть из них владеет оружием.

С в я т о г о р о в (*убирая список в стол*). Вы превосходно поработали, чего не скажешь о других из вашей... гм... «элиты». Кстати, я хотел спросить вас: что, собственно, такое этот Гордеев? Отчего в 39 лет все еще в чине подпоручика? Хотя имеет Георгия третьей степени...

А н н а Н и к о л а е в н а. Гордеев — симпатяга, но не карьерист. Говорят, что отличился в Галицийской битве, но не продвинулся. Кажется, с командиром плохо ладил.

С в я т о г о р о в. Все ясно. Такие в новой действительности, вероятно, должны тихо исчезнуть. «Их корабли в пучине водной не сыщут ржавых якорей...» Ну а о Вольском что вы скажете?

Анна Николаевна. Вольский — неплохой журналист, но его идейность...

Святогоров. Насколько я понял, главная идея Вольского — «нашим ли, вашим — за копейку спляшем». В общем, применить его можно. Анна Николаевна, а ведь я, седой лис, сразу смекнул, что вы стоите на земле куда тверже, чем наши достославные мужчины.

Анна Николаевна. Секрет прост — я единственная из всей братии законченная материалистка. У меня нет ни религиозных иллюзий, ни туманных романтических идеалов, ни интеллигентских страхов о пришествии тиранов. Потому и поступь моя тверда.

Святогоров. Да простит меня старинный мой товарищ Симбирцев, но он не заслуживает самой поразительной женщины Ново-Николаевска!

Анна Николаевна (с иронией). Как? Неужели вас не обворожила Сильва Карпова, фея нашего городка?

Святогоров. О! По-моему, вы питаете слабость к доктору Жоржу, я не прав?

Анна Николаевна. Вовсе нет. Знаете, мне просто непонятно, о чем он может почти 20 лет разговаривать с женщиной, которая читает лишь дамские романы...

Святогоров (с усмешкой). Тогда простите мне мое вольное предположение. Так вот, мне действительно не нравится Сильва. У нее глаза как безлунная южная ночь. Я не люблю безлунных ночей. В них есть этот неслышимый крадущийся ужас из детских снов. По-моему, самое прекрасное в ночи — это месяц и звезды!

Анна Николаевна. Месяц и звезды! Как это верно!

Святогоров (сухо и властно). Встаньте.

Анна Николаевна поднимается, Святогоров подходит к ней.

Святогоров. Революция — это освобождение. (Снимает ее очки, отчего лицо Анны Николаевны становится беззащитным.) Освободите ваши чудные волосы! (Вынимая шпильки, распускает ее волосы.) Освободите ваше сердце, которое бьется набатом. (Не снимая перчаток, расстегивает корсаж, высвобождая ее левую грудь.)

Анна Николаевна. Антон Антонович, уже поздно...

Святогоров. Для революции никогда не бывает поздно! (Толкает ее на диван.) Все революции совершаются слишком рано, и тем они прекрасны! (Продолжает расстегивать ее платье.) Хорошая наковальня не боится молота революции! О, мы уже слышим жаркое дыхание кузнечных мехов... Принимаешь ли ты революцию? До конца ли ты принимаешь ее? (Анна Николаевна вскрикивает.) Да, революция обходится без привычных вам фиоритур! Только стаккато! Стаккато раскаленного молота! Теперь ты приняла это пламя! Я горжусь тобой, Анна!

Святогоров отходит и садится, устало откинувшись на спинку стула.



С в я т о г о р о в. Кажется, было премиленько! (*Анна Николаевна затравленно смотрит на него, прикрываясь истерзанным платьем.*) Да вы, по-моему, дрожите... Может быть, глоток водки? (*Анна Николаевна мотает головой.*) И все же я не понимаю, невероятная Анна, что вы делаете рядом со Степаном? Симбирцев — конченный человек, и вы это отлично знаете. Он давно упустил свои шансы.

А н н а Н и к о л а е в н а. Теперь нужны будут честные люди с горячим сердцем...

С в я т о г о р о в. А все-таки в вас остался идеализм! Теперь, как и всегда, нужны прежде всего люди, умеющие держать нос по ветру. А Степана, словно большую старую чудо-черепаху, выбросит на песок прибоем.

А н н а Н и к о л а е в н а (*застегивая платье*). Мне пора.

С в я т о г о р о в. Не торопитесь, Аннушка. Побудьте, пока догорит керосинка. Осталось совсем чуть-чуть. Вы знаете, я вспомнил: была все же в моей жизни одна глухая безлунная ночь, которая оказалась завораживающей. Дело было летом в Феодосии. Часы пробили час ночи, когда я вышел на крыльцо подышать: мои товарищи в доме дико надымили. Темень покрывала маленький сливовый сад со всеми шорохами и шелестами ночного сада. И вдруг я увидел светящуюся точку на уровне глаз. Через секунду — еще одну и еще. Это были светлячки... Десятки крохотных звездочек на ветках деревьев в кромешной тьме — так забавно. Тогда я достал из кармана браунинг, с которым в ту пору не расставался, и — поверите? — каждый мой выстрел гасил одну сияющую мишень. О, тогда я был удивительным стрелком! (*Анна Николаевна встает, подходит к вешалке и снимает пальто.*) Вы таки уходите? Скажите же что-нибудь на прощанье...

А н н а Н и к о л а е в н а. Скажу... Я по-прежнему не верю в Бога, но, кажется, поверила в Сатану.

С в я т о г о р о в (*кратко*). Аннушка, вы немножко преувеличиваете.

А н н а Н и к о л а е в н а уходит.

С в я т о г о р о в. Что ж... В какой-то момент все женщины похожи друг на друга.

### Сцена восьмая

Дом Карповых. С и л ь в а одна в комнате. Видно, что она встревожена: то вскакивает и подходит к окну, то набрасывает шаль, то принимается причесывать куклу. Стук в дверь.

С и л ь в а. Войдите!

Входит Г о р д е е в.

С и л ь в а. Вы!..

Г о р д е е в (*снимая фуражку*). Прошу прощения! В письме вы запретили мне приходить. Просто... Я слышал, вы совсем скоро можете уехать.



Сильва (*нервно*). Боже, почему я второй раз слышу о своем отъезде от посторонних?

Гордеев. Посторонних?

Сильва. Простите меня. Я волнуюсь: Тимофея долго нет. Уже стемнело, а сейчас ходят патрули и, говорят, стреляют... А муж вернется только под утро...

Гордеев. Не переживайте. Он, верно, какую-нибудь барышню через сад домой провожает.

Сильва. Ах, нет... Я чувствую, что здесь замешан этот отвратительный Святогоров... Мальчика словно подменили в последнее время... Новые знакомства...

Гордеев. Мне тоже неприятен Святогоров с этой его кошачьей манерой, хоть все и подпали под его обаяние. Послушайте, Сильва... Я уйду сейчас. Мне просто нужно поблагодарить вас. Вы спасли меня. Мне дважды спасали жизнь. Прапорщик Устинов, который вытащил меня из огня, и вы, 25 октября.

Сильва. Впервые я совершила по-настоящему отважный поступок... и он разрушил мою жизнь. Как глупо!

Гордеев. Не глупо! Сильва... я вам буду предан до конца дней. Хотя и не могу предложить вам ничего, кроме маленького домишки в Орле. Кто я сейчас? Здоровье мое поправилось, и я вправду могу танцевать полонез, но только полонезов больше не танцуют. В бальных залах сидят Советы... Зачем я? Зачем мне руки и ноги и мой старый гнедой, которому не хватает овса...

Сильва (*глядя в окно*). Перестаньте.

Гордеев. Отчего вы не смотрите на меня? Впрочем... Даже я с моим невеликим умом понимаю, что в тот вечер вы спасали прежде всего своего отца.

Сильва. О, как вы правы... Я много раз спасала его во сне. Сон повторялся: я иду по жутким темным переулкам, потом вхожу в какой-то серый дом и проскальзываю в ярко освещенную комнату с ломберным столом. Все, кроме папы, в каких-то страшных масках: помню зловещего черного петуха, пантеру, восковую маску глумливого арлекина... Я протискаиваюсь к отцу и беру его за руку. На несколько мгновений все затихают. Отец оборачивается ко мне и что-то ласково спрашивает. Потом кладет карты, и мы с ним выходим из дома, держась за руки. На улице холодно, но я невысказанно счастлива. Потому что отец не совершил то единственное, что никому не простится...

Гордеев. Сильва, родная моя...

Сильва (*беспомято*). Но он совершил. То, что никому не простится. И его похоронили за церковной оградой, на насыпи.

Гордеев. Ваш муж до сих пор об этом не знает?

Сильва (*с вызовом*). И не узнает.

Гордеев. Вы не хотите объясниться до конца?

Сильва. У меня есть своя маленькая гордость. Я дважды просила прощения и ничего не слышала в ответ... Взгляд его был устремлен по-

верх меня. Заводить разговор еще раз? Ну нет! А знаете что, подпоручик? А я еще долго буду красивой. Потому что отец любил меня веселой и красивой. Любил, когда я пела.

Гордеев. Слушайте. Все, что я говорил прежде, — все правда. Я люблю вас как полоумный. Больше всего на свете я хотел бы сейчас уткнуться лицом в вашу белую шаль.

Сильва. Вы говорили, что эта любовь поразила вас как русский штык. Но русский штык легко извлечь из груди: у него нет отточенных граней. Попробуйте избавиться от своей любви. Это легче, чем кажется, правда... Моя любовь к вам казалась мне такой... невыносимо полной, она стесняла мне дыхание. А сегодня... я тревожусь о своем сыне и не чувствую ничего больше, слышите?

Гордеев. Я говорил, что не пожалею для вас своей головы. *(Надевает фуражку.)* Я приведу вашего парня. Вы говорили о новых знакомствах. Где он может быть?

Сильва. Кажется, он сошелся с железнодорожной молодежью. Упоминал станции Обь и Алтайскую... Больше ничего не знаю.

Гордеев. Положитесь на меня. *(Уходит.)*

Сильва *(вслед)*. Будьте осторожны.

## Сцена девятая

Дом революции. Святогор и Тимофей.

Тимофей. Знаю, что глупые вопросы задаю, но я же политикой до сих пор совсем не интересовался. Вот скажите: император ведь издал манифест с правами и свободами, создали Думу... Почему революции так скоро?

Святогор. Да-с, Дума у нас была премилой! Правительство ставило вопросы, а Дума разрешала. *(Артистично изображает в лицах.)* «Необходим миллион на секретные расходы». — «Берите». — «Не следует ли переписать буйволов в Европейской России?» — «Следует». Так она и работала. Что до прав и свобод... *(Снимает с левой руки перчатку и демонстрирует красный остов руки.)* Видите, шевадь? С меня живьем содрали кожу в каземате. Это было через месяц после принятия благословенного манифеста. Изуродовали левую руку, дабы правой я мог написать показания. К слову, не дождалась она их...

Пауза.

Тимофей. Вы говорили, что сегодня для меня будет настоящее задание.

Святогор. Вы чувствуете, что готовы, шевадь?

Тимофей. Готов! Клянусь честью, монсеньор!

Святогор. Задание будет гораздо опасней, чем мы могли предполагать. Два часа назад я получил телефонограмму. Белочехи во главе с капитаном Гайдой утром будут под Ново-Николаевском. Их слишком

много, а наша гвардия пока слаба. Медлить нельзя. Нужно взорвать состав. Динамит ты получишь у товарища Павла и будешь ждать сам знаешь где.

Тимофей. Знаю. На станции.

Святогоров. Умница. Вперед. Пароль — «Красный коршун».

Тимофей выбегает. Святогоров звонит по телефону.

Святогоров. Комитет? Говорит Святогоров. Обнаружена диверсия на железной дороге. Принимаем меры. *(Встает из-за стола и поет, повернувшись к залу.)*

Сквозь моногля льдистое стекло  
 Вижу я пожары революций,  
 Произвол репрессий, контрибуций,  
 Солнце, что на западе взошло!

Да, перевернулся этот мир,  
 Разорен привольный муравейник...  
 Радостны палач и оружейник,  
 Спекулянт, тюремщик, конвоир.

Да и нам немислимо сvezло,  
 Нам, клеветам новых революций, —  
 Росчерки кровавых резолюций  
 Созерцать сквозь хладное стекло.

### Сцена десятая

Дом Карповых. Сильва и Поля в беспокойном ожидании.  
 Входит Карпов.

Карпов *(снимая пальто)*. Почему вы не спите?

Поля. Папочка! Тимофей пропал!

Карпов. Не пришел домой? А друзья его? Окунев и этот лохматый, Петр, кажется...

Поля. Они ничего не знают! Это, конечно же, связано с его политическими делами.

Карпов. Какими еще политическими делами? Не смей меня.

Поля. Это только вы могли не замечать, что мальчишка бредит революцией и Святогоровым...

Карпов. Вот как? *(Идет к телефону.)*

Сильва. Куда вы звоните?

Карпов. В Дом революции.

Сильва. Полпятого утра. Там никого.

Карпов. Действительно. *(Кладет трубку.)* Но нужно же что-то делать, искать его. Симбирцев может что-то знать...

Сильва. Гордеев ушел искать мальчика.

К а р п о в (*ядовито*). Как, и здесь не обошлось без бравого подпоручика? А я было подумал, что это семейное дело.

С и л ь в а (*неожиданно резко*). Сейчас же замолчите!

П о л я. Знаете, папа, если бы вы чуть больше любили Тиму, он не ушел бы!

К а р п о в. Что за чушь?!

П о л я. Да! Вы никогда не принимали его всерьез. Просто он хотел доказать вам, что тоже на что-то годен!

К а р п о в. А почему же ты, известная поборница справедливости, не говорила мне об этом раньше?

П о л я. Да потому что быть любимицей приятно! Да, приятно! Хотя в 16 лет это радует чуть меньше, чем в восемь...

Звонит телефон. Карпов бросается к нему и берет трубку.

К а р п о в. На проводе!

Г о л о с А н н ы Н и к о л а е в н ы в т е л е ф о н н о й т р у б к е. Георгий Васильевич, я звоню с телеграфа. Мне очень, очень нужно увидеться с вами. Прошу, мне никогда не было так тяжело, как сейчас.

К а р п о в. Почему вы в такой час на телеграфе? Какое-то несчастье?

Г о л о с А н н ы Н и к о л а е в н ы в т е л е ф о н н о й т р у б к е. Нет-нет, я просто не могу больше быть дома. Не нахожу места больше суток. Прошу...

К а р п о в. Простите, у меня семейные неприятности, и я больше не могу разговаривать. Возвращайтесь домой. На улицах опасно.

Г о л о с А н н ы Н и к о л а е в н ы в т е л е ф о н н о й т р у б к е. Но я...

Карпов кладет трубку.

К а р п о в. Что он говорил перед уходом?

С и л ь в а. Не знаю... ничего существенного. Читал какие-то стихи про лук.

П о л я (*с сомнением*). Про лук? Вы ничего не путаете? Это Вольский за плату сочинял стихи про лук и сельдерей!

С и л ь в а. Нет же... (*Припоминая*). «Узорный лук в дугу был согнут...» Дальше не помню.

К а р п о в (*растерянно*). Мне ведь был знак... Тот парень в госпитале был так похож на него...

П о л я. Какой парень?

К а р п о в. Так... Нужно было беречь...

Уходит в другую комнату. Обнявшиеся Сильва  
и Поля слышат слова молитвы.

К а р п о в. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние твое, победы на сопротивных даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство...



Стук в дверь. Поля бежит открывать. Вваливаются Симбирцев и Тимофей, поддерживая с двух сторон полубезжизненного Гордеева в окровавленной шинели.

Поля (*кричит*). Папа!

Выходит Карпов.

Карпов. Снимите с него шинель и кладите на софу. Аккуратнее! Полина, теплой воды и марлю!

Поля убегает.

Карпов. Что произошло?

Симбирцев. Об этом могу рассказать я. В эту ночь я не сомкнул глаз. Анна Николаевна не пришла домой, и я в тревоге сидел у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Рассвет едва дребезжал. Снег скрипел под кирзовыми сапогами патрульных...

Гордеев (*открывая глаза и тяжело дыша*). Симбирцев, дайте я скажу, так скорей будет... Взял я своего гнедого и галопом нагнал мальчика на самой станции... Коня загнал, правда... привязал у сторожки... и пошли мы обратно пешком. А тут патруль. Увидели, что я в военном, и давай палить. Сверзился я прямо в полыню... потому и шинель мокрая...

Входит Поля с тазиком воды.

Карпов. В полыню у дома Симбирцевых, ясно. Владимир Никитич, вам нельзя много говорить... Выйдите все.

Все выходят из комнаты.

Гордеев. Подумаешь — одной раной больше. Даже сознания толком не потерял. Вы мальчонку только не ругайте.

Карпов (*доставая с полки склянку со спиртом*). Сейчас вам придется немного потерпеть.

Гордеев. Я сказал парню, что в этой борьбе не будет героев... одни только жертвы. Послушайте, этот каналья запутал его. Провокатор ваш Святогоров...

### Сцена одиннадцатая

Дом Карповых. Уже светло. Гордеев спит, накрытый одеялом. Рядом — Карпов, Симбирцев и Тимофей.

Симбирцев. Нельзя ли еще чаю?

Карпов. Обойдетесь. И не гремите так подстаканником.

Симбирцев. А вы думаете — легко вынести крушение идеала?

Карпов. Признаться, почти все мы оказались дураками. Сунулись в лужу за отражением звезды. Тимофею это еще простительно... Впрочем, напрасно я не порол тебя никогда.

Тимофей. Сейчас я, видимо, заслужил.

К а р п о в (*встрепав ему волосы*). Нет уж, ты совершеннолетний. Выпорю я тебя, только если экзамены в мае не сдашь. И все же, Степан Сергеевич. Останетесь ли вы после этого в окол властных кругах?

С и м б и р ц е в. Боюсь, мне вообще придется сойти с круга. Что будет, если я, запыхавшись в бессмысленном забеге, остановлюсь и предъявлю себе счет? (*Тяжело вздыхает.*)

Т и м о ф е й (*сонно*). Circulus, cujus centrum diabolus. Круг, посреди коего дьявол.

С и м б и р ц е в. Пойду лучше в школу — детей арифметике учить. Всегда безотчетно ощущал в себе призвание педагога.

К а р п о в. Только не учите детей пению, очень вас прошу.

С и м б и р ц е в. А тем не менее все счастливо обошлось! Парнишка спасен, и у Гордеева рана неглубокая. По такому случаю предлагаю вечером развлечься! В цирке Камухина сегодня «Три черта» со своим дьявольским полетом под куполом цирка. Уверен, Сильве Дмитриевне понравится.

К а р п о в. Только трех чертей нам не хватало!

Входит Г р у н я.

Г р у н я (*остановившись на пороге*). Хозяин... Разговор до вас есть...

С и м б и р ц е в с Т и м о ф е е м выходят из комнаты.

К а р п о в. Слушаю вас, Аграфена.

Г р у н я. Я сейчас от следователя.

К а р п о в. Интересно.

Г р у н я. Интересно, то-то и оно. Вашим аглицким шпионством интересуются.

К а р п о в (*устало*). Каким еще шпионством?

Г р у н я. Да мне вообще вам об этом говорить запрещено! А слово большевицкое я нарушила, потому что вы мне платили всегда хорошо и не привередничали почем зря. В общем, вам бы лучше того — вещички собирать.

К а р п о в. Аграфена, я не понял ничего из ваших слов. Не спал больше суток... (*Пошатываясь от усталости, выходит из комнаты.*)

Г р у н я (*себе под нос*). А надобно было понимать! И не якшаться с музыкантками в рыжих шапках!

### Сцена двенадцатая

Дом революции. С в я т о г о р о в сидит за столом,  
В о л ь с к и й декламирует с листа.

В о л ь с к и й.

Не сверни! Не предай наше знамя,  
 Ведь надежный потертый бушлат  
 Этой ночью хранит твое пламя,  
 Прямя и светел бесстрашный твой взгляд.

С в я т о г о р о в. Стоп-стоп. Ритм недурен. Но! Мы сейчас совсем не можем обещать милиции бушлаты! К тому же скоро апрель, перебьются пока фуфайками. Далее!

В о л ь с к и й.

Пусть невестою станет винтовка,  
Пусть подушкой станет лафет...

С в я т о г о р о в. Стойте! Вольский, что вы такое пишете? Лафет — это у артиллерии. Ах как трудно иметь дело со светским человеком! Читайте дальше.

В о л ь с к и й.

Ваш свисток будет дик и протяжен.  
Вы уйдете в ночной дозор:  
Не пройдет мимо вашей стражи  
Ни шпион, ни разбойник, ни вор.

С в я т о г о р о в. Вот, уже лучше! Про свисток с чувством написано. Александр, дружок, а не заменить ли нам «разбойника» на «контрреволюционера»?

В о л ь с к и й. Боюсь, контрреволюционер не ложится в строчку...

С в я т о г о р о в. Скверно...

Входит К а р п о в.

К а р п о в. Я не помешал?

С в я т о г о р о в. Что вы, дорогой доктор! Сердечно рад вам! Александр, идите и сегодня же внесите необходимые правки! Марш рабочекрестьянской милиции — это не шутки!

В о л ь с к и й, собрав со стола листы и поклонившись, уходит.

С в я т о г о р о в. Садитесь же, Георгий Васильевич! Как ваши дела? Хватает ли людей, перевязочных материалов?

К а р п о в. Благодарю вас, пока в госпитале все есть.

С в я т о г о р о в. Но заканчивается? Не беспокойтесь, я поставлю вопрос перед Советами...

К а р п о в. Я пришел говорить о другом. О ваших омерзительных авантюрах, в которые вы втягиваете неоперившихся юнцов. Какую игру вы ведете?

С в я т о г о р о в. Ха-ха! Не понимаю, право, о чем вы, хотя и догадываюсь. Пылкие юноши из числа революционной молодежи, начитавшись романов о рыцарях, ведьмах и оборотнях, иногда безрассудно заигрываются, знаете ли...

К а р п о в. А я догадываюсь, что оборотень — это вы. В вашей доблестной биографии есть белые, вернее, темные пятна...

С в я т о г о р о в. Вы успели изучить мое досье? Bravo, Георгий Васильевич! Что же, любой провинциальный врач — человек со связями,

это известно. А вот знакома ли вам родословная вашей очаровательной супруги?

К а р п о в. Что вы хотите сказать?

С в я т о г о р о в. Какое-то время я учился в Киевском университете (да, биография моя довольно запутана!) и имел счастье знать ее батюшку, Дмитрия Ивановича Дроздовского.

К а р п о в. Он был известным адвокатом с безупречной репутацией.

С в я т о г о р о в. Я так и думал, что вы ничего не знаете: обстоятельства его смерти старательно замалчивались. Однако мне доподлинно известно, что Дроздовский водился с киевской бандитской верхушкой. В доме которой он однажды вдребезги проигрался в карты. После чего... (заводит глаза к потолку) увы, свел счеты с пустой и никчемной жизнью...

К а р п о в. Как ты смеешь, наглец! (Наотмашь бьет собеседника.)

Святогоров, на чьем лице не дрогнул ни один мускул,  
кладет на стол монокль.

С в я т о г о р о в. Что же вы так невежливо? Могли монокль разбить. Удивлены, доктор? Да, я, несмотря на возраст, стойкий и почти оловянный! Ха-ха-ха! Я никогда не чувствовал боли — такая врожденная особенность. И только это делает человека настоящим стойком. Можно сколько угодно философствовать про твердость духа и укрепление воли — чепуха это все... Обычный человек может стать стойком только случайно: он никогда не выдержит повторных испытаний. Телесная боль рано или поздно заглушит душевную и нравственную. Одного моего приятеля — о, какого идейного анархиста! — пять ночей подряд били прикладами ружей. А на шестую ночь он сдался. Рассказал все, что было и чего не было. Потому что у человеческой прочности есть предел... Вы медик, вы хорошо это знаете. А вот моя прочность... (Встает и скрещивает на груди руки.) Знаете, забавно: когда в детстве мама хотела меня утормотить, она обливала меня из ковшика, ведь шлепки на меня не действовали.

К а р п о в. На вас и сейчас найдется ушат холодной воды.

С в я т о г о р о в. Поздно, мой друг! Кому какое дело теперь, что 20 лет назад я в Питере промышлял грабежами? Что потом был связан с немецкой разведкой? Кому какая разница, если мы — уверенные и сильные — уже пришли на пьяный корабль и завладели рулем?

К а р п о в. Вы завладели им временно и даже не понимаете, в какой шторм ведете судно.

С в я т о г о р о в. Да, нас ждет буря. Но только мы будем на капитанском мостике, а для вас, похоже, шлюпок не хватит. Для вас, доктор, явно не хватит. Ну признайте же, признайте, что вы, интеллигенты, революцию просто не заметили, проглядели, проворонили! За танцами, разговорами о византийской идее, сердечными увлечениями и смешными политическими интригами... А мы пришли! Как там в вашей Библии? Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я! Вот я! Ха-ха-ха!

К а р п о в. Стоит ли ставить в заслугу неожиданный и наглый удар, совершенный в октябре? Тоже мне, блистательная стратегия!

С в я т о г о р о в. Ну да, не слишком тонкая игра... А что было бы, если б у власти остались ваши друзья эсеры, бездарные и нерешительные? Тянули бы свою томительную канитель еще сто лет и довели бы Россию до полной разрухи... А на руинах старик Симбирцев произносил бы пламенные патриотические речи.

К а р п о в. Вы подонок, Святогоров! Причем ведете себя так нахально, будто бы уже возглавили Советы.

С в я т о г о р о в. Нет, не возглавил, но моей власти хватит, чтобы приказать гвардейцам вышвырнуть вас вон.

К а р п о в (сквозь зубы). Не трудитесь.

Уходит.

### Сцена тринадцатая

Дом Карповых. С и л ь в а причесывается перед зеркалом.

Входит К а р п о в.

К а р п о в. Вы одна?

С и л ь в а. Груня кормит Гордеева супом. Она сама сумела сменить ему повязку.

К а р п о в. Ну, столько лет проработав в доме врача, она многому научилась. Как он?

С и л ь в а. Неплохо, только очень расстроен.

К а р п о в. Чем же?

С и л ь в а. Говорят, что царских детей не удалось спасти из тобольского заточения. По сведениям Степана Сергеевича, государыня сказала: «Я предпочитаю умереть в России, нежели быть спасенной немцами».

К а р п о в. Вот как? А где же сам Симбирцев?

С и л ь в а. Он с детьми ушел в цирк. Все же — что случилось с Анной Николаевной? Куда она исчезла?

К а р п о в. Сильва, давайте поговорим о нас. Мне нужно многое сказать... И, видимо, повиниться.

С и л ь в а. Передо мной?

К а р п о в. Я, не имея на то права, всегда свысока смотрел на вас, актрису любительского театра под псевдонимом Сильва Парусова. Снисходительно взирая на вашу суетность, ваши ребячества, ваши ожерелья и куклы... И только сейчас я понял, что вы всю жизнь давали мне то, чего я страстно желал. Долг мужчины — бороться с мраком и смертью, долг женщины — нести мужу успокоение. Всякий раз, когда я приходил из больницы опустошенный и надорванный, я видел вашу улыбку, слышал журчание вашего голоса, вдыхал ваши фиалковые духи... и через полчаса приходил в себя. Простите меня, Сильва.

С и л ь в а. Вы непривычно сентиментальны.

К а р п о в. Это голодная сентиментальность. Утром я успел съесть только тарелку овсянки. Теперь о деле. У нас есть возможность уехать

через два дня, другой может не быть. Тогда, в прошлом сентябре, я отказал англичанам, отказал им определенно, хотя они дали мне возможность передумать. Я хочу жить и работать в России. Говорить по-русски. Хочу, чтобы мои внуки были русскими. Но теперь я понимаю, что не имел права решать один. Я вижу, что вам плохо в этом городе, что вы мечтаете отсюда вырваться... Еще я вижу, что моим детям здесь небезопасно. Словом, я предлагаю вам уехать. Добраться на поезде до дальневосточной границы.

С и л ь в а (*мечтательно*). Мы поедem на поезде через заснеженную тайгу? Через дикие пустые поля? Правда?

К а р п о в. Да. И, может быть, увидим уссурийского тигра.

С и л ь в а. Я отвечу... Отвечу, как Александра Федоровна, что предпочитаю умереть в России.

К а р п о в. Да... О да, вы правы. Можно начать с чистого листа, никуда не уезжая. Вы простили меня?

Сильва берет руку мужа и прижимает ее к своей щеке. Стук в дверь. К а р п о в выходит в прихожую и открывает дверь. Зритель слышит мужской голос.

М у ж с к о й г о л о с. Георгий Карпов?

К а р п о в. С кем имею честь?

М у ж с к о й г о л о с. Товарищ Солоницын, Губернское управление. Вы подозреваетесь в государственной измене, а потому прошу следовать за мной.

К а р п о в. Для допроса? Или для заключения под стражу?

М у ж с к о й г о л о с. Разберемся на месте, гражданин доктор. Когда дадите показания о вашей работе на иностранную армию и о заграничных доходах.

К а р п о в. Собогазовите подождать три минуты, я попрощаюсь с женой.

К а р п о в входит в комнату. Сильва бросается к нему.

С и л ь в а. Чего они хотят?

К а р п о в. Молчите и слушайте меня. Откройте нижний ящик туалетного столика. Видите маленькую коробочку? Откройте, только молча. Это очень ценный желтый бриллиант, хоть и похож на мелкую стекляшку. Я продал свою долю на маслобойне и вложил вырученные деньги в этот камешек. Он дороже, чем вы думаете. Во всяком случае, вы не умрете с голоду. На время моей отлучки старшей в семье назначаю Полину. (*Целует Сильву в макушку.*) Прощайте. (*Собирается уходить, потом оборачивается.*) Сильва, если я не вернусь, выходите замуж за Гордеева. Он, кажется, славный и честный малый. (*Идет к двери.*)

С и л ь в а (*неожиданно спокойно*). Этого не будет. Ты знаешь, я нестроптива, но если уж бываю упряма, то как сотня мулов. Я не слушаюсь твоего совета.

К а р п о в улыбается Сильве и уходит. Раздается голос: «Спустя два месяца, в ночь с 25 на 26 мая, власть в Ново-Николаевске захватили белочехи, почти не встретив сопротивления властей».

З а н а в е с.

Ангелина СИТНОВА

## **СОБОЛЕВЫ: НЕЗРИМАЯ РУКА СУДЬБЫ**

### От автора

В селе Смоленском Алтайского края хранят память о замечательном советском писателе Анатолии Пантелеевиче Соболеве — яркой личности, мужественном человеке.

Его отец, Пантелей Петрович, занимал здесь в 1930-х гг. высокую должность секретаря райкома партии. Сын всю жизнь чтит отцовское имя и в рассказах о нем часто терял чувство реальности, потому что отец прожил юность, похожую на мистификацию. Отцу-большевику посвятил Анатолий Соболев повесть «Грозовая степь». Никакая книга потом не писалась им так легко, как эта. Она полна неясными чувствами, первыми догадками о сложности мира и читается на едином дыхании.

Соболев был в отца не только характером, но и сложением. Еще девятиклассником, уступая настойчивым просьбам юноши, военкомат направил его в водолазную школу на Байкал. После школы — семь лет службы водолазом в Заполярье, 3 000 часов под водой. Он поднимал затопленные немецкие суда «Гамбург» и «Ганзу». И писал, писал, писал, и море шумело в его книгах.

Первая повесть «Безумству храбрых» — о войне, о водолазах. Затем — «Какая-то станция», «Награде не подлежит», «Якорей не бросать» и др. И всех своих героев настойчиво поселял до войны на Алтае. Часто потом повторял, что, работая над военными повестями, «держал в зрительной памяти простой обелиск с именами односельчан. А имен тех много, очень много. И погибшие незримо стояли рядом».

Теперь он сам лежит в селе Смоленском рядом с этим обелиском, «незримо рядом» с погибшими земляками.

Более 25 лет в селе работает музей его имени, и располагается он в том доме, где в 1930-х гг. прошло детство Анатолия Соболева. Ежегодно в конце июля проходят Соболевские чтения, на которые съезжаются поэты и писатели со всей страны. Местным литературным объединением «Родники» каждый год к Соболевским чтениям выпускается альманах под тем же названием. В каждом томе есть или отрывки из произведений А. П. Соболева, или воспоминания и стихи, посвященные ему.

Не так давно мне посчастливилось найти личные дневники уроженца села Константина Федоровича Измайлова, которые он вел ежедневно, не пропуская ни дня, с 1923 г. по 8 октября 1941 г., когда ушел на войну и пропал без вести.

Многие события, описанные А. П. Соболевым в повестях, нашли отражение и на страницах этих дневников. Рассказ мой пойдет о самом Анатолии Пантелеевиче, о его отце и деде. Их жизнь, полная приключений, трагических фактов и событий, заняла достойное место в творчестве писателя.

### Кочевая жизнь семьи

Деда звали Петром Яковлевичем, бабушку — Александрой Абрамовной, ее выдали замуж за Петра Соболева в 16 лет. Было это в Вятской губернии, откуда в поисках лучшей жизни Соболевы и перебрались на Алтай. В молодости Петр Соболев служил во флоте, побывал в разных странах. В романе «Якорей не бросать» его внук описал, каким был Петр Яковлевич в начале 1930-х гг.:

Дед, уронив красивую, коротко стриженную — чернь с серебром! — голову на руку, затягивал свою любимую:

Ой, по морю, ой, по морю,  
Ой, по морю, по морю синему,  
По синему, по синему,  
По синему, по Хвалынскому  
Плывет лебедь, плывет лебедь,  
Плывет лебедь — лебедушка белая...

Я слушал красивый, еще без старческой надтреснутости, густой бас деда, видел Хвалынское море...

Дед уже плакал, допевая песню, слезы катились из глаз, светлыми дробинками скакали по жесткой, будто из проволоки, раздвоенной бороде — под «Николашку», как говорил сам дед. Несмотря на наши частые стычки и ссоры, дед меня все же привлекал, видимо своей сильной натурой, колоритной, сказали бы сейчас. От него всегда пахло сыромятной кожей, дегтем и самосадом. Под старость дед совсем ослеп, он так и не смог вылечиться от застарелой трахомы, и сколько отец ни возил его в город к докторам — не помогло.



Музей А. П. Соболева, с. Смоленское. Фото А. М. Ситновой



Петр Яковлевич жил после смерти своей жены, по словам Анатолия Соболева, «у сыновей по очереди, но больше всего у нас: пел, молился, гордился сыном и ругался с ним и каждый день велел вести его в баню, парился до полу-смерти, а потом выпивал дома ведерный самовар чаю».

Спал дед на большом дубовом сундуке, на нем и умер в февральский день, «как подобает русскому человеку, христианину — достойно». Ему было 87 лет, а самому Анатолию едва минуло десять, т. е. это был 1936 г. и семья жила в с. Смоленском.

Пантелей Петрович Соболев, отец писателя, родился 20 июля 1897 г. в д. Чудотворихе Ново-Хмелевской волости Барнаульского уезда Томской губернии. Волость эта в 1933 г. переименована в Кытмановский район Алтайского края, а деревня Чудотвориха получила новое название — село Отрадное. В Чудотворихе Пантелей окончил один класс церковно-приходской школы.

В 1929—1930 гг., обучаясь на восьмимесячных курсах районных работников при Сибирском крайкоме ВКП(б) в Новосибирске, Пантелей Петрович сделал попытку описать жизнь своей семьи в начале XX века. Эти записки он затем хранил всю жизнь, а после смерти сына в 1986 г. они вместе с другими документами были переданы родственниками в музей А. П. Соболева в с. Смоленском. Пройдемся по этим запискам...

1906 г. — в семье Соболевых две дочери, два сына-подростка (Иван 13 лет и Пантелей 9 лет) и два грудных мальчика-близнеца.

Подолгу семья на одном месте не задерживалась — из-за этого не имела земельного надела и не входила в сельскую общину. Своей хаты тоже не было — брали внаем старые пустующие дома, где частенько были тусклые окна, земляной пол, грязь и сырость.

Записки Пантелея начинаются с описания очередного переезда семьи на новое место. Вместе с ними тронулись в путешествие еще три семьи — Берестовы, Бредневы и Потаповы (вот откуда взята Анатолием Соболевым фамилия Берестов; в повести «Грозовая степь» он дает эту фамилию главному герою, списанному с его отца).

Много позднее, в 1940 г., Пантелей Соболев обратился в сельсовет д. Чудотворихи с запросом о выдаче ему свидетельства о рождении, однако все церковные метрические книги были изъяты советской властью и уничтожены. Тогда дату его рождения подтвердили земляки, в том числе и Андрей Ильич Берестов, с которым Пантелею довелось в 1906 г. путешествовать по Алтайскому краю.

...По дороге семьи разделились: Соболевы остановились в с. Черемном (ныне Павловского района). Сняли дом, купили корову, Пантелея и его брата Ивана отдали в школу. Старшую сестру Пантелея — Фотинью (ей было 16 лет) выдали замуж за Павла Ивановича Лукьянчикова, крестьянина села Лебяжьего.

Казалось, что все устроилось, но скоро заработанные отцом деньги закончились, платить за учебу стало нечем и братьев отчислили, отобрав учебники. Кочевая жизнь продолжилась.

«Отец был плотник, брал подряды строить дома или другое что-либо и нас тоже учил этой работе. Кроме этого, он учил нас грамоте и пению псалмов», — писал Пантелей в своих записках.

Через пять лет семья вернулась назад в Чудотвориху, где еще два года жили на квартире, пока смогли завести полуземляную избу и лошадь. Женили Ивана, и тот стал строить свое хозяйство. На свадьбу взяли в долг у богатого мужика 15 рублей, которые обязаны были вернуть, но Ивана призвали на военную службу и долг пришлось полгода отработывать в батраках Пантелею.

## Русский солдат во Франции

Весной 1916 г. и Пантелея взяли в царскую армию. Сначала служил бомбардиром-наводчиком при Томской отдельной батарее. Был Пантелей высоким, здоровым, силу имел немалую: «за колесо возьмется — орудие подымал» (А. П. Соболев, «Якорей не бросать»). В феврале 1917 г. в части, где служил Пантелей, была организована команда для отправки во Францию и передислоцирована в Петроград, где Пантелей и застал Февральскую революцию. Несмотря на это, корпус, где он служил, переименованный во 2-ю особую бригаду, в июле 1917 г. попал во Францию и сражался против немцев.

«Вот тогда я был направлен во Францию — проливать свою кровь “за веру и отечество”», — напишет Пантелей в своих записках. Царское правительство «продало» 400 000 русских офицеров, унтер-офицеров и солдат в обмен на недостающее вооружение и боевые припасы.

Русских во Франции встречали с цветами. Форма на солдатах была русская, а боеприпасы — французскими. Кормили овощами, салатом, макаронами. Выдали каски, что было непривычно для русского солдата.

Российские части участвовали в битве при Вердене, и 8 000 русских солдат погибли на полях Франции в годы Первой мировой войны.

После принятия советским правительством Декрета о мире солдаты экспедиционного корпуса потребовали немедленного возвращения в Россию. Однако французское командование заявило, что Декрет о мире не распространяется на русские войска за границей. Антанта рассматривала русских солдат как безликую массу, которую хотела определить если не на фронт, то на трудовые работы.

1-я и 2-я бригады экспедиционного корпуса, стоявшие в Ла-Куртин, подняли мятеж, который был жестоко подавлен. Многих солдат депортировали в Россию, а часть, арестовав, отправили на каторгу в Алжир.

Кстати сказать, в составе экспедиционного корпуса русской армии во Франции воевал и будущий маршал и министр обороны СССР Родион Малиновский. 3 апреля 1917 г. он был ранен в руку и получил французскую награду — два военных креста. В сентябре 1917 г. принял участие в восстании русских солдат в лагере Ла-Куртин. В составе 1-й бригады воевал и русский поэт Николай Гумилев.

А Пантелей Соболев попал в Алжир на каторгу, где пленные строили дорогу в песках под охраной французских солдат. Ночью, правда, никто не охранял, но бежать-то было некуда: кругом пески. И все же трое русских солдат решились на побег!

С двумя земляками, Иваном Благовым и Тимофеем Хренковым, Пантелей бежит с каторги. Все время шли на север, пересекли пустыню, добрались до Средиземного моря, кинулись пить — а вода-то соленая... Ну хоть накупались вволю!

Наткнулся на них пастух с верблюдами, отпоил верблюжьим молоком, лепешек дал. Отсиделись солдаты в какой-то пещере, а потом тот же пастух принес им одежду: своя амуниция износилась. На греческом судне в угольном трюме неделю плыли в Грецию. Кочегары их кормили и давали воду. Еда состояла из маслин и апельсинов. Когда добрались до Греции, отмылись в море и пошагали — с января по ноябрь 1918 г. прошли пешком Грецию, Македонию, Сербию, Румынию, Бессарабию, подрабатывая в селах, и пришли, наконец, в Россию.





**Пантелей Петрович Соболев  
во время службы на Кавказе.  
Фото из фонда музея А. П. Соболева**

В марте 1919 г. Пантелей добрался до родной Чудотворихи, попав из огня да в полымя — 20 мая его снова мобилизовали, теперь в армию Колчака. Служил при Барнаульской батарее рядовым в обозе. С наступающими колчаковскими войсками дошел до Актюбинска, воевал против Красной армии. За агитацию в пользу перехода на сторону красных был арестован и приговорен колчаковцами к расстрелу, но 15 августа 1919 г. бежал вместе с часовым Евлампием Подымиглазовым, своим земляком, которого потом сам, спустя годы, раскулачил.

Целый месяц они скрывались по деревням, а когда в сентябре 1919 г. Красная армия освободила Омск, Пантелей вместе с однополчанином попал в Оренбург, где заболел тифом, и пролежал в военном госпитале в Самаре до октября 1919 г.

Вышел из госпиталя, явился в военкомат — и был зачислен в Туркестанскую армию, которой командовал Г. В. Зиновьев. До мая 1923 г. служил рядовым, окончил курсы командиров на Кавказе, затем курсы дезинфекторов при управлении санитарной части, а в перерывах между учебой на командных курсах Пантелею пришлось участвовать в разгроме армии Врангеля. В 1921 г. Пантелей Соболев был принят в члены ВКП(б).

Принимал он участие и в подавлении Сапожковского восстания в окрестностях Самары — и это еще одна невероятная история! Соболев в составе отряда добровольцев участвовал в подавлении восстания сподвижника В. И. Чапаева — Александра Сапожкова. Весь август продолжались бои с армией Сапожкова, и 6 сентября 1920 г. состоялась решающая схватка, в которой погиб и сам Сапожков.

Заканчивает Гражданскую войну Пантелей командиром роты конной разведки. В память об этих годах он сохранил саблю, о которой его сын Анатолий расскажет в одной из своих повестей.

## Возвращение на Алтай

20 мая 1923 г. Пантелей Петрович Соболев был уволен из Красной армии в запас, но еще некоторое время находился на Кавказе, а затем возвратился домой, в Чудотвориху. Здесь его избрали председателем местного сельсовета. Тогда же он становится кандидатом в члены Верх-Чумышского райисполкома, что дало ему возможность набраться опыта для будущей работы.

В конце 1924 г. партия направляет его в Мариинскую волость в качестве «замчлена» Мариинского райисполкома. С удостоверением, дающим большие полномочия, он разъезжает по волостям, принимая меры воздействия к непла-

тельщикам единого сельскохозяйственного налога. Сельсоветы предоставляли ему сведения о крестьянах, не плативших налог, а также обязаны были «без замедления» выделять бесплатные квартиры и подводы для разъезда по волостям. Для безопасности и устрашения Пантелей Петрович получил личное оружие. Тогда, в суровое зимнее время, переезжая из деревни в деревню, он часто слышал рассказы о знаменитом уроженце этих мест — партизане и бунтовщике Григории Рогове.

В 1924—1925 гг. Пантелей Петрович знакомится со своей будущей женой Елизаветой Карповной Пучковой. Елизавета Карповна родилась в Москве 19 октября 1906 г., ее родители — Карп Фомич и Анна Артемьевна Пучковы. На всю жизнь сохранила Елизавета Карповна свой московский говор, а кроме того, имела 7 классов образования. и по грамотности Пантелей ей уступал, а догнал не скоро... Он окончит 7 классов только в 1949 г. в возрасте 52 лет.

Как Елизавета Карповна попала в Сибирь — неизвестно. Известно лишь то, что у нее была родная сестра — Елена Карповна Беспалова; была она то ли фельдшерницей, то ли медсестрой и одно время жила в с. Смоленском в семье сестры, работая в сельской лечебнице. Последние годы жизни она жила в г. Сочи, а Елизавета Карповна переехала к ней после смерти Анатолия Пантелеевича Соболева.

В декабре 1925 г. Пантелей Петрович с женой переезжают в большое село Кытманово. Здесь Соболев занимает разные должности: кассир финчасти райисполкома, заведующий райсо (районный сельскохозяйственный отдел), райзо (районный земельный отдел) и райфо (районный финансовый отдел).

6 мая 1926 г. в семье Соболевых родился сын — будущий советский писатель Анатолий Пантелеевич Соболев. Он остался единственным ребенком в семье.

Жизнь протекала насыщенно: советская власть в те годы часто меняла руководителей на всех значимых постах, давая поработать всего лишь полгода-год, а затем сразу — новая должность. Особенно это касалось членов партии.

...В конце августа 1929 г. Пантелея Соболева направляют в Новосибирск на восьмимесячные курсы районных работников при крайкоме ВКП(б), где лекции о текущем моменте читал курсантам сам Роберт Индрикович Эйхе, возглавлявший крайком ВКП(б) Запсибкрая, и именно здесь произошло знакомство Эйхе и Пантелея Соболева, отразившееся в будущем на судьбе последнего.



**Пантелей Петрович  
и Елизавета Карповна Соболевы  
в доме в с. Смоленском.  
Фото из фонда музея А. П. Соболева**

На курсах уже 2 сентября 1929 г. Пантелей начал писать воспоминания о своем детстве и юности — это заняло три небольших общих тетради. Записки остались неоконченными: больше у Пантелея не будет столько свободного времени...

В одной из тетрадей есть заметки Пантелея о стихосложении (ямбы, хорей) и как опыт в этом — одиннадцать стихотворений на разные темы. Несколько стихотворений посвящено Великому Октябрю, а одно (шуточное, о борьбе со вшами, одолевавшими курсантов и днем и ночью) 15 февраля 1930 г. было помещено в стенгазете курсов. Пантелей часто писал письма жене, называя ее на французский манер — Лизи, и посылал ей деньги. Стипендии хватало и на покупку одежды для себя. Так, в один из дней он помечает в дневнике, что купил себе костюм 52-го размера за 44 руб. 30 коп.: ему предстояло делать доклад, а надеть нечего...

На курсах Соболев много читал, свои впечатления записывал в дневник. Прочитал классику: «Евгения Онегина» А. Пушкина, «Сын солнца» и «Сердца трех» Джека Лондона, «Утро помещика» Л. Толстого. Только что вышедший роман Ф. Гладкова «Цемент» тоже вызвал у Пантелея большой интерес. И, конечно же, он, как и все слушатели курсов, в октябре 1929 г. подписался на собрание сочинений В. И. Ленина.

Курсы закончились в конце апреля 1930 г., и Пантелей Соболев получил характеристику: «Партийно-выдержан, дисциплинирован. Товарищеское отношение хорошее. Курсы усвоил удовлетворительно, в вопросах ориентируется. Навыки работы над книгой имеет. Активен. Рекомендовать на советскую работу».

Итак, человек, имевший за плечами всего три класса образования (да и то не подтверждено никакими документами) и восьмимесячные партийные курсы, сразу же был направлен в районное село Смоленское Алтайского края на должность председателя Смоленского райисполкома. Такое было время...

## Село Смоленское

В это время в Смоленском районе ускоренными темпами шла коллективизация. Если постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. планировалось завершить ее к осени 1931 г., то секретарь Сибкрайкома Р. И. Эйхе этот вопрос решил ускорить, чтобы закончить коллективизацию на Алтае в 1930 г. Смоленский район был по коллективизации в числе передовых. Но не все было так гладко, как отражалось в отчетах. Именно в апреле 1930 г. здесь распалась одна из первых коммун.

Вот что пишет в своих дневниках К. Ф. Измайлов:

17 апреля 1930 года. Из коммуны выход до сих пор продолжается масса-ми. Народ узнал то положение, что в коммуну загнали насильно, и такая работа по коллективизации насильным путем невозможна, а поэтому выходят и вых-одят масса-ми, забирают свои манатки, скот. Уходят не оглядываясь...

Вчера на заседании совета многих исключили из коммуны, многие сегодня подают заявления о выходе. Готовится группа к выходу из коммуны, коллек-тивно 60 человек или больше. Хотят требовать все имущество, внесенное в коммуну, часть посева. Все сельское хозяйство разорено в связи со сплошной коллективизацией, с насильным вступлением в коммуны. Страдаем и голода-ем... В нынешнем году, видимо, буду без посева. Коммуна ограбила, забрали все зерно, остался без хлеба.

Село Смоленское. 1930 г.  
Базарная площадь.  
Фото из фонда музея  
А. П. Соболева



Председателем райисполкома Пантелей Соболев работал недолго: уже в августе 1930 г. его назначили заведующим орготделом Смоленского райкома партии — фактически это было повышение. В селе Смоленском к 1930 г. уже было электричество, было проведено радио (не говоря о телеграфе, существовавшем здесь с дореволюционных времен), установлено несколько телефонов, работала почта, Госбанк, больница, изба-читальня, нардом, библиотека, три школы, агроучасток (а при нем — метеостанция), улицы получили новые названия, а дома были пронумерованы. Начиналось в это же время строительство трех совхозов: Алтайского, Линевского, Верх-Обского.

Из дневника К. Ф. Измайлова:

4 июня 1932 года. Почта теперь так называется: районный отдел связи, а раньше называлась «Почтово-телеграфная контора». Наше село продолжает электрифицироваться, телефонизироваться и радиофицироваться. Над селом по всем улицам проведены провода телеграфных, телефонных и электрических линий!

Во всех учреждениях, конторах, организациях, предприятиях и по квартирам районных ответственных работников проведены телефоны, радиоприемники и электричество. Дома нумерованы, имеются названия улиц и переулков.

При нардоме, открытом одним из первых в Бийском уезде 14 марта 1920 г., местными артистами-любителями еженедельно ставились спектакли, и одним из ведущих, как бы теперь сказали, артистов был сосед Соболевых — Константин Измайлов. В отдельной тетради он перечислил даты и названия спектаклей, в которых принимал участие: их набралось немало — целых 365!

С 1929 г. в Смоленском функционировал кинотеатр, где немые картины шли регулярно: 20 дней в месяц, по два сеанса в день. Американские картины не были в диковинку. К. Измайлов был большим любителем кино — все названия записывал в дневник. С 1932 г. показ картин сопровождался игрой пианиста.

9 сентября 1931 г. вышел первый номер районной газеты «Ударник полей».

Не проезжали мимо села и знаменитости — так, 31 августа 1930 г. в нардоме выступал известный сибирский баянист Иван Иванович Маланин. Причем это был не первый его приезд, но в этот раз его пригласили специально на от-



крытие нового универсального магазина в селе. Нардом был заполнен зрителями до отказа.

Из дневника К. Измайлова:

31 августа 1930 года. Сегодня к нам в Смоленское приехал баянист Иван Иванович Маланин. Вечером в нардоме концерт. Цены билетам от 50 копеек до 2-х рублей. Билетов заготовлено на 300 человек, на сумму 294 рубля. Билеты распроданы все скоро. Нардом полон. 294 рубля Маланину в карман. Ответраспорядителем вечера являюсь я. По окончании концерта на квартире у Маланина устроили вечеринку. Вино, хорошая закуска, песни, Маланин играл на своем баяне. Ночь темная, погода хорошая. Время провели весело до 4-х часов утра. На вечере были: Маланин И. И., Фильней Александр Николаевич — друг Маланина, балалаечник, Карев, Винокуров, Кыков, Рыжков и я. Прокутили всю ночь!

В 7 часов утра открывались винные лавки, коих было аж три на село: одна — «Центроспирта», вторая — новосибирского АО «Акорт» и третья — местного сельпо. А вот хлеба купить было невозможно... На селе его продажа была запрещена еще с 1924 г., ведь считалось, что крестьяне сами себя могут прокормить, а служащие местных организаций и учителя получали хлеб по пайкам, причем часто даже не печеный хлеб, а муку.

Начало 1930-х — голодные годы не только в районе, но и во всем крае; этот голод ежедневно отмечал в дневниках К. Измайлов. Однажды он пометил, что его мать Анна Федоровна вынуждена была обратиться за куском хлеба к соседям — Соболевым и жена Пантелея Соболева, Елизавета Карповна, дала ей булку. Сами-то Соболевы питались в основном в «закрытой» столовой, находившейся в подвальном помещении райкома партии через дорогу от дома Соболевых. Отменили пайки на хлеб только в 1934 г.

В начале 1930-х началось раскулачивание и борьба с «врагами народа». В число последних попали многие жители района, в первую очередь те, кто не сразу вступил в колхоз, и те, кто высказывался против вступления. Пантелей Петрович по должности вошел в состав местной карающей «тройки». В начале марта 1931 г. начались репрессии по поводу якобы наличия антисоветской группировки в с. Сычевка — смоленский районный партаппарат получил от местного ОГПУ сведения о лицах, участвовавших в сходках. В Сычевке было арестовано несколько десятков человек, в основном малограмотных крестьян от 26 до 67 лет, и 5 июля 1931 г. в Барнауле были расстреляны восемь из них, остальные получили от 5 до 10 лет лишения свободы.

Из дневника К. Ф. Измайлова:

20 мая 1931 года. Среда. Сегодня массовое выселение кулаков из района. Всю ночь и весь день сегодня выселяют: смоленских, точилинских, николевских, колбановских и из прочих сел нашего района. Собралось много народа провожать кулаков. Много разных разговоров, слез, шуму, крику стариков, старух, мужиков, женщин и детей. Милиция всячески старается разогнать толпу, но хлопоты милиции напрасны. В одном месте разгоняют, толпа людей напором прет с другой стороны улицы. Отправляют целыми семьями. Население нашего села в эти дни положительно ничего не делает. Только смотрят на отправляемые партии за партиями. <...>

17 октября 1931 года. Суббота. Единоличники — крестьяне, не вступившие в колхозы, укрывая свой хлеб от сдачи государству (излишки), в потайку

навливают его к продаже своим знакомым по дорогой цене. Пшеницу 10 рублей за пуд, муку 20—25 рублей пуд. Тем самым вредят выполнению плана хлебозаготовок. Также в потайку, воровски режут скот, продают мясо по дорогой цене: килограмм от 2 рублей до 4. Враждебно не хотят сдавать государству и добровольно не вступают в колхозы. Все лишние домашние постройки продают за деньги в зерносовхозы, режут на дрова вполне пригодные амбары, избы, вырубают (у кого имеются) пасеки. Продают лишние телеги, сани, сбрую, лошадей. На вырученные от продажи деньги — пьянствуют целыми неделями, а иногда и месяцами. При разговорах всегда можно слышать от пьяных мужиков: надо пока погулять, попьянствовать, пока не поздно. Все равно пропадать. В колхоз вступишь, гулять не придется, в работу запрягут, имущество отберут. Таковы суждения всех сознательно не вступающих крестьян в колхозы в Смоленском районе. Долгие ночи жители нашего села проводят больше всего в пьянстве: магарычи, крестины, именины — еще не отжившие старые предрассудки. И в воровстве... Воруют теперь мужики сами у себя. Ночами прячут хлеб, режут скот на мясо и т. п. Утром сажают их, а потом и судят. <...>

7 ноября 1931 г. Суббота. Празднование 14-й годовщины Октябрьской революции в с. Смоленском проводится под лозунгом 100 % коллективизации и выполнения плана хлебозаготовок и мобилизации средств на 100 %. А хлебозаготовки на сегодня выполнены только на 37 %. Днем проводится митинг на площади. Участвуют все организации и колхозы села. Погода благоприятная. День теплый. Езда продолжается на санях. Вечером играю на сцене в пьесе «Расплата» в двух действиях. Народом переполнен до отказа. Буфет, лотерея, потом пьянство, драки, аресты. Пьянство вылилось в открытую форму. <...>

14 февраля 1932 г. Проклятая жизнь! Неужели до самой смерти придется получать паек и так жить, как живу я и все другие люди, живущие честным трудом при современной жизни во времена тяжелой индустрии, во время пятилетки? Жизнь становится невозможной! Момент тяжелый переживает бедное крестьянство, объединенное в колхозы в данное время. Недоедание, нехватки хлеба, и обуви, и одежды. Это заставляет бедняков уходить на отхожие заработки ради куска хлеба. Идут неизвестно куда глаза глядят, туда, где дают полкилограмма черного хлеба... Число нищих по селу, просящих кусок хлеба, все больше и больше прибавляется. Подача им сокращается. Нет хлеба! Самим есть нечего! Проваливай дальше! Сами живем на пайке! Эти песни слышны каждый день, каждый час у нас на селе. Везде и всюду, каждый день только и слышишь одни слова: хлеба нет, есть нечего, как будем доживать? Как будто и жить больше не для чего. А всмотришься в жизнь, путем разберешься, жить куда с добром можно. И горевать и плакать не стоит. Паек дают, деньги за работу платят. Вина бери сколько угодно. Живи — не тужи. <...>

24 февраля 1932 г. Среда. Хорошая и благоприятная погода! День ясный, солнечный, тепло. Утром порядочно проспал. На вчерашнем спектакле пробыл до трех ночи. Вчера не выпивали. Нельзя было... Перед спектаклем было торжественное заседание. Приветственные речи, доклады, посвященные 14-летнему юбилею Красной армии. Днем — митинг на площади. Организованным порядком выступили все организации села. С трибуны разносятся приветственные речи! Митинг продолжался два часа. После митинга — манифестация. Играет духовой оркестр, приглашенный из Бийска. По улицам развеваются красные знамена! Только в 1932 году впервые в с. Смоленском так грандиозно и торжественно проходит День Красной армии! <...>

9 июля 1932 года. Суббота. На почте. Снова ненастно, дождик. Коллектив почты уполномочил меня ежедневно получать хлеб на сотрудников. Ежедневно с 7 часов утра и до 10 утра, а то и до 11-ти я занят этим делом — получаю и

выдаю хлеб. Сегодня выдали еще чище: просяной (из лузги). Есть совершенно невозможно. Этот хлеб и в рот не лезет. Во время еды не чувствуется, что кушаешь хлеб. Просто землю или песок. Ну и дожили... Это мы-то, в хлеборобном крае?!

Голодные люди ходят по селу и просят настойчиво, навязчиво, надоедливо до невозможности. Ну, хоть кусочек, крошечку черного хлеба... Их избегают, от них прячутся, запираются на крючок. Закрывают окна, двери, им отвечают через дверь или окно: «Хлеба нет! Подавать нечего! Уходите!» Голодные требуют настойчиво, хоть крошечку, хоть ложечку молока! Хоть луку-батуну... «Ну, хоть дайте водицы попить».

Им в ответ: «Уходите! Вам говорят, уходите! Уходите к черту, вам говорят! Вы надоели, как собаки... Вас сотни, даже тысячи ходят ежедневно... Мы сами голодны, живем на пайке». Плетутся голодные и истощавшие от окна к окну, получая один и тот же ответ...

В местном кооперативе имеется в продаже сахар, масло растительное, чай, папиросы, табак. Это удовольствие, как дефицитный товар, отпускается только: сотрудникам ГПУ, милиции, райвоенкомата, учителям и специалистам. Остальным нет. Вина сколько угодно! Продается в неограниченном количестве и кому угодно!

### Новая должность Пантелея Соболева

6 января 1932 г. Пантелей Петрович на 14-й районной партконференции был избран первым секретарем райкома партии, а утвержден в этой должности 4 марта того же года Западно-Сибирским крайкомом ВКП(б).

Из дневника К. Ф. Измайлова:

6 января 1932 г. Среда. Сильный и крепкий мороз. Сегодня готовят нардом, украшают лозунгами, плакатами, развешивают всякого рода диаграммы. Развесили 35 метров красной материи на грязную, запачканную декорацию. Сегодня открывается 14-я районная партийная конференция.



Село Смоленское. 1 мая 1932 г. На трибуне — Пантелей Соболев.  
Фото из фонда музея А. П. Соболева

19 января 1932 г. Пантелей Соболев едет в Новосибирск делегатом Западно-Сибирской краевой партийной конференции с правом решающего голоса. На этой конференции произошла еще одна встреча с Р. И. Эйхе. А первым секретарем Пантелей Соболев избирался трижды: на 14, 15 и 16-й конференциях Смоленского райкома ВКП(б).

За время работы в должности заведующего орготделом, а затем — первого секретаря Пантелей Петрович не раз получал выговоры и взыскания. Так, 2 февраля 1931 г. ему был вынесен выговор за отсылку больного в лечкомиссию без предварительного согласования. Затем Сибкрайком ВКП(б) вынес ему строгий выговор за непринятие мер по своевременной хлебосдаче, затем последовало особое предупреждение бюро крайкома за плохую работу по хлебозаготовкам в районе.

Но были и поощрения: 6 августа 1933 г. по представлению Запсибкрая Смоленское ОГПУ вручило Пантелею Соболеву «как стойкому руководителю райпарторганизации» в подарок револьвер-пистолет системы Коровина за № 38083. Перед отъездом из Смоленского в апреле 1937 г. Пантелей Соболев обменял там же в ОГПУ этот пистолет на браунинг за № 438158.

Во исполнение Постановления ЦК ВКП(б) от 10 декабря 1932 г. о проведении чистки членов и кандидатов партии с 1933 г. проходила чистка и в смоленской районной парторганизации. Все происходило как бы на демократической, гласной основе: все жители района имели право объявить свои претензии к тому или иному партийцу, а специальная комиссия принимала уже решение об оставлении в рядах ВКП(б) или об исключении из партии.

Из дневника К. Ф. Измайлова:

24 мая 1933 года. Четверг. Заглянул мельком в свежие газеты, где узнал, что по Запсибкраю начинается чистка партии с 15 мая. Создана уже краевая комиссия по чистке, создаются районные комиссии. <...>

13 августа 1934 года. Понедельник. В 7 часов вечера в помещении нардома начинается «чистка» партии. Сегодня проходят чистку только два коммуниста: Голагузов и Волотова. Из выступлений видно, что Голагузова из партии исключат, Волотову оставят. Голагузов при чистке скрывает свое прошлое, социальное положение и службу у Колчака. Зал нардома полон до отказа. Вход свободный для всех. Присутствую до 12 часов ночи. <...>

18 августа 1934 года. Суббота. До 12 ночи сегодня снова пробыл на «чистке» партии. Второй день проходят «чистку» коммунисты милиции. Сегодня «чистят» Кошкарева, начальника милиции. Больше полутора часов только задавали ему вопросы из зала. Зал переполнен. Больше трех часов шли прения. Большинство выступавших — ответственные работники. <...>

22 ноября 1934 года. Четверг. Опять весь день и всю ночь прошлую дует сильный снежный буран. Везде снегу насадило горы. Чувствую себя очень скверно весь день. Вечером с трудом провел время на репетиции. На «чистке» не смог сидеть. Сегодня проходили «чистку»: Зарва, Пантелей Соболев и другие коммунисты.

На этой чистке Пантелею Соболеву пришлось отчитываться по многим вопросам, припомнили ему и сгоревший райком партии.



## Пожар

В ночь на 16 января 1934 г. в селе произошел пожар: горело здание райкома партии. К четырем часам утра все было кончено. Вот как описал этот пожар Константин Федорович Измайлов:

16 января. Вторник. Пожар. Сегодня в 4 часа утра сгорело здание райкома партии. Все, что было в райкоме: обстановка, телефоны, мебель, шкафы с бумагами, делами, книгами — все сгорело. Удалось отстоять только один денежный, секретный ящик. Через окно, и то стоило больших усилий и затруднений тащить прямо из огня, задыхаясь в дыму. Горело не больше часу времени. Был сильный мороз. Погода тихая, ветра не было. Соседние с райкомом постройки отстояли народом. Огонь не пропустили дальше. Пожарные машины быстро застывали от сильного мороза и холодной воды. Пожар возник из низу: внизу была «закрытая» столовая райпотребсоюза. Столовая была на замке и без ночного сторожа. Так все и сгорело. Было и нам жарко, потому что живем по соседству. После работы на пожаре весь промерз, устал и спал очень мало. Чувствую себя на работе в канцелярии на почте слабовато, устаю. На месте, где был райком, остались одни обгорелые развалины, угли, головешки и камни...

О том же пожаре пишет Анатолий Пантелеевич Соболев в повести «Грозная степь»:

Среди ночи кто-то нещадно заколотил по раме. Стекла жалобно звякали, готовые вот-вот рассыпаться. Первое, что я увидел спросонья, — это пляшущие по стенам комнаты кровавые блики. В окне полыхало багровое пламя. Было светло как днем... Я выскочил за ворота и тут только понял, что горит райком. Он был напротив, через проулок. Я застыл на месте. Из окон отцовского кабинета валили дым и пламя... Площадь перед райкомом была пуста... Вскоре приехали пожарные. В бочках не оказалось воды. Поскакали на Ключарку. Потом качали помпы и жидко брызгали из брандспойтов... <...> Вот среди пламени что-то зачернело в окне, и через подоконник перевалился окованный железом купеческий сундук. Это отцовский сейф. В нем важные документы. Едва смельчаки успели выскочить, как рухнул потолок. Огненные брызги тугой струей ударили вверх и в стороны. Стало еще ярче и жутче...

Теперь известно, что одним из смельчаков был сосед Соболевых К. Ф. Измайлов...

Накануне пожара Пантелей Петрович привез из Бийска Елизавету Карповну, перенесшую тяжелую операцию, и снова уехал в Бийск в колхозную школу; вернулся в село только на следующий день. Из дома Соболевых вынесли все вещи — боялись, что огонь перекинется на дом. Елизавета Карповна, которой нельзя еще было вставать, при пожаре вышла из дома, и у нее лопнули послеоперационные швы. Ее унесли в дом председателя райисполкома Лазарева, и здесь на кухонном столе хирург местной больницы Антонин Павлович Успенский наложил швы заново. В рассказе «Тополиный снег» Анатолий Соболев вывел этого хирурга под именем Семена Антоновича Заовражного.

В огне сгорела опись имущества раскулаченных, поэтому сразу после пожара начали искать виновных. Нашли быстро — ими оказались две женщины, поварахи из «закрытой» столовой: они не потушили огонь в печах, а сторожа при райкоме не было (милиция-то напротив!).

Уже 20 января 1934 г. Смоленский нарсуд осудил поварих: одна, по фамилии Уразметова, была приговорена к двум годам лишения свободы, другая —

Коптева — к одному году принудительных работ за неосторожное и невнимательное отношение к своим обязанностям.

Через какое-то время из Новосибирска приехала комиссия разбирать дело о пожаре, члены комиссии пришли домой к Соболевым. Пантелей лежал дома больной, а до этого в больнице: он был отравлен мышьяком, подсыпанным в муку, из которой напекли лепешек, которые Пантелей очень любил. Отхаживал его в больнице все тот же Антонин Павлович Успенский.

Комиссия начала пугать Пантелея лишением партбилета за пожар, за сгоревшие документы, за то, что затягивает с ликвидацией единоличных хозяйств, но во время разбирательства в село приехал Р. И. Эйхе, который и встал на защиту Соболева — в результате за пожар вынесли Пантелею только выговор, партбилет не отобрали.

Первый секретарь крайкома Эйхе в село Смоленское приезжал неоднократно; об этом писал в повести «Грозовая степь» и Анатолий Соболев. Он считал, что его отец и Эйхе чем-то были похожи: «Оба высокие, в длинных кавалерийских шинелях и оба идут размашистым быстрым шагом. Только отец пошире в плечах и потяжелее на ногу». Шинель Пантелею подарил сам Эйхе.

...А на месте пожарища буквально сразу же началось строительство нового здания для райкома партии, к апрелю 1934 г. оно было выстроено (12 комнат), а летом того же года работники райкома в него переехали.

## Разрушение церкви

Из дневника К. Ф. Измайлова:

1 мая 1932 года. Воскресенье. Пасха. Погода неблагоприятная. День пасмурный и очень холодный. Погода сухая. В 12 часов дня на площади многолюдный митинг. Говорят приветственные речи: секретарь райкома партии Пантелей Соболев, предрика Алмакаев и много других товарищей от местных организаций. Говорят о достижениях, о пятилетке, об уравниловке, обезличке, о 100 % выполнении сева. А о том, что голодают рабочие, колхозники, служащие (не говоря уже о единоличниках), — не говорят...

После митинга полилось рекой вино по селу! Запили и ответработники, коммунисты, служащие, рабочие, колхозники, единоличники в честь 1 Мая! И сегодня, кстати, первый день Пасхи.

Церкви в районе еще стояли, и службы в них проходили вплоть до 1934 г., когда из-за нехватки помещений их стали использовать в качестве зерноскладов.

В рассказе «Тополиный снег» Анатолий Соболев пишет о высокой сельской церкви, «куда влезли однажды мы (мальчишки. — А. С.) и впервые испытали чувство высоты, задохнулись от счастья и страха и увидели под нами село... Мы долго не решались тронуть колокол, висевший на перекладине, белой от голубиного помета, а когда тронули, низким утробным гудом отозвалась медь».

Из дневника К. Измайлова:

7 января 1936 года. Вторник. Погода установилась хорошая, ведренная. Дни ясные, солнечные и не очень холодные. Морозы средние. День, как всегда, рабочий, и первый день Рождества. По-старому сегодня Рождество (25 декабря). Никем не празднуется. Не слышно, как бывало раньше, с 12 ночи колокольного звона. Колокола с церковью уже давно сняты, церкви заняты под складские помещения, хлебом засыпаны. Не ходят попы по домам

с крестами. Но пьянство сохранилось до настоящего времени... Многими еще верующими справляется Рождество, только уж не в духе ради Рождества, а ради того, чтобы найти причину, с чего начать пьянствовать. Попьем, поживем, а потом и померем, а там всему конец... <...>

12 апреля 1936 года. Воскресенье. Все еще зима. Нет признаков весны, холод. По-старому сегодня Пасха, большой праздник (это было раньше). В настоящее время день обычный, выходной. Торгуют магазины, базар. Работают некоторые учреждения.

Полдня простоял у церкви. Кресты сегодня снимают с церкви. Один крест сняли. Народу собралось очень много. У всех внимание сосредоточено только на колокольню. У самого креста с топором в руках, обвязанный веревками, ломает крест некто Сергиенко, молодой парень, учитель, бывший комсомолец. Крест сняли. Народ стал расходиться по домам...

Момент снятия креста с церкви Анатолий Соболев описал в «Грозовой степи». Аркадий Сергиенко выведен здесь под именем Васи Проскурина. В 1970 г. Аркадий Иванович Сергиенко, уроженец села Смоленского, будучи в отпуске, по рекомендации своей бывшей учительницы Калерии Анатольевны Шебалиной прочитал эту повесть и узнал себя в ней. Стал искать встречи с Анатолием Пантелеевичем, и между ними завязалась переписка.

Решение о снятии креста и закрытии церкви окончательно было принято райкомом партии, конечно не без участия Пантелея Соболева. Смоленскому сельсовету было поручено снять кресты и начать разбирать церковь. Сам Пантелей Соболев мог также находиться в толпе, как и его сын Анатолий, следить за этим событием, а мог смотреть и из окон райкома партии, откуда церковь была хорошо видна.

Сразу после Пасхи церковь начали разбирать — делали это аккуратно, спускающая кирпичи по деревянным желобам, используя сразу в дело: в это же лето из церковного кирпича был построен в селе роддом (теперь это поликлиника). Из этого же кирпича построен ветучасток и торговая баня, служившая селу более 50 лет.

В октябре того же 1936 г. чекисты «вскрыли» в Смоленском новую контрреволюционную организацию. Начальником райотдела НКВД в это время служил младший лейтенант Картушин. В одном из писем Аркадию Сергиенко Анатолий Пантелеевич интересовался: не знает ли Аркадий о судьбе Картушина? Неспросит он спрашивал об этом. Видимо, что-то отец ему рассказывал о Картушине, который выведен в «Грозовой степи» под фамилией Мамочкина, а в романе «Якорей не бросать» под именем Картузина. В этом романе Картузин застрелился.

Сначала семья Соболевых жила на улице Школьной, 83, а в 1932 г. Пантелею Петровичу, как первому секретарю, выделили большую по тем временам квартиру по ул. Советской (теперь музей А. П. Соболева). С этого времени Измайловы и Соболевы становятся соседями.

В селе Смоленском Анатолий Соболев пошел в первый класс и свою первую учительницу Калерию Анатольевну Шебалину помнил всю жизнь, переписывался с ней, посылал ей свои произведения, навещал ее, когда приезжал в село.

Несколько раз с женой и сыном Пантелей Соболев отдыхал на курорте Белокуриха, благо тот совсем рядом. Была мечта у Пантелея: построить в Белокурихе пионерский лагерь для всех детей района. Видимо, эта его мечта частично осуществилась: его сын вспоминал, что каждое лето бывал там с ребятами из села.

Из дневника К. Ф. Измайлова:

2 июля 1930 года. Суббота. Ново-Белокуриха. Как следует выспался, отдохнул. Встал в 8 утра. Порядочно поспал с дороги. Остановился на квартире у почтового агента. День жаркий.

С 9 утра и до двух дня сижу за работой в сельском Совете. В два часа выхлопотал себе обед. Завхоз курорта тов. Михайлов один обед разрешил. Обедаю в санаторной столовой. Обед из трех блюд, лучше и быть не может: первое — суп с вермишелью, второе — жареное мясо с подливом и молочная каша, третье — сладкое. Наелся досыта. Потом отдыхаю два часа. В половине пятого иду в горы, иду на одну из высоких гор, которую видно из Смоленского.

Красота. Неопишуемая красота здесь. Долго мучила жажда, пить страшно хотелось: от воды я поднялся высоко в горы. Свое желание я исполнил: побывал в прекрасное время года на курорте Белокуриха, походил по крутым горам, полазил по камням. Был на Церковке. Был далеко от курорта в глухом ущелье между крутых высоких гор. Путь здесь только пеший и на верховых не проберешься. Ужинаю в столовой курорта. В саду играет музыка, массовое гулянье отдыхающих. <...>

15 июля 1936 года. Среда. День ненастный сегодня. После обеда линул такой сильный [дождь], какого не было еще этим летом: лил как из ведра. Под вечер гремит гром со всех сторон, молнии сверкают. Утром сегодня к 7 часам была истоплена своя баня. Это по случаю отправки Володи в лагерь на курорт Белокуриха. Сегодня утром он со школьниками 4-й группы уехал на 20 дней в пионерский лагерь. Поехали все школьники на автомашине.

Константин Измайлов говорит здесь о своем племяннике, будущем поэте Владимире Алексеевиче Измайлове, который после ранней смерти отца, родного брата Константина Федоровича, воспитывался в его семье. Володя Измайлов — одноклассник Анатолия Соболева и его одноклассник. Писать он начал еще в школе, первые стихи публиковала местная газета.



На курорте Белокуриха. 1930 г. Фото из архива А. М. Ситновой



Семья Измайловых дала Родине не только писателя, но и знаменитого на весь мир музыканта — Льва Николаевича Михайлова, кларнетиста и саксофониста. Матерью Льва была младшая сестра Константина Измайлова — Анна Федоровна. Маленьким мальчиком Лев Михайлов приезжал в село Смоленское, навещал свою бабушку и тетю, да и в зрелые годы вместе с двоюродным братом Владимиром Измайловым бывал здесь.

Богата оказалась смоленская земля на творческих людей. Надо сказать, что одновременно с Соболевыми, летом 1930 г., в село приехал писатель Александр Михайлович Демченко. Он окончил учительские курсы, получил направление в Смоленский район, а отсюда — в соседнее село Песчаное учителем, а затем и директором школы.

Пантелей Соболев и Александр Демченко были хорошо знакомы. Стихи и небольшие рассказы Демченко также печатала на своих страницах местная газета. В 1938 г. Демченко был арестован и получил восемь лет лагерей, но через четыре года в разгар войны был освобожден и попал на фронт. После войны он вновь возвратился в Смоленское, поселился с семьей на ул. Школьной, в доме, где до 1932 г. жила семья Соболевых.

### Последний год в селе Смоленском

В мае 1937 г. Эйхе вновь был в Смоленском районе. Из дневника К. Ф. Измайлова:

12 мая 1937 года. Среда. День необыкновенно хороший, теплый, тихий и ясный. Днем определенное время просидел за основной работой в Госбанке. После опять до потемок работал дома — в огороде копал. В эти дни в наш район приезжал секретарь крайкома тов. Эйхе. Побывал в некоторых селах и, говорят, на колхозных полях. Вчера в райкоме партии проводил совещание с председателями колхозов. Кое-кому дал по заслугам.

В этот приезд Эйхе предупредил Пантелея Соболева, что на него поступают доносы, советовал уехать из села и сам же отозвал его в Новосибирск. Сменивший Пантелея на посту первого секретаря Зарва выдал ему удостоверение о том, что он отзывается из смоленской парторганизации в распоряжение крайкома ВКП(б).

Когда семья Соболевых уже была готова к отъезду — связаны узлы, набиты чемоданы, зашита в мешковину швейная машинка Елизаветы Карповны — на следующий день собирались уезжать, — в дом пришел Картушин, начальник НКВД, с которым Пантелей крепко дружил. Отозвав Пантелея на улицу, он намеками дал понять, что уезжать надо немедленно. И в тот же вечер Соболевы уехали.

На переправе через реку Катунь у с. Катунского уговорили паромщика перевезти их на другой берег. Тот долго отказывался (паром не ходил после 10 часов вечера), но потом согласился. В Бийске переночевали и утром поездом уехали в Новосибирск. Их никто не преследовал.

Несколько месяцев Пантелей Соболев жил с семьей в Новосибирске, заведовал сектором кадров Запсибкрайздрава. В этом тоже посодействовал Эйхе, который руководил краем до осени 1937 года. В сентябре 1937 г. Пантелея



Слушатели партийных курсов в Новосибирске. А. П. Соболев сидит первый слева. 1929 г. Фото из фондов музея А. П. Соболева

переводят в районное село Болотное Новосибирской области — исполняющим обязанности председателя райисполкома.

Село Болотное — железнодорожная станция Томской железной дороги. Здесь семье дали огромный дом из шести комнат. Занимали только две, четыре остальных пустовали. До них в этом доме жил врач, арестованный по линии НКВД. В одной из комнат стоял большой шкаф, набитый книгами. Анатолий Соболев увлекся чтением и читал все подряд.

Пантелей Петрович, как председатель райисполкома, постоянно был в разъездах, и жена с сыном неделями жили одни в большом доме. На станции было беспокойно: ходили слухи о бандах, грабили квартиры у соседней.

У Пантелея Петровича что-то не ладилось на работе, возвращался всегда хмурый, усталый, жаловался, что район запущен, зерно хранить негде, кормов может не хватить. Если начнется падеж скота — голову снимут.

И вот 26 января 1938 г. Соболев был освобожден от должности председателя райисполкома с формулировкой «по болезни». С этого времени в его биографии появляются «темные пятна». Четыре месяца после увольнения он не работает, действительно болеет. А в апреле 1938 г. арестовывают Р. И. Эйхе...

Соболевы остаются жить в Болотном. Пантелей работает директором местной колхозной школы, Елизавета Карповна вечерами учится в этой же школе в 7-м классе. Сын Анатолий оканчивает здесь 6 классов.

29 июня 1939 г. Пантелей Соболев увольняется с должности директора школы, как сказано в трудовой книжке — «вследствие переброски на работу в г. Сталинск» на основании распоряжения Новосибирского обкома ВКП(б). Это была только формулировка, на самом деле смена места жительства давала возможность уйти от присмотра органов НКВД.





Соболевы переезжают в Сталинск, поселяются на его окраине в бараке, где жили какие-то родственники. Пантелей несколько месяцев не работает, но наконец устраивается в сентябре 1939 г. «ответисполнителем», т. е. экспедитором, в цех ширпотреба Кузнецкого металлургического комбината им. Сталина. Появилась надежда получить квартиру. Соболев ездил по всему Советскому Союзу, закупая и отправляя мелкими партиями по железной дороге наждачные круги, полотна ножовок и другие необходимые материалы и инструменты для нужд завода.

Анатолий Соболев сразу же пошел в очередной класс школы, увлекся рисованием, авиацией. В стране уже чувствовалось дыхание войны. Было голодно, не хватало хлеба. «По ночам люди отстаивали в огромных очередях и в стуже — усталые, плохо одетые. Стояли со взрослыми и дети», — писал потом Анатолий Соболев в повести «Предгрозь».

В последующие годы места работы Пантелея Петровича меняются часто. Полгода он председатель артели, затем — уполномоченный по заготовкам. Снова разъезды — теперь уже по сбору металлолома для нужд фронта. Война была в полном разгаре. Пантелея несколько раз вызывали в военкомат, признавали годным к строевой службе, но в 1943 г. выдали бронь. На войну он не попал.

Зато сын Анатолий, ученик 9-го класса, подает заявление в военкомат, и там уступают просьбам высокого, стройного, крепкого парня — направляют хотя и не на фронт, но в водолазную школу на Байкале.

Во время войны и после Пантелей Петрович продолжал работать уполномоченным по заготовкам вплоть до 1954 г., но квартиру семья так и не получила. Купили свой дом в районе Сад-Города на улице Верхне-Восточной, № 1. Елизавета Карповна нигде не работала.



Памятник на могиле А. П. Соболева  
в с. Смоленском. Фото А. М. Ситновой

24 июля 1945 г. Пантелей Петрович был награжден орденом Отечественной войны II степени. В 1949 г. в возрасте 52 лет он оканчивает семь классов школы рабочей молодежи.

В 1950 г. ему было присвоено персональное звание «Советник заготовительной службы 2-го ранга», в 1951 г. дали медаль «За трудовое отличие», дважды избирался Соболев депутатом Кузнецкого районного Совета теперь уже города Новокузнецка, бывшего Сталинска.

В 1953 г. П. П. Соболев был признан инвалидом III группы (пенсия 99 рублей). Стал часто болеть, прогрессировал полиартрит, появилась глаукома. В следующем году он обратился в бюро Кузнецкого

райкома КПСС Кемеровской области с просьбой о назначении ему персональной пенсии. Однако в этом ему было отказано. Пантелей Петрович в это время работал начальником отдела заготовок молкомбината.

20 июня 1957 г. Соболеву Пантелею Петровичу исполнилось 60 лет. В его трудовой книжке появилась последняя запись: «Освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на пенсию по старости». В декабре 1957 г. Пантелей Петрович умирает после операции по удалению аппендикса. По некоторым воспоминаниям — из-за халатности врачей, оставивших в операционной ране инородное тело.

Елизавета Карповна пережила мужа на 33 года и умерла в 1990 году в г. Сочи.

Похоронили П. П. Соболева в Новокузнецке. Его сын Анатолий Пантелеевич очень жалел в последующие годы, когда стал признанным писателем, что не дождал отца до этого и не увидел его книг. Отец не успел прочитать ни одного его произведения, хотя самые первые небольшие рассказы Анатолий Пантелеевич начинал писать при его жизни. Тогда отец подарил ему большую амбарную книгу и сказал: «Пиши, может, и правда что-то получится».



---

Людмила ЯКИМОВА

## МЕМУАРЫ УЧЕНОЙ ДАМЫ\*

### Новосибирск. Академгородок

Прошло пятьдесят лет моей жизни в Новосибирске, точнее — в новосибирском Академгородке. Острословы называют его «Акадэмдеревней». Жизнь здесь внешне подобна бытию сельского жителя — и своей погруженностью в мир природы, и сближенностью мест жилья и работы... Однако велико внутреннее своеобразие этой формы жизнестроения. Не ошибусь, если скажу: притягательность Академгородка как объекта разного рода нарративов — научно-социологических, публицистических, мемуарных, художественных и т. д. — бьет рекорды. Присоединяя свои записки к неисчислимому сонму текстов об Академгородке, я не скрываю, что в моем видении прожитого пятидесятилетия нет ощущения последовательного хода жизни. Люди, встречи, события, успехи, неудачи, радости, утраты, планы, цели, надежды, интересы, ошибки, просчеты и обретения — все это так крепко связано, сцеплено, переплетено и сплавлено, так неотделимо отпечаталось в фактуре личности...

О фокусах и капризах памяти: если в отношении Горного Алтая я — до мельчайших деталей, до щербатой поверхности деревянного тротуара — помню даже свой первый шаг, который сделала по его земле, спрыгнув со ступенек автобуса, то как произошло прибытие нашего семейства в Новосибирск — не помню совершенно. Как будто не было дороги, забот о детях, хлопот о багаже, как будто какая-то неведомая и невидимая сила взяла и переместила меня из одного жизненного пространства в другое. Память о жизни в Академгородке начинается сразу с квартиры, куда нас поселили в ожидании собственной жилплощади, в полногабаритном доме в конце Морского проспекта, где так же временно, тоже в ожидании переезда в свою квартиру уже жила семья экономиста Селина, с которой тождественность бытовой ситуации на короткое время сблизила нас.

Они съехали раньше, и тогда я поинтересовалась: а почему бы нам здесь и не остаться, на что мне было вразумительно объяснено, что полногабаритные квартиры положены семьям сотрудников в ранге не ниже докторов и завлабов. Для членкоров и академиков «положены» были коттеджи, которые тоже были ранжированы и по месту расположения, и по общей кубатуре, и по внутренней планировке. Словом, квартирные сценарии оказались прописаны довольно четко, в соответствии с чем — по мере повышения в степенях, званиях и долж-

---

\* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 4, 5.

ностях — нам предстояло переселяться из одной квартиры в другую трижды, пока мы не оказались в доме по улице Терешковой, в котором сейчас я живу в трехкомнатной полногабаритной квартире одна, вызывая по этому адресу такси, чтобы в присутственные дни приехать в ИИФФ. Многие таксисты знают этот маршрут, привычно осведомляясь: «На работу?» или, наоборот: «Домой?» Академгородок оправдывает свое прозвище «Акадэмдеревни»: здесь, как в деревне, тесен круг общения и деловые отношения неизбежно переходят в разряд знакомства, дружбы, семейственности.

Ожидание своей квартиры не затянулось: в скором времени мы переселились на Весенний проезд, 4а. Это была новенькая «распашонка», где то ли холл, то ли большая прихожая вела в две разделенные узеньким коридорчиком комнаты. Маленькая кухонька, совмещенный санузел... Про такие квартиры, именуемые впоследствии «хрущобами», ходил еще какой-то анекдот про «совмещение потолка с полом» и «узость туалета в бедрах», но у меня, прошедшей в Горно-Алтайске муки квартирного неблагоустройства, ни повода, ни желания предаваться квартирным рефлексиям не было. Правда, при непосредственном обживании квартиры пришлось столкнуться с такой особенностью малогабаритки, как ее беспредельная звукопроницаемость: и не столько настораживало то, что беспрепятственно слушают за стенкой тебя, сколько раздражала обреченность на выслушивание другого.

Академгородок того времени, когда мы приехали — а это было 1 сентября 1965 года, — полнился животворной силой, жил предвестием грядущих перемен: плотная атмосфера футуристических перспектив и ожиданий буквально окружала его. Реальность большого будущего была зримой и осязаемой. Сегодня и завтра смыкались и переплетались, залогом этой неразрывности была неотторжимость от мира природы как таковой, остро осязаемым было понимание естества, натуры самого человека. Поэтому и улицы назывались здесь не именами вождей и революционеров, а дышали атмосферой жизнотворной романтики: улица Ученых, Морской проспект, бульвар Молодежи, Цветной, Весенний, Детский проезды, Жемчужная, Рубиновая, Золотодолинская... И кафе «Под интегралом», «Улыбка»...

Вспоминая это время, не могу преодолеть пафоса каких-то первородно-адамистических чувств. Но они не придуманы: так было! Основной контингент научно-исследовательских институтов составляла молодежь, молодые семьи были главным населением городка. По вечерам, когда детвора возвращалась из садиков и школ, ее веселый птичий гомон наполнял околodomное пространство. Куда ни оглянься, всюду они скачут через скакалку, бьют мячиком об стену, играют в классики. Их загорелые спинки и головки в панамках, словно грибы в лукошках, переполняют песчаницы. Много чаще, чем сегодня, мелькали среди прохожих фигуры беременных женщин; прогуливающиеся с младенцем в коляске или на руках у папы молодые пары привычно вписывались в картину вечернего или воскресного Академгородка.

Интенсивно внедрялись новые формы обучения и воспитания детей, организации их отдыха и досуга. С течением времени приобрела широкую известность созданная по инициативе М. А. Лаврентьева знаменитая ФМШ<sup>1</sup>, функционировал КЮТ — клуб юных техников, возник клуб «Калейдоскоп», стали привычными специализированные школы...

<sup>1</sup> Физико-математическая школа им. М. А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете.



На всю страну прогремели тогда такие формы организации общественной самодеятельности, как клуб «Под интегралом», общество поэтов «Гренада», производственное объединение «Факел». Среди ученых городка было много не просто любителей книги, но настоящих библиофилов и библиофагов, были и собиратели самиздата.

На работу предпочитали ездить на велосипедах: вдоль Морского проспекта была проложена велосипедная трасса. Около домов, рядом с детскими площадками, привлекавшими разнообразием игровых забав, располагались турники, столы для пинг-понга, волейбольные площадки. По утрам многие бегали трусцой. Квартирная жизнь выплескивалась на улицу, соседство приобретало вид коммунального общежития, но уже в той добровольно-непринужденной форме, которой не знал коммунальный быт пореволюционного времени.

Спортивное рвение не остывало и зимой: на лыжи вставали и стар и млад, и студенты, и академики; ходили целыми семьями, охотно участвовали в кроссах. Спортивным центром зимой становилась лыжная база им. Алика Тульского: лыжная трасса там была многокилометровой, хорошо освещенной и даже контролируемой спасателями. Академгородок был окружен лесной глушью, затеряться в которой зимой, отступив от проложенной лыжни, было опасно. Не уходит из моей памяти случай, когда, поддавшись уговорам внука Никиты, я на свой страх и риск отпустила его покататься «всего на полчаса-часик»... Переоценив свои мальчишеские силенки, он ушел так далеко, что на обратном пути, сломленный усталостью, свалился в снег, и именно спасатели подобрали его и на своем снегоходе привезли к себе, напоили горячим чаем. Мобильников тогда не было. Прождав «полчаса-часик», я подняла тревогу. Дед, спешно сорвавшись с работы, со своими сотрудниками из Института экономики прибыл на лыжную базу, где и обнаружил отогревающегося чайком внука...

В Академгородок я приехала, подчиняясь больше обстоятельствам, сложившимся в жизни мужа, но быть просто женой не значилось в моих планах, не значилось по определению, по всей логике пройденного пути. В преподавательской работе виделось уже не средство заработка, а судьба, предназначение. Поэтому озабоченность своим профессиональным будущим не покидала меня.

Более или менее разобравшись с квартирными делами и определением детей в школу и детсад, я занялась своим трудоустройством. В университете места мне не нашлось, оставался пединститут, туда однажды я и отправилась. Кафедрой литературы заведовала тогда Анна Александровна Богданова. Мы видели друг друга и раньше, встречались на совещании заведующих кафедрами литературы в Москве, но лично знакомы не были.

Обстановка в институте была какая-то унылая, казенная, веяло запустением: студенты еще не вернулись с картошки; разговор как-то не задался.

— Вакансия есть... Но как будете работать, не представляю...

— Почему?

— Но вы же заведовали кафедрой... Неудобно... Будете претендовать на мое место...

Разуверять ее мне не захотелось. На обратной дороге автобус наполнился до отказа, посадка происходила бурно, с толкотней и криками. Домой я вернулась усталая, раздраженная, расстроенная пятном на габардиновом плаще. И это ждет меня на протяжении многих лет?

Привыкшая в Горно-Алтайске чуть ли не к пятиминутной близости места работы от дома и помнившая трамвайные тяготы студенческо-аспирантских лет,

я хорошо представляла, сколько времени при таком образе жизни уйдет в пустоту. Придется поступиться манерой одеваться, изменить внешний облик. Туфли на шпильках, шляпы с полями, тонкие перчатки и пр. с автобусом несовместимы, на долгую дорогу и климатические капризы не рассчитаны.

Скрыть отчаяние от Евгения Дмитриевича было трудно, все он понял и без слов. В пединститут я больше не поехала. Обоим стало ясно, что следует попытаться найти работу, более или менее близкую к моему профессиональному профилю, здесь, в Академгородке. На другой день состоялся его разговор обо мне с директором Института экономики Г. А. Пруденским, через день я была приглашена на собеседование и в результате этих недолгих процедур принята в штат отдела научной информации на должность младшего научного сотрудника.

Встретили меня здесь настороженно: в отделе, как я потом увидела, и своей людской пестроты хватало, а тут опять непонятное явление. «Кто она? Филолог?! А... жена Малинина...» Словом, участи «жены» при устройстве на работу в Академгородке я не миновала и, как «просто жена», а не самоценный работник, столкнулась с отношением, где снисходительность граничит с униженностью.

Отделом заведовал Н., образ которого в памяти предстает смутно. Мое появление здесь совпало с возвращением его жены из роддома. Сотрудники скинулись и приобрели в подарок какую-то погремушку, которую следовало почему-то передать по назначению незамедлительно. Я слышала конец телефонного разговора: «Да, ладно-ладно, сейчас и пошлю кого-нибудь из лаборантов». На улице стоял трескучий мороз, все сотрудники вдруг оказались заняты неотложным делом, и взор Н. упал на меня. «Вот», — сказал он и, вручив мне игрушку, назвал адрес. Это был конец Морского проспекта.

Я не торопилась проявлять рвение и демонстрировать свою неукоснительную исполнительность по такому поводу. На пороге квартиры меня встретили гневным окриком: «Почему так долго?» Пришлось объяснить, что, мол, холодно, зашла в кафе, выпила кофе. «Но вы же на работе!» — возмущалась мадам Н.

Поняв, что как курьер я доверия не оправдываю, Н. передал меня в социологический сектор Петра Ивановича Попова. Если Сталин, выразив свое недоверие к статистике, обозвал ее «гнилой наукой», то моя социология была скорее «веселой».

### Как я была социологом

ПИП, как его звали сотрудники, учтя мой педагогический стаж, знание студенческой жизни не понаслышке и опыт работы, назначил меня руководителем группы по исследованию свободного времени студентов. Группу составлял лаборант Слава Чумаков, энергичность и мобильность которого вполне соответствовала масштабу целой группы. А я, следовательно, была его и ее, т. е. группы, руководителем. Тема исследования не была лишена актуальности: именно в это время, в середине 60-х годов, появились хиппи, приобрели известность другие формы молодежного свободолобия, отмеченного протестом против буржуазного конформизма, мира тотального потребительства. Характерной их чертой было нетерпение к разного рода запретам и ограничениям, что привело в конце концов к издержкам современной толерантности. Впереди был роковой 1968 год, когда во Франции произошла вошедшая в историю молодежная революция, стоившая политической карьеры генералу де Голлю.



В смысле затрат собственного времени работа оказалась трудоемкой и технологически уязвимой. Руководством к действию служила типовая анкета, графы которой следовало заполнить путем либо личного общения со студентами, либо распространения ее среди них с последующим возвращением в руки исследователей. Все вузы расположены в городе, пространственный разброс их огромен, времени на дорогу уходило много, сам процесс общения со студентами не был отлажен, на исследовательские контакты они шли неохотно. Анкеты собрать удавалось с трудом, а иногда и просто не удавалось, при личном опросе студенты фантазировали и врал: времени свободного у них нет, все уходит на учебу, а если оно возникает, то уходит на чтение и общественно полезные дела. Поскольку и я, и Слава обладали опытом студенчества, а врать и фантазировать можно было и самостоятельно — то восполнить дефицит реальных контактов со студентами оказалось делом не только не трудным, но даже и веселым.

Избрав местом откровенной профанации исследовательской деятельности уютное кафе, за чашкой кофе с булочкой мы лихо, обговаривая свои действия вслух, заполняли анкеты, активно подключив к этой работе и личную память, и игру воображения, и, конечно же, реальные наблюдения. Для придания исследованию эффекта неопровержимости вступили в контакт как раз с женой Н., работавшей в пединституте и обеспечившей нам регулярное общение с реальными студентами, без дураков поставлявшими нам информацию об использовании свободного времени. Это в случае необходимости убеждало в неподдельности нашего исследования да и в действительности служило неким коррелятом нашего социологического свободомыслия.

Зиму 1966-го я хорошо запомнила как время нечаянно открывшейся возможности проникнуться простором вольно раскинувшегося города, познакомиться с архитектурным обликом его улиц, его вузами, кинотеатрами, музеями... Загадочно звучали вузовские аббревиатуры: НИИЖТ, Сибстрин, НЭТИ... Осталось в памяти как памятник сталинской эпохи монументальное здание Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта, где длина и ширина коридоров, наполнявшихся студенческой массой в перемены, ассоциировались с гулом вокзальных перронов.

В свободное от общения со студентами и работы за кофейным столом время мы со Славой старательно осваивали текущий репертуар кинотеатров. Повинуясь моим культурным запросам, вместе со мной он знакомился с экспозициями городских музеев, а однажды последовал за мной даже на демонстрацию мод. Отдали должную дань и книжным магазинам.

Между тем настало время поставить точку в сборе информационного материала о свободном времени новосибирских студентов, вернуться к кабинетной работе и представить начальству соответствующий отчет. Надеяться на помощь Славы на этом этапе было бесполезно. На основе собранных и придуманных вместе с ним данных, с оглядкой на жизненный опыт, интуицию и с присовокуплением известной доли творческой фантазии мною был создан довольно значительный по объему социологический нарратив, спокойно, как должное, принятый ПИПОм. Нельзя сказать, что, поставляя этот исследовательский опус начальству, я не испытывала чувств, подобных угрызениям совести, но, понаблюдав организацию научного труда в отделе, успокоилась.

Если работа в вузе, ориентированная главным образом на расписание занятий, тем не менее оставляла возможности маневрировать временем, то в институте был обязателен восьмичасовой рабочий день. Однако сотрудники нашли



способ комфортного приспособления к такому рабочему режиму, не истязая себя многочасовым сидением за рабочим столом. Вовремя придя на работу и отменившись в присутствии, отпраивались с чайниками за водой в туалет, заваривали чай, раскладывали домашние припасы, щедро потчуж друг друга, обменивались новостями; для душевной беседы удобным местом был длинный коридор, для занятий своими делами можно было уйти в библиотеку, уединившись в читальном зале. Внешняя строгость рабочего режима нивелировалась внутренним небрежением к трудовой дисциплине. В конечном счете все сводилось к личному фактору, условия же оказывались равно благоприятными и для честного труженика, и для симулянта. Не случайно в те годы был популярен анекдот:

— Можешь дать определение науки?

— Могу. Наука — это способ удовлетворения личной любознательности за государственный счет.

Я сдружилась с коллегами, мне с ними было интересно, атмосфера дружеских разговоров и вольного обмена суждениями отличалась огромной силой притягательности, стихия удовлетворения личной любознательности за государственный счет затягивала все глубже... Но не оставляло и чувство внутренней неудовлетворенности и страх потерять свою профессиональную выучку.

С неожиданной глубиной запал в душу прочитанный уже в Новосибирске роман Жоржа Сименона «Негритянский квартал», герой которого пал жертвой своей душевной лености и податливости. Казалось, лишь на время и случайно отдавшись нетребовательной жизни негритянского квартала, цивилизованный француз не замечает, как превращается в добровольного пленника чуждой ему социальной среды. Порой и мне казалось, что, работая в Институте экономики, я предаюсь какому-то житейскому паллиативу, играю в чужие игры, изменяю себе — и в ход шли пословицы из богатейшего арсенала мамы: плыву по течению, сижу сложа руки, жду у моря погоды...

### «История Сибири», том пятый

Этому неостывшему желанию заняться своим делом восблагоприятствовали реальные обстоятельства. В недрах Института экономики произрастало и набирало силу древо гуманитарных наук: возник сначала отдел гуманитарных исследований, через некоторое время преобразовавшийся в Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, возглавленный А. П. Окладниковым. Кстати, и располагался он на том же четвертом этаже, что и сектор, где я работала социологом, только в другом крыле здания. Под руководством академика А. П. Окладникова развернулась редкая по масштабу работа над пятитомной «Историей Сибири», потребовавшей комплексных усилий не только историков, но и археологов, этнографов, философов, экономистов, филологов и вовлечения в дело ее создания не только внутренних сил института, но и гуманитарного потенциала всей Сибири.

Работа была в полном разгаре. Образно выражаясь, я вскочила на подножку уже набравшего скорость поезда и, оказавшись внутри, ощутила радость редкой удачи. Я вошла в авторский коллектив пятого тома, мне поручили написание разделов по истории национальных литератур Сибири. И теперь я не тратила время на вольные собеседования с социологами, а переместилась в библиотеку, зарезервировав там себе постоянное место, и восьмичасовой рабочий день использовала по назначению. Здесь сложился свой контингент научных

сотрудников, склонных к трудоголизму. Помню колоритную фигуру ярко-рыжего Шляпентоха, чем-то похожую на него Заславскую, Черемисину...

Разделы по русской литературе Сибири готовил Ю. С. Постнов, и совместная работа в одном авторском коллективе послужила реальной почвой нашего знакомства, а затем и долголетнего сотрудничества, претерпевшего многие испытания трудным временем. Наши имена значатся среди авторов пятитомной «Истории Сибири», удостоенной Государственной премии, и это вызывает чувство профессионального удовлетворения.

Всегда считала и убеждена в этом до сих пор, что работа в комплексном институте в контакте с историками, лингвистами, фольклористами, этнографами, философами была очень полезной, заставляла мыслить шире и разностороннее. Работа в одном институте в некоторых случаях закономерно приводила к перерастанию производственных отношений в дружеские, приятельские, просто согретые человеческим теплом и расположением. Так было в случае с археологом Виталием Епифановичем Ларичевым.

Мы охотно обменивались результатами нашей работы, разного рода публикациями — от газетных статей до книг. Почти все его книги есть в моей библиотеке: «Сад Эдема», «Колесо времени», «Мудрость змеи», инскрипты к которым неизменно начинались: «Дорогой Людмиле Павловне...», а надпись к автореферату докторской диссертации «Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии» Виталий Епифанович сопроводил пометкой, что она о временах, «когда Мамина-Сибиряка еще не было».

Наша встреча могла состояться и в вестибюле Института истории, филологии и философии, и в библиотеке, и в издательстве, но нашлось место, которому изменить было нельзя: мы оба были преданными читателями «Литературной газеты», и в день, когда она приходила, неизменно встречались у газетного киоска напротив здания Президиума СО АН. Как ни странно, точек соприкосновения и пересечения в научных интересах археолога и литературоведа было немало, мы удивлялись и радовались, обнаруживая их. Эпиграфом к одной из своих книг «Сад Эдема» Виталий Епифанович взял слова Чарльза Дарвина: «...Земля долго готовилась к принятию человека, и в одном отношении это строго справедливо, потому что человек обязан своим существованием длинному ряду предков. Если бы отсутствовало какое-либо из звеньев этой цепи, человек не был бы тем, кто он есть».

Универсальность этого тезиса доказывает и вся история мировой литературы. Наше представление о литературной истории утратило бы свою цельность, если бы пропущенным оказалось какое-то отдельное звено ее развития.

Я думаю, обоюдность интереса друг к другу у нас с Виталием Епифановичем возросла после того, как я отошла от литературной сибирки и активно переключилась на исследование творчества Леонида Леонова. Так случилось, что мой исследовательский путь оказался рекурсивным: постижение тайн художественной мысли этого большого писателя я начала не с первых его произведений, как сложилась у нас литературоведческая традиция, а с завершающего его жизненный путь романа-наваждения в трех частях «Пирамида». Последовательно спускаясь с этой высоты по ступеням предшествующих произведений, я дошла до начала творческого пути, обнаружив именно там поэтико-смысловые истоки его «последней книги». Удивительно: начало и конец творческого пути сомкнулись, представив неопровержимые доказательства абсолютной цельности и непротиворечивости художественной мысли писателя.

У Леонида Леонова были непростые отношения с советской властью, но разногласия между ними оказались вовсе не политическими, а философскими, онтологическими и восходили к разному пониманию главного вопроса времени — природы человека. Творческая мысль писателя в принципе отвергала позитивистский фундамент социалистического реализма и всей большевистской философии, исходившей из возможности скоростной перестройки человека, создания новой породы людей по чертежу, заранее придуманному плану.

Мысль о том, что «Земля долго готовилась к принятию человека» и потому нельзя изъять из длинной истории превращения первобытного существа в homo sapiens ни одного звена, что благотворной энергией мудрости Змеи движима неостановимая пытливость ума современного человека, перекликалась с убеждением Л. Леонова в том, что вся история обживания планеты Земля, как в иероглифе или математической формуле, зашифрована в человеке: каждый отдельный человек несет в себе всю полноту информации о происшедшем на Земле в течение веков и тысячелетий, сохраняет отсвет мудрости Змеиной.

Сознание близости наших научных штудий, тесной переплетенности исследовательских путей искренне нас с Виталием Елифановичем радовало, и, не закрепленная никакими внешне привычными проявлениями вроде домашних визитов и семейных контактов, наша «ученая дружба» растянулась на десятилетия. В последнее время мы стали договариваться о передаче наших трудов друг другу посредством вахты Института археологии с последующим обменом мнениями по телефону. Однажды на оставленные мною статьи из «Науки в Сибири» он не откликнулся, и, привыкшая к его пунктуальности, я насторожилась: не иначе что-то случилось.

Случилось же самое печальное. Умер Виталий Елифанович летом 2013 года. Панихида состоялась в фойе Института археологии около знаменитого мамонтенка. Я удивилась, как много людей, несмотря на отпускную пору, пришло проститься с ним, отдать дань уважения большому ученому и просто хорошему человеку. Похоронили его на том же кладбище, где упокоена моя сестра Аля, и на пути к ее могиле всегда есть возможность остановиться около его скромного надгробия, положить цветы и предаться воспоминаниям.

Время работы в авторском коллективе «Истории Сибири» сблизило с Иваном Ивановичем Комогорцевым, с которым тоже, увы, встречаюсь сегодня только как с высоким памятником из черного мрамора на могиле, соседствующей с могилой моего мужа, где рядом предусмотрительно уготовано место и для меня. Их похожие друг на друга памятники денно и ночью переглядываются между собою, навевая грустные мысли о бренности земного существования и неизбежности встречи в мире ином. Иван Иванович инициировал мое вступление в партию. Ему в какой-то мере обязана была я и переводом из младших научных сотрудников в старшие. Удивившись тому, что, будучи кандидатом филологических наук и имея опыт руководящей работы, я все еще «хожу в мэнээсах», он упрекнул Ю. С. Постнова, как руководителя литературоведческой группы, в равнодушии к профессиональному росту сотрудников, на что Ю. С. ответил, что позаботиться об этом давно следовало бы мне самой: надо только написать текст представления и характеристики, которые ему писать некогда, но которые в моем случае он с готовностью подпишет. «Представлять» и «характеризовать» себя я принципиально отказалась, и дело моего служебного повышения не сдвинулось бы с места, если б не настойчивость Ивана Ивановича.



Я уже давно работала в авторском коллективе историков, создававших «Историю Сибири», но все еще значилась сотрудником Института экономики. Процесс перехода из одного института в другой, из одного крыла здания в другое тормозился отсутствием А. П. Окладникова, находившегося в длительной археологической экспедиции. Казалось, дело в простой формальности: я не претендовала на вакансию, а приходила со своей ставкой младшего научного сотрудника, добровольно дарованной одним институтом другому. Однако, возвратившись из экспедиции, А. П. не торопился с принятием дара. Вероятно, это было понятное стремление директора подстраховаться от приема на работу еще одной «жены», грозящей пополнить штатный балласт вверенного ему научного учреждения. Потребовалось непосредственное вмешательство Г. А. Пруденского, чтобы вопрос о моем трудоустройстве наконец разрешился.

Подозрения об отношении ко мне как к «жене», т. е. неизбежному кадровому отягощению, сразу же и подтвердились, едва ступила я на порог отдела гуманитарных исследований, теперь уже ИИФФ СО АН. Оценивая оглядев меня, Е. А. Кукина то ли с вопросительной, то ли с утвердительной интонацией изрекла:

— Вы к нам лаборантом.

— Младший научный сотрудник, — уточнила я и зачем-то добавила: — Кандидат филологических наук.

— А муж ваш где работает?

В комнате, где отвели мне рабочий стол, три других стола занимали Наталья Тимофеевна, жена лингвиста А. И. Федорова, Зоя Дмитриевна, жена историка А. С. Московского, и Ядвига Попова, жена ядерщика из института Будкера. Словом, действительно, жены, каждой из которых свою профессиональную идентичность предстояло доказать большими или меньшими успехами в работе. У каждой из нас были дети, у каждой — по двое: сыновья у Натальи Тимофеевны и Ядвиги, сын и дочь — у Зои Дмитриевны и у меня.

Наталья Тимофеевна создавала картотеку для будущего «Словаря сибирских говоров» — в работе у нее все время находилась какая-нибудь книга сибирского автора: «Угрюм-река» В. Шишкова, «Хмель» А. Черкасова... Ядвига занималась говорами ненецкого языка, обрабатывала материалы очередной своей экспедиции на Ямал. У Зои Дмитриевны не было своей научной темы, она работала лаборантом в лингвистической группе Е. И. Убрятовой.

Как это бывает обычно в женском коллективе, мы немножко конфликтовали, сплетничали, соперничали, но все в рамках интеллигентской корректности. С Ядвигой возникло что-то вроде соревнования по части туалетов, но параметры соревнования не совпали: я «шилась» у профессиональных портних, Ядвига предпочитала «самошив». Тогда ходила на меня эпиграмма, пущенная, скорее всего, А. И. Федоровым:

То ли для Мамина-Сибиряка,  
То ль для мужчин Академгородка  
Модные платья часто меняешь  
И тем наших жен развращаешь.

Как сегодня Гафт в артистическом мире завоевал славу непревзойденного эпиграммиста, так в научном сообществе Академгородка она безраздельно принадлежала А. И. Федорову. Он был красавец мужчина, оваянный ореолом боевых подвигов военного летчика, краснойбай и остролов.

Иногда мне казалось, что с переездом в Академгородок жизнь изменила темп — перемены наступали раньше, чем созревало их осмысление и удавалось прозреть последствия: Е. Д. избрали на должность заведующего сектором трудовых ресурсов, я успела сменить одно место работы на другое, наш Лизочек пошел в школу! Осуществилась давняя мечта Е. Д.: у нас появилась машина — красавица «Волга» цвета белой ночи. Мы переехали в новую, теперь уже четырехкомнатную, квартиру. Все явственнее проступали реальные контуры идеи создания большого коллективного труда по истории русской литературы Сибири, и на меня была возложена работа ответственного секретаря.

Трудно в этом потоке жизненных перемен выделить главное. Вот дочка пошла в школу... Я человек не слезливый, к сентиментальности не склонный, но на детсадовском утреннике, когда всю их группу «выпускали» в школу и наставляли на новую жизнь, слезы почему-то безостановочно катились из глаз. Школа потребовала своего: белокурые волосы Лизы — под Мальвину — заплели в косички, пришлось переодеться в коричневое платьице с белым воротничком и черный фартучек, и вот уже на групповой фотографии наша первоклашка смотрится серой мышкой с испуганными глазами. Почему-то дочь к своей первой школе № 166 не прониклась привязанностью и любовью. В ауре детского умиротворения и даже возбуждения радостью жизни я помню ее уже во время учебы в английской школе № 130, куда я перевела ее по такой настойчивой просьбе, противостоять которой было трудно.

Или вот новая работа Е. Д.: это и другая мера ответственности перед людьми, и трудные длительнее экспедиции в районы Северного Приобья, районы строящихся городов, что сказывается и на его здоровье, и на общем укладе семейной жизни. Во время его затяжных отлучек очень скучает о нем Лиза: часто плачет, капризничает, даже дерзит, тревожится по поводу ущемления папиных интересов. Однажды, глядя на выразительный портрет Мамина-Сибиряка в богатых мехах, строго спросила:

— Если этот Сибиряк мамин, то где папин Сибиряк?

И не так спать укладываю, и песни пою плохо, и не те пою: у папочки длинные и интересные. Едва узнав буквы, непереносимо утомительными каракулями писала папочке письма о своей тяжелой жизни без него и в сопровождении брата относила их на почту по принципу «на деревню дедушке».

## Атмосфера ИИФФа

Сознавая всю бесплодность попыток отделить важное от случайного, главное от бесследно проходящего, не могу уйти от разговора об общественной работе как о факторе моего жизненного поведения. Я занималась ею и в Горно-Алтайске, но в Новосибирске были периоды, когда она по смысловой значимости своей не уступала производственным делам. Я активно участвовала в деятельности общества «Знание», была редактором стенной газеты института, почти два десятилетия отдала профсоюзной работе.

Когда меня избрали в местком ИИФФа впервые, его возглавлял О. Н. Вилков, историк, занимавшийся проблемами истории досоветского периода, бывший фронтовик, со следами тяжелого ранения на лице. Человек честный и принципиальный, до категоричности прямой в суждениях о людях, в дипломатии не искушенный, интеллигентского лоска лишенный, он часто навлекал на себя то гнев, то насмешки людей, более, чем он, приспособленных к восприятию специфической атмосферы Академгородка.



Когда приблизилось время очередного профсоюзного собрания, А. П. Окладников в сопровождении Л. М. Горюшкина, бывшего тогда секретарем партбюро института, пришел ко мне домой. Визит был полной неожиданностью, застал врасплох. А. П. просил меня возглавить местком института, согласиться выдвинуть мою кандидатуру на голосование. «Я лично прошу вас, — подчеркнул он. — Не отказывайтесь. У вас получится». Откровенно говоря, не отказываясь от большой работы, даже находя в ней внутреннее удовлетворение, такой высокой меры ответственности, которая ожидает меня в случае избрания, я для себя не хотела, я просто ее страшилась, особенно глядя на то, какого мучительного напряжения душевных и даже физических сил требует она от О. Н. Вилкова. Я точно знала, что в институте есть люди, не только готовые возглавить местком, но и откровенно горящие желанием занять это место и опирающиеся при этом на сильную группу поддержки.

Но обидеть А. П. я не хотела, предместкома ИИФФа меня избрали, и в этой общественной должности я состояла целых семь лет.

Через некоторое время после моего избрания гуляла по институту эпиграмма:

Теперь у ней под каблуком  
Не только муж, но и местком.

Что-то было в этой эпиграмме еще и о том, что «ей и сам Вилков не брат». То ли сказывалась ущемленность мужского самолюбия, то ли торжествовала вечная, неизбывная мужская солидарность.

Рябь, зыбь, муть душевных сомнений надо было преодолевать и к осмыслению новых реалий приступать как можно скорее. Постнов то ли с одобрением, то ли с завистью говорил: «Вы человек с железным стержнем». Сам он постоянно рефлексировал по поводу своей мягкотелости и избавление от нее записал первым пунктом в план самосовершенствования.

Такой имидж мне не вредил. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. И если дано было мне испытать состояние душевного дискомфорта после избрания председателем месткома, то во многом это было чувство женского одиночества среди подавляющего мужского большинства. Правда, после В. А. Аврорина заведовать отделом сибирских языков стала Е. И. Убрятова, вот она и я были единственными женщинами среди членов ученого совета. И хотя общественной работой Елизавета Ивановна не занималась, но, как человек с юмором, однажды мне сказала: «Нам бы с вами каждой иметь жену не помешало».

Представление о психологическом климате института было бы неполным, если б я умолчала о модном тогда среди мужчин культе мачо. Укоренению его способствовали многие обстоятельства, но некоторые были особенно значимы. Прежде всего духовная атмосфера Академгородка, ориентированная на молодость, интеллект, физическое здоровье, сопряженная с футуристическими устремлениями и ожиданиями, способствовала разжиганию азарта, соревновательных и даже конкурентных отношений. И очень велика была тогда власть литературных образов. Во всем мире и у нас в моде были Ремарк и Хемингуэй, культивировавшие образ сильного, волевого, амбициозного мужчины, презирающего скучную обыденность, полного жажды приключений, устремленного к победам на войне, охоте, в отношениях с женщиной. Огромной популярностью у читателей Академгородка во все доперестроечные годы пользовались произведе-

дения Даниила Гранина «Иду на грозу», «Эта странная жизнь», обращенные к миру научных интересов, которые неразрывно связаны с необходимостью решения острых этических проблем, где есть место и подвигу, и риску, и поступкам, граничащим со вседозволенностью и своеволием. В этом же ряду стоял тогда и фильм «Девять дней одного года».

Больше всего боюсь возвести на кого-то поклеп, боюсь поддаться личным чувствам вопреки объективности. Но любое стремление к объективности, как бы я ни старалась, из рамок личного восприятия все равно выйти не позволит. Таков закон мемуарного жанра, и над ним я не властна. Речь идет о действительно умных людях, по достоинству и справедливости защитивших кандидатские и докторские диссертации, возглавивших отделы, сектора и кафедры в университете, по-мужски привлекательных внешне — ростом, сложением, владевших словом и умевших красиво говорить. В единое мужское содружество их объединяло упоение силой власти, влияния, авторитета, чувство маскулинности и устремление к разной мере независимости от семейных уз. Один успел сменить одну семью на другую, оставить прежнюю жену с сыном ради молодой; другой разводом обеспечил себе полную свободу выбора новой формы жизненного поведения; третьи вообще предпочитали уклониться от выяснения отношений со своими все выносящими и безгранично терпеливыми женами и жить в свое мужское удовольствие, предоставив процессу воспитания детей идти своим ходом. Хорошим тоном в этом кругу считалась способность сочетать научную карьеру с ярким и жизнерадостным времяпрепровождением, где важное место отводилось веселым и шумным застольям — с вином, музыкой, молоденькими женщинами... Пристрастие к вину пороком не считалось: пили все очень много.

Сама специфика Академгородка как социального проекта, соединяющего науку и образование, способствовала появлению такого человеческого содружества. Ведущие сотрудники ИИФФа работали по совместительству в НГУ, обладали безграничной возможностью влияния на молодую аудиторию; под воздействием их мужского обаяния, противостоять которому было трудно, оказывался прежде всего ее девичий состав. С этим феноменом я сталкивалась всюду — и в Нижнем Новгороде, и в Горно-Алтайске, — но не в таком, как в Академгородке, масштабе. Процветал и культ девичьего преклонения перед любимым преподавателем, и преподавательский фаворитизм. В среде институтских мачо привычным было гордиться мужскими победами, количеством полоненных девичьих сердец. Здесь многое зависело от характера фаворитки, однако за одержанные на этом фронте победы так или иначе следовало платить: кому-то — покровительством при сдаче зачетов и экзаменов, а другим — устройством на работу, помощью в защите диссертаций... Но, проникнув путем мужского покровительства в научную среду, далее надо было подчиняться ее законам: выполнять плановые задания, иметь публикации, представлять годовые отчеты, и здесь у многих возникали серьезные затруднения.

Гранинский образ грозы не случаен: вся атмосфера Академгородка 60—70-х годов дышала грозовой нацеленностью на успех. Если могут другие, почему не я?! Престиж научной степени был велик и сам по себе, к тому же сопровождался всякого рода материальными привилегиями — в сфере квартирного обеспечения, продуктового снабжения и медицинского обслуживания, поездок за границу и т. д. Желание стать кандидатом наук и закрепиться в должности научного сотрудника не соответствовало иногда доступным возможностям его утоления, обретая подчас криминальную окраску.



Своеобразие моего положения после избрания председателем месткома заключалось в том, что, оказавшись одна среди мужчин, наделенных высокими полномочиями, я испытывала ощущение холода и неуюта: хрупкая женщина, без признаков официоза в одежде, приверженная домашним ценностям («с мужем под каблуком»!) — среди демонстрирующих силу и уверенность, широко шагающих и громко говорящих мужчин. На фоне их демонстративной брутальности и мужской сплоченности моя камерность и отдельность были особенно заметны. Чем-то мое присутствие их уязвляло, может быть, отклонением всяких попыток заигрывания со мной, состоянием той идентичности, «самости», которую я в их кругу сохраняла. Вспоминается по этому поводу историческая байка: будто бы Е. А. Пешкова, измученная и уязвленная бесконечным упоминанием ее имени только как жены великого пролетарского писателя М. Горького, однажды возмутилась: «Почему обязательно жена?! Я и сама член партии эсеров!» Я тоже была «сама», быть подголоском в их дружном хоре не собиралась, и доказать это в скором времени представилось не только возможным, но и необходимым. Тогда неразрывно обозначилась моя роль председателя месткома, профессиональный имидж... но главное — моя «самость» как члена партии эсеров.

Пока сектор литературоведения под руководством Ю. С. Постнова набирал силы, а идея создания истории русской литературы Сибири обрела реальную плоть, я продолжала работу над творчеством Мамина-Сибиряка и очень дорожила возможностью создания цикла статей, одна за другой появлявшихся на страницах журнала «Известия СО АН СССР». Однажды, встретив меня в институте, А. И. Федоров, входивший в состав редколлегии, сообщил мне, что публикацию следующей статьи придется отложить. Почему? Оказывается, потому, что я публиковалась в журнале уже несколько раз, а Ж. ни разу и очень в публикации нуждается. Я удивилась: с каких пор «нуждаемость» стала определяющим критерием отбора статей для публикации в журнале? Творческие способности этой сотрудницы, кочующей в институте из сектора в сектор, были известны, и у меня уже был небольшой опыт знакомства с методами ее научной работы, словом, я выразила желание познакомиться с текстом статьи. Никакими рецензиями, отзывами и рекомендациями к печати она не сопровождалась, и не потребовалось никаких розыскных усилий, чтобы обнаружить ее несамостоятельность. Единственным источником ее текста, кстати — то ли по профессиональной немоции, то ли из-за откровенного цинизма, — не очень-то и скрываемым, были статьи известного сибирского критика и литературоведа Н. Н. Яновского. Едва ли Н. Н. Яновскому понравилось бы выступить поставщиком материала для публикаций хваткого автора, о чем я и доложила членам редколлегии «Известий». Я была потрясена их реакцией! Они были возмущены... но не фактом плагиата, а фактом его раскрытия. Автор был человеком их круга. Ее непосредственный руководитель буквально взорвался негодованием по моему адресу: «Да как вы смеете?! Вы еще пожалеете!» За давностью лет я могла и забыть, в какой форме вырвался этот крик, не исключая, что это было, например: «И ты еще пожалеешь!»

Однако преступление против кодекса научного поведения было слишком очевидным, плагиат не поощрялся, и статьи в журнале не появились — ни моя, ни ее. Мне мстили и злыми эпиграммами о муже-подкаблучнике, и насмешками о приверженности к профсоюзной школе Вилкова, и показным холодом в ежедневном общении. И вовсе не себя считала Ж. виновницей своих неудач и неуспехов в научной работе, а меня.



Поддавшись уговорам друга, Ю. С. Постнов согласился принять ее на работу в свой сектор и жестоко за свою уступчивость поплатился. Никаким правилам трудового законодательства и научного распорядка она не подчинялась: когда хотела приходила и уходила с работы; ко времени отчета о научных результатах смертельно «заболевала» сама или «умирал» кто-то из ее родственников и близких. Поручения срывала, а при всякой попытке подвергнуть ее критике прибегала все к тому же покровительству или провокации очередного производственного конфликта.

Ситуация с Ж. оказалась настолько показательной, что не прошла мимо внимания и других мемуаристов. Вот как вспоминает об этом В. Л. Соскин в своей книге «В ракурсе личной судьбы. Материалы по истории советской интеллигенции»<sup>2</sup>, касаясь взаимоотношений с Ю. С. Постновым:

Запомнился момент, редко встречающийся в мужской дружбе. Мы работали рядом в коллективе гуманитарного научного института, были погружены в свои темы и проблемы. Случилось так, что Юра, руководивший сектором литературоведения, не смог сработаться с одной сотрудницей, женой важного лица. Уволить ее не решались, обратились ко мне: не могу ли я как историк культуры найти ей место в своем секторе? Пришлось согласиться, ведь просил сам А. П. Окладников. Когда Юра узнал, он был потрясен. Мы стояли на лестнице вестибюля института, он спросил, правда ли все это? Я ответил: «Юра, у тебя давление под 200, ты стоишь у края бездны, кто же тебе поможет еще?» И Юра заплакал. Вскоре он умер, предвидение многих оказалось верным.

Как, вне всякого сомнения, читатель подвергнет корректуре мой мемуарный текст, имея право по-своему взглянуть на излагаемые события, так и мне не терпится внести некоторые коррективы в воспоминания В. Л. Соскина. Прежде всего, мягко сказано: «не сработался»... Это все равно как знаменитое гоголевское: вместо «высморкался» сказать «облегчил нос посредством носового платка». Ю. С. буквально изнемогал и приходил в отчаяние от своего административного бессилия. Сектор постоянно лихорадило оттого, что отношения между руководителем и сотрудником вышли из-под контроля. И другое: конечно же, не только дружеским расположением к «Юре» руководствовался заведующий сектором истории культуры, принимая на работу сотрудника с сомнительной репутацией, но и все теми же принципами круговой поруки. Парадоксальность описанного мемуаристом производственного сюжета состоит в том, что уволить «жену важного лица» из сектора Ю. С. Постнова и тем самым «помочь» ему можно было только в случае согласия В. Л. Соскина принять ее в свой сектор и тем самым «помочь» также другому человеку, т. е. «важному лицу». Таким образом, «жена», в одном случае уволенная, а в другом — принятая на работу, в одинаковой степени служила сохранению мужской дружбы всех троих коллег. Мемуарист или не видит, или не хочет видеть, что «момент, редко встречающийся в мужской дружбе», на самом деле является не чем иным, как типичнейшим примером неискоренимого в России фаворитизма, фамусовского «радения родному человечку», что в локализованном пространстве академического центра было особенно заметно. А под видом трогательной, выжимающей скупую мужскую слезу дружбы мемуаристу удается замаскировать и безоговорочную преданность воле начальства, тем более если заявлена она в виде просьбы «самого А. П.».

<sup>2</sup> Соскин В. Л. В ракурсе личной судьбы. Материалы по истории советской интеллигенции. — Новосибирск, 2013. — С. 175.

## «Очерки русской литературы Сибири»

Замысел создания большого обобщающего труда по истории русской литературы Сибири в объеме двухтомника вполне соответствовал масштабу тех свершений, которыми полнился научный центр тех лет. Перед глазами был вдохновляющий пример создания пятитомной «Истории Сибири» под редакцией А. П. Окладникова, в написание разделов которой по культуре, искусству, литературе мы, филологи, тоже были вовлечены и опыт подготовки которой к изданию был воспринят нами близко к уму и сердцу. Когда я говорю «нами» и «мы», то имею в виду небольшую группу филологов, приказом директора оформленную в самостоятельную производственную единицу ИИФФ СО АН, куда входили Юрий Сергеевич Постнов, Елена Александровна Куклина и я; и еще с нами постоянно сотрудничал работавший в Новосибирском университете Виктор Георгиевич Одинок. Чуть позднее литературоведческую группу пополнили аспиранты Ю. С. Постнова — С. И. Гимпель, С. П. Рожнова, Б. М. Юдалевич и произошло ее преобразование в сектор русской и советской литературы Сибири.

В 60-е годы все мы были молоды и, фигурально выражаясь, «узок был круг» энтузиастов нового литературоведческого проекта, но по примеру историков мы тоже мыслили наш труд как результат консолидации филологических сил всей Сибири, как итог интеграционного участия не только литературоведов, но и критиков, фольклористов, журналистов, писателей, искусствоведов...

Именно с целью научно-производственной рекогносцировки, выявления внутренних ресурсов сибирских филологов и была командирована я в дальние пределы Сибири. Первым на пути был Иркутск, затем Хабаровск, а домой я возвращалась из Владивостока. В каждом из этих городов был педагогический институт и университет со своими кафедрами литературы; мне предстояло познакомиться с каждым коллективом, планами их научно-исследовательской работы, уяснив то место, которое занимает в них сибирская проблематика, и введя в суть нашего проекта.

Результаты кафедральных встреч, равно как и впечатления от них, располагались в широкой амплитуде от полной готовности включиться в общее дело до открытого недоверия к нему, как к маниловскому проекту. В этом смысле порадовал профессиональным потенциалом и открытым желанием сотрудничать Иркутск, но в той же степени разочаровал своей инертностью Хабаровск, где, кстати, произошла встреча с Ниной Ивановной Хоменко, давней коллегой по горьковской аспирантуре. Трудно, но не бесплодно прошла встреча с университетскими филологами Владивостока. Заведующая кафедрой литературы Н. И. Великая исходила из собственного понимания географических границ сибирской литературы: «Какая же сибирская литература может быть на Дальнем Востоке? У дальневосточной литературы своя история, мы сами ее и напишем...» Чуть позднее эта запальчивость исчезла.

Без какого-либо сопротивления соглашаясь на длительную и во всех отношениях трудную и ответственную поездку, я действительно не упускала из виду возможность утолить свою страсть к путешествиям. Воистину, если б не эти командировки по делам двухтомника, не напиталась бы я неизбежной силой впечатлений от красоты сибирских городов, не ощутила бы их природного призыва, не убедилась бы в истинности ломоносовского утверждения, что российское богатство прирастать будет Сибири. Тогда из всех городов самое большое

впечатление произвел на меня Хабаровск: такой неохватной глазом широты уличных пространств, казалось, я больше не увижу нигде и никогда.

...Утомленная дорожными перемещениями из города в город, множеством встреч и разнообразием впечатлений, я с нетерпением ждала завершения намеченных дел и рвалась домой. В аэропорту Владивостока ко мне подошел молодой, высокий, стройный мужчина в форме морского офицера и неожиданно заговорил: «Здравствуйте. Я вас узнал. В октябре вы плавали на “Урицком”». Рядом с ним стояли два больших, сверкающих новой кожей чемодана. Оказывается, он служил на теплоходе, сейчас едет в отпуск домой к родителям, на Украину — с пересадкой в аэропорту Новосибирска. Но багажа оказалось больше, чем допускают нормы перевозки в самолете, и он просит, видя легкость моего дорожного саквояжа, оказать ему дружескую услугу — оформить один из чемоданов на мой билет. Я не собиралась свою ручную кладь сдавать в багаж, но и отказать приятному человеку видимого резона не было. В перелете от Владивостока до Новосибирска у меня оказался галантный и интересный попутчик, существенно пополнивший мои впечатления. Только в новосибирском аэропорту стала доходить я до понимания необдуманности своего дорожного поведения. Встречавший меня Евгений Дмитриевич, подхватив мой саквояж, повлек было меня к машине, но я остановила его: «Придется подождать». И познакомила с попутчиком.

— Очень приятно, — сказал тот.

— Взаимно, — глядя в сторону, ответил муж. — Я подожду тебя в машине, — бросил он и, не оглядываясь, ушел, оставив меня дожидаться прибытия чужого чемодана.

Ждать пришлось долго. Когда я расположилась наконец рядом с мужем, он сказал:

— По всему видно, Владивосток тебе понравился. Я только не понял: шпоры уже не в моде?

— При чем тут шпоры?

— А при том, дорогая, что клюешь ты на всякую театральную мишуру, а призадуматься над тем, что провезла в помпезном чемодане этого красавчика с кортиком, не догадалась.

С нескрываемым удовольствием и не без иронического подтекста муж рассказал эту историю нашему другу Виктору Александровичу Демидову, и с его легкой подачи моего самолетного попутчика с тех пор в нашем кругу обозначали кодовым именем «контрабандиста», а я, соответственно, стала его пособницей. Впрочем, в авантюрные истории я не раз попадала и позднее...

Вернувшись, я спешила поделиться результатами своей командировки с коллегами, а они рассказали мне о событиях институтской жизни. Оказывается, слух о дерзких намерениях филологов Академгородка написать параллельную историю русской литературы Сибири дошел до столицы, и новый, 1968 год ознаменовался запоминающимся событием: в Институте истории, филологии и философии началась работа выездной сессии отделения гуманитарных наук АН СССР. К нам пожаловал сам Михаил Борисович Храпченко! О том, что «к нам едет ревизор», мы заблаговременно узнали из письма В. А. Аврорина, не скрывшего скептического настроения «начальства» и советовавшего укрепить по возможности линию нашей обороны заранее. Так мы и поступили. Из Томска поддержать нас приехал Н. Ф. Бабушкин, пригласили на встречу с академическим начальством писателя А. Л. Коптелова, своим участием в работе сессии нам активно помог А. П. Окладников.



Создание обобщающего труда по истории русской литературы Сибири никакой крамолы по отношению к всесоюзной и общероссийской филологии, разумеется, не несло, наоборот, отвечало насущным нуждам филологической науки, ибо выходявшие один за другим академические труды по истории национальной литературы России страдали одним общим недостатком — неполнотой фактического материала. Огромная масса имен и событий попросту пропускалась, не учитывалась, подвергалась опасности навсегда кануть во всепоглощающую Лету.

Впрочем, идея создания обобщающего труда о сибирской литературе носилась в воздухе, и первыми высказали ее в форме литературоведческого документа красноярцы, издав в 1962 году проспект «Сибирь и Дальний Восток в художественной литературе. История литературной жизни Сибири и Дальнего Востока». Неблагодарное это дело обвинять сегодня первую заявку на создание труда по сибирской литературе в методологическом эклектизме, но он явно проявился в смешении понятий «сибирская тема в русской литературе» и «сибирская литература», а также в намерении синхронным образом охватить картину развития русской и национальных литератур Сибири. И это при том, что истории национальных литератур Сибири — Якутии, Бурятии, Тувы, Хакасии, Горного Алтая — были уже созданы, история же русской литературы огромного края представляла как нетронутая целина.

Для воплощения большой идеи необходимы были соответствующие условия. В нашем случае многое удачно и счастливо совпало, соединилось и слилось — и общая атмосфера 60-х годов, и неповторимый духовный климат Академгородка с его наделенностью на большие начинания, и пример создания пятитомной «Истории Сибири» в Институте истории, философии и филологии СО АН СССР, и масштабность личности его директора — академика А. П. Окладникова, при всей его увлеченности археологическими изысканиями радеющего о развертывании широкого фронта гуманитарных исследований.

Людей, самоотверженно служащих культурному обогащению края, было в Сибири немало. Широко были известны труды Н. Ф. Бабушкина, Я. Р. Кошелева, Г. Ф. Кунгурова, Е. Д. Петряева, Л. Е. Элиасова, Н. Н. Яновского, В. П. Трушкина... Однако не вызывало сомнения, что координировать имеющиеся силы и наращивать новые ресурсы можно было только на основе цельной концепции, убедительной теоретической платформы.

Вдохновленные большой идеей, мы и представить не могли, с каким количеством препятствий придется столкнуться на пути ее осуществления! Теоретические и структурные контуры будущего труда проступали постепенно: не сразу стало очевидным, что в конечном счете это будет двухтомник. Сам выбор заглавия для него обернулся острой дискуссионной проблемой. Особенно большие сомнения, опасения, возражения в применении к нашему труду вызвало понятие «история», что имело не столько теоретическую, сколько идеологическую подоплеку. В исторической науке тогда предметом бесконечного дебатирования были проблемы национализма и областничества, особую опасность проявления которых видели именно в Сибири и провозвестниками которых здесь безоговорочно были объявлены Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин.

В памяти моей сохранились те ожесточенные баталии, в которые превращались ученые советы, заседания секторов и кафедр, защиты кандидатских и докторских диссертаций, когда дело доходило до обсуждения проблем, связанных с толкованием националистических или областнических тенденций.

Разумеется, не забылась и длившаяся до рассвета защита докторской диссертации нашим другом В. А. Демидовым, после которой А. П. Окладников иронически заключил, что мордовский народ теперь по праву может гордиться уже тремя выдающимися личностями — не только скульптором Степаном Эрзя, протопопом Аввакумом, но и историком Виктором Демидовым. В этих условиях ввести в название нашего труда понятие «история» равнялось отступлению от требований официальной идеологии. Предметом жарких дискуссий становился выбор между понятиями «сибирская литература» и «литература Сибири», даже предлоги «в» и «о» в этом контексте обретали свою концептуальную окраску: «Очерки о русской литературе Сибири» или «Очерки русской литературы в Сибири»?

— Все что угодно, но не «История русской литературы Сибири», — резюмировал работу выездной сессии АН СССР в Институте истории, философии и филологии М. Б. Храпченко, уловивший в филологическом проекте академгородковцев опасный дух сибирских пристрастий и областнических веяний. — Готовьте проспект. Будем обсуждать в Москве.

С тем и уехал, не закрыв, правда, перед нами возможности собирать, накапливать и осмыслять сибирский историко-литературный материал.

Сегодня настало время вспомнить имена участников этого труда: новосибирцы Ю. С. Постнов, В. Г. Одинокоев, Е. К. Ромодановская, Е. И. Дергачева-Скоп, Н. Н. Яновский, А. В. Никульков, Ю. М. Мостков, Л. А. Баландин, В. Г. Коржев; свою лепту в общее дело внесли Е. А. Куклина, С. И. Гимпель, Б. М. Юдалевич, С. П. Рожнова и др. Активно сотрудничали с академическими филологами вузовские преподаватели Томска Ф. Э. Канунова, Н. М. Киселев, Р. И. Колесникова, С. С. Парамонов; буквально подвижническим в служении сибирской культуре было участие иркутян В. П. Трушкина и М. Д. Сергеева. В Новосибирск постоянно приезжали: из Свердловска — И. П. Дергачев; из Омска — Е. И. Беленький, Э. Г. Шик; из Благовещенска — А. В. Лосев; из Владивостока — Н. И. Великая... Неоднократно проделывал длинный путь из Кирова до Новосибирска Е. Д. Петряев, на совещания по делам двухтомника приезжал из Ленинграда Н. И. Пруцков.

За нашей работой на разных ее этапах, в том числе и после выхода двухтомных «Очерков русской литературы Сибири» в свет, когда уже вызревал замысел создания очерков о литературной критике Сибири, внимательно следил, не отказывая в реальной помощи и покровительстве, старейший писатель Сибири Афанасий Лазаревич Коптелов. С А. П. Окладниковым они дружили; помню, как наш вышедший в 1969 году проспект «История русской литературы Сибири» А. П. с чувством нескрываемого удовлетворения подписал и подарил ему лично.

Сибирские писатели с живым интересом и вниманием отнеслись к работе академических филологов, многие из них и сами успели стать объектами литературоведческих исследований: С. Зальгин, Г. Марков, С. Сартаков, В. Астафьев, А. Иванов...

Это был весьма знаменательный момент культурной и духовной жизни Новосибирска, когда литературоведческая и литературно-критическая мысль слились воедино, предстали в нерасторжимой цельности исследовательских поисков, что объясняет глубину наших творческих контактов с редколлегией журнала «Сибирские огни», редактором которого был тогда А. В. Никульков, а его заместителем и зав. отделом критики Н. Н. Яновский. Мы участвовали в их годичных собраниях, обсуждении конкретных произведений, появившихся

на страницах журнала, они приезжали на обсуждение научно-организационных проблем двухтомника, и особенно значимым и активным было их участие, когда дело доходило до отбора персоналий.

Сам журнал «Сибирские огни», история его создания как одного из первых, наряду с «Красной новью», «толстых» советских журналов, его функционирование на разных этапах общественной жизни страны как издания регионально-го — также были важными объектами нашего научного рассмотрения. Особой болевой точкой истории журнала была фигура одного из первых его редакторов — В. Я. Зазубрина. Роковая судьба В. Зазубрина драматически отзывалась и в судьбе его исследователей. Уже в пору работы над двухтомником появилась в «Сибирских огнях» статья Н. Н. Яновского «Несобранные произведения Владимира Зазубрина двадцатых годов», публикация которой явилась поводом для смещения автора с руководящего поста в журнале. В таких же условиях повышенной идеологической бдительности происходил отбор и многих других персоналий, и фигур главных областников Сибири — Ядринцева и Потанина — это касалось прежде всего. И хотя историко-литературный процесс Сибири без этих имен выглядел бы не только обедненно, но и искаженно, тем не менее многие историки, по замечанию Н. Н. Яновского в письме к В. П. Астафьеву, сделали научную карьеру на ниспровержении их трудов и требовании исключить их имена из культурного оборота.

О том, как трудно шел процесс работы над «Очерками», можно судить по характерным деталям. Когда в 1969 году вышел проспект двухтомника, его название звучало как «История русской литературы Сибири», но в нем не было имени Зазубрина. Когда двухтомник вышел в свет, он именовался уже «Очерки русской литературы Сибири», но в нем появилась глава о творчестве Зазубрина. Невольно создается впечатление, что обретение одних высот происходило путем сдачи других, что компромисс как способ осуществления научно-исследовательской стратегии был неизбежен.

Тем не менее время это вспоминается светло и благодарно: не страшно впасть в преувеличение, хочется назвать его сибирским Ренессансом. В Новосибирске собирались настоящие знатоки, филологи самого высокого класса, безупречные профессионалы, не просто досконально знавшие литературную сибирь, но горячо любившие ее, чувствующие ее душой.

И одним из важных результатов созданного сибирскими филологами труда явилось не только введение в историко-литературный оборот целой лавины новых материалов, имен, фактов, но и то, что по замыслу своему, как первый опыт концептуального исследования региональной литературы, был он новаторским. В 1983 году «Очерки» были отмечены центральной прессой как труд «по-сибирски масштабный, во многом первооткрывательский, вызывающий интерес и уважение уже своим замыслом»<sup>3</sup>, что воспринимается сегодня как подтверждение плодотворности наших коллективных усилий.

---

<sup>3</sup> Овчаренко А. И. От Ермака до наших дней // Литературная газета, 1983, 11 мая.

Наталья ТРИГАЛЕВА

## ТОЙВО РЯННЕЛЬ

Искусство пейзажа в Сибири невозможно представить без того вклада, который внес в него живописец Тойво Ряннель. В 2016 году ему исполнилось бы 95 лет, в нынешнем же — пятилетие с его кончины.

Тойво Васильевич Ряннель родился 25 октября 1921 г. в деревне Тозерово Ленинградской области в крестьянской семье, предки его были уроженцами области Саво в Финляндии. Дом, постро-

енный отцом, стоял за околицей деревни среди полей и перелесков, через вершины елей просматривалось Ладожское озеро, от которого доносился гул прибоя. Родство с привольной природой, проявившееся впоследствии в его живописном и поэтическом творчестве, вошло в жизнь будущего художника с детских лет. Отец Тойво, Василий Федорович Ряннель, сам любил искусство, в свободное время вырезал детям деревянные игрушки в духе народного примитива, старший брат Эйно рисовал акварельными красками.

В 1931 г. семья Ряннель была выслана в Сибирь. В товарных вагонах с двухъярусными нарами восемнадцать суток ехали до Красноярска, затем на баржах по Енисею и Ангаре добирались до Мотыгина. Десятилетним подростком Тойво наравне со взрослыми работал в бригаде строителей. Здесь же он, прочувшийся два класса в финской школе, снова пошел в первый класс. Поначалу учеба давалась трудно, он плохо говорил и писал по-русски, но был настойчив и терпелив. В свободные часы на обрывках бумаги и ненужных газетах рисовал все, что видел вокруг. Первая выставка Тойво Ряннеля была устроена на бревенчатой стене барака. Он волновался и робел, не зная, как воспримут рабочие его наивные рисунки, но реакция зрителей была самая благоприятная. Мальчишку заува-



Тойво Ряннель.  
Фотография из семейного архива

жали и даже стали меньше материться в его присутствии. В этот день Тойво Ряннель поверил в полезность своего труда, почувствовал поддержку и понимание со стороны взрослых.

Пятнадцатилетним подростком в составе экскурсии для отличников школы Ряннелю посчастливилось в 1936 г. посетить Москву. Увиденные в залах Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств картины, знакомые по репродукциям и открыткам, стали для него настоящим потрясением. Показанная на выставке детского творчества в Красноярске композиция «Папанинская льдина» была удостоена премии в 50 рублей и напечатана в молодежной газете, а юному автору посоветовали учиться на художника.

В 1939 г. Ряннель поступил в Омское художественное училище, как в обиходе называли Художественно-промышленный техникум имени М. А. Врубеля. В те годы это было лучшее в Сибири профессиональное учебное заведение в области изобразительного искусства. Здесь учились многие художники, ставшие впоследствии ведущими мастерами в своих городах. В техникуме был сильный преподавательский состав, хорошая библиотека и музей, где имелись произведения Александра Бенуа, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Константина Коровина, Ивана Айвазовского и других великих русских художников. В Омске, тогда одном из крупнейших промышленных и культурных центров Сибири, была оживленная и разнообразная художественная жизнь. Проводились выставки и дискуссии по проблемам творчества, литературные вечера, работали два профессиональных театра, художественный музей. Соперничать с имевшими предварительную профессиональную подготовку городскими абитуриентами учившемуся

преимущественно по статьям в журнале «Юный художник» Тойво было нелегко. Невозможно передать словами радость, которую он испытал, увидев свою фамилию в списке принятых. Учился Ряннель с большим старанием, в своей группе выделялся эрудицией, хорошо ориентировался в вопросах истории искусства, много писал и рисовал с натуры. Резкая смена «таежной» жизни на городскую обострила впечатления, дала обильную пищу для развития творческих способностей.

Неожиданно все изменилось. В 1941 г., почти сразу после начала Отечественной войны, техникум имени Врубеля закрыли. На фронт не взяли по «пятому пункту». Ряннель вернулся в Южно-Енисейск, два года работал учителем рисования в школе, в которой когда-то учился сам. Дела на педагогическом поприще шли хорошо. Но, вкусив в училище сладкий плод творческого труда, Тойво хотел целиком посвятить себя воспеванию природы, ее торжественной красоты, могущества рек, величия горных хребтов, безмерных пространств тайги. Поэтому с большим удовлетворением он принял приглашение работать картографом в Енисейской топогеодезической экспедиции, что позволяло наблюдать природу в любое время суток и в различных состояниях. Ряннель рисовал, писал маслом и акварелью. Ночевки в палатке, разговоры у костра, зори и закаты, повседневное вживание в предметный мир своих будущих произведений — так романтично и вдохновенно начинался долгий и наполненный открытиями творческий путь художника.

Новая страница в биографии молодого живописца открылась с его приездом в Красноярск в 1946 г. Период этот — решающий в жизненной судьбе Ряннеля. В первые послевоенные годы Красноярская творческая организация, возглав-

ляемая молодым графиком Рудольфом Руйгой, как бы заново формировалась. Уезжали в родные места художники, эвакуированные в Красноярск из западных районов страны, возвращались домой фронтовики, появлялась талантливая молодежь. Ядро организации составляли старейшие: Дмитрий Каратанов, Андрей Лекаренко, Георгий Лавров, Ксения Матвеева, Карл Вальдман. Ряннель сразу включился в творческую и общественную работу, подружился с Каратановым и Лекаренко, внимательно присматривался к их профессиональным приемам в работе над этюдом, эскизом, картиной. Близкое знакомство с Каратановым, хранителем и продолжателем реалистических традиций своего учителя В. И. Сурикова, не могло не повлиять на Ряннеля. Данью уважения молодого художника к Каратанову и его творчеству была написанная им краткая монография о творчестве Дмитрия Иннокентьевича (Красноярск, 1948) — первое исследование о большом сибирском художнике. В 1946 г. Ряннель показал свои первые работы, изображающие виды мест, где художник побывал с геодезической партией, на краевой художественной выставке, посвященной тридцатилетию со дня смерти В. И. Сурикова, а в 1948-м был принят в Союз художников СССР. Его первая персональная выставка прошла в Красноярске в 1965-м, с этого момента и до 2001 г. персональные выставки сибирского мастера пейзажа видели зрители Омска и Барнаула, Краснодара и Новосибирска, Москвы и Грозного. Тойво Васильевич участвовал во всех городских, краевых, зональных и республиканских выставках, а с 1992 г. показывал свои работы на выставках в Великобритании, Словении, Финляндии, Германии, Франции и других странах.

Выход своему литературному дару Ряннель дал, обратившись к прозе и пу-

блицистике. В периодической печати стали публиковаться его очерки на различные житейские и творческие темы, рассказы о встречах с интересными людьми — первооткрывателями, строителями, оленеводами и рыбаками Севера. В 1948 г. он принял участие в поэтическом сборнике «Слово земляков». В 1969-м был издан альбом-очерк «Улугхем — Енисей — Ионесси», где Тойво Ряннель выступил как автор и текста, и акварельных и графических иллюстраций. Ряннель никогда не стремился к славе и почестям, и то и другое пришло к нему как закономерный результат неустанной и честной работы. В 1974 г. он был удостоен почетного звания заслуженного художника РСФСР, а в 1991-м — звания народного художника России. С 1999 г. Ряннель — академик Петровской академии наук и искусств, с 2010 г. — почетный член Российской академии художеств. В 1995 г., через два года после гражданской реабилитации российских финнов, подвергшихся репрессиям в 1930—1940 гг., Ряннель с семьей переехал на постоянное жительство в Финляндию.

С самых первых шагов в искусстве Ряннель показал себя художником зорким, наблюдательным, целеустремленным и вдумчивым. Это делает его пейзажи человечными, современными. Пишет Ряннель быстро, умеет добиться точности при передаче фактуры, материальной сущности предметов, гармоничного сочетания тонов. С точки зрения технического исполнения многие вещи написаны легко, артистично. Не каждому художнику удастся в такой степени довести работу до завершенности, сохранив при этом настроение мотива, чистоту и свежесть красок. Творческие успехи, которых достиг Ряннель в первые годы, не снизили энергии поисков, он ставил перед собой все более сложные задачи. У него

появилось естественное желание шире познакомиться с краем, соседними областями, их природой, ощутить биение пульса жизни. Он едет в Игарку, в низовья Енисея, в Саяны, в Туву, а позднее в Хакасию, Кузнецкий Алатау. Многие из этих путешествий были сложными, трудными, опасными. Походы совершались и в места, где редко бывал человек. Ряннель увлекал многих художников края в эти далекие смелые походы: к истокам Енисея, на его водопады и пороги, на саянские хребты и перевалы. Интересными в творческом плане были для Ряннеля поездки в Таджикистан, на побережье Черного моря. Когда появилась возможность выезжать за границу, появились этюды,

написанные в Ливане, Египте, Алжире, на Кипре. Выразительны пейзажи, выполненные в Голландии, особой поэтичностью отличаются акварели, написанные в Финляндии. Художник отмечал красоту и своеобразие природы этих стран, но самой большой любовью всегда оставалась Сибирь. Родная сибирская природа для него — неисчерпаемый источник глубоких переживаний и открытий. В своем творчестве Ряннель лишь изредка обращался к портрету и бытовой живописи, главным для него всегда был пейзаж. Он любил его самозабвенно и верил в возможность этого жанра пробуждать в людях высокие эстетические чувства и настоящий патриотизм. Честный и чистый.



## АВТОРЫ НОМЕРА

**Безрукова Елена Евгеньевна** родилась в 1976 г. в Барнауле. Окончила юридический факультет Алтайского государственного университета и факультет психологии Томского государственного университета. Начальник Управления Алтайского края по культуре и архивному делу. Публиковалась в журналах «Алтай», «Барнаул», «Сибирские огни», «Роман-журнал. XXI век» и др. Автор четырех поэтических книг. Живет в Барнауле.

**Бердичевский Валентин Вадимович** родился в 1959 г. в Омске. Окончил художественно-графический факультет Омского педагогического института. Работал учителем, художником, дворником. Публиковался в журналах «Москва», «Урал», «Дальний Восток» и др. Автор двух книг для детей, двух пьес для кукольного театра. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

**Богданова Елена Юрьевна** родилась в 1979 г. в Бийске. Окончила юридический факультет Международного института экономики и права. Журналист, литератор. Стихи и рассказы публиковались в журнале «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

**Комаров Константин Маркович** родился в 1988 г. в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Автор литературно-критических статей и поэтических публикаций в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг стихов. Живет в Екатеринбурге.

**Муханов Игорь Леонидович** родился в 1954 г. в Бузулуке Оренбургской области. Окончил Самарский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Собирает волжского, бурятского и алтайского фольклора. Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Урал». Член правления Союза писателей Республики Алтай. Живет в Уймонской долине, Республика Алтай.

**Одинцов Алексей Васильевич** родился в 1961 г. в Ленинграде. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт. Работает анестезиологом-реаниматологом. Публикуется впервые. Живет в пос. Ордынское Новосибирской области.

**Поляков-Катин Дмитрий Николаевич** родился в 1961 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор нескольких книг прозы. Лауреат Бунинской премии (2013). Публиковался в журналах «Москва», «Аврора», «Сноб» и др. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

**Рехтер Наталия Игоревна** родилась в Иваново. Окончила филологический факультет Ивановского университета. В середине 1990-х переехала в США. Окончила магистратуру в Мичиганском университете. В настоящее время заведует кафедрой организации здравоохранения в одном из университетов штата Индиана. Публикуется впервые. Живет в Индианаполисе.

**Свирская Людмила Александровна** родилась в 1973 г. в Алма-Ате. Окончила факультет филологии и журналистики Алтайского государственного университета. В 1999 г. переехала в Чехию. Работает учителем русского языка. Публиковалась в журналах «Алтай», «Волга-XXI век», «Европейская словесность», «Эмигрантская лира». Автор семи поэтических сборников. Живет в Праге.

**Селиверстов Александр Игоревич** родился в 1992 г. в Красноярске. Окончил факультет иностранных языков Красноярского педагогического университета. Публиковался в журнале «Зарубежные задворки». Живет в Красноярске.

**Ситнова Ангелина Михайловна** родилась в 1948 г. в Хакасии. Окончила юридический факультет Томского университета. Работала в Барнауле. С 1973 г. живет в с. Смоленском Алтайского края, занимается краеведением.

**Тригалева Наталья Вассиановна** родилась в 1959 г. в Красноярске. Окончила живописно-педагогическое отделение Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова, факультет теории и истории искусств Ленинградского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Главный специалист регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств. Живет в Красноярске.

**Юркина Елена Викторовна** родилась в 1972 г. в Новоалтайске. Окончила Новосибирский педагогический университет. Работает учителем литературы в средней школе. Публикуется впервые. Живет в Новосибирской области.

**Юрченко Лада** родилась в Новосибирске. Окончила гуманитарный факультет НГУ. Публиковалась в журналах «Горожанка», «Сибирские огни». Автор книг «Почерк юности», «Дамские сказочки» и др. Живет в Новосибирске.

**Якимова Людмила Павловна** родилась в Горьком. Окончила Горьковский пединститут. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Сибирские огни», «Сибирский филологический журнал», «Slavia orientalis» и др. Автор более 300 научно-теоретических и литературно-критических статей и семи монографий по истории русской литературы. Живет в Новосибирске.

# СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [сибирскиеогни.рф](http://сибирскиеогни.рф)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 10.05.2017 г. Дата выхода № 6 за 2017 г. в свет 13.06.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.